



Ульрих Бек

ОБЩЕСТВО
РИСКА

НА ПУТИ
К ДРУГОМУ
МОДЕРНУ

Ульрих Бек

Общество риска. На пути к другому модерну

По поводу этой книги

Нельзя сказать, что наше столетие обойдено историческими катастрофами: две мировые войны, Аушвиц, Нагасаки, затем Харисбург и Бхопал, теперь вот Чернобыль. Это вынуждает к осторожности в выборе лексики и к обостренному восприятию особенностей исторического развития. Все страдания, все беды и насилия, которые люди причиняли друг другу, обрушивались до сих пор на «других» евреев, черных, женщин, политических иммигрантов, диссидентов, коммунистов и т. д. С одной стороны, существовали заграждения, лагеря, городские кварталы, военные блоки, с другой — собственные четыре стены — реальные или символические границы, за которыми могли укрыться те, кого, казалось бы, не коснулась беда. Все это есть по-прежнему — и всего этого после Чернобыля уже нет. Чернобыль — это

конец «других», конец всех наших строго культивировавшихся возможностей дистанцирования друг от друга, ставший очевидным после радиоактивного заражения.

От бедности можно защититься границами, от

опасностей атомного века — нельзя. В этом их своеобразная культурная и политическая сила. Эта сила — в угрозе опасности, которая не признает охранных зон и дифференциации современного мира.

Эта не признающая границ динамика опасности не зависит от степени заражения и споров о его последствиях. Напротив, любые измерения говорят об опасности для всех. Признание опасности атомного заражения равносильно признанию

безысходности для целых регионов, стран и частей света. Продолжение жизни и признание опасности вступают в противоречие друг с другом. Это роковое обстоятельство придает экзистенциальную остроту спорам о результатах измерений и предельных величинах, о краткосрочных и долгосрочных последствиях. Надо просто задать себе вопрос: что могло бы измениться, если бы дело дошло до признания официальными инстанциями

крайне опасного уровня заражения воздуха, воды, животных и людей? Что тогда — официальная остановка или ограничение жизненных функций — дыхания, еды, питья? Что произойдет с населением целой части света, которое в разной степени (в зависимости от «фатальных» переменных величин — ветра и погоды, расстояния от места катастрофы и т. д.) окажется в зоне необратимого заражения? Можно ли держать в карантине целые страны и группы стран? Не начнется ли в них хаотическое брожение?

Или же все в конечном счете произойдет так, как это было после Чернобыля? Уже эти вопросы проясняют характер объективной угрозы, соединяющей в себе диагноз с пониманием неотвратимости происходящего.

Чтобы снять ограничения, обусловленные происхождением, и предоставить человеку возможность самому принимать решения и своим трудом обеспечить себе место в общественной структуре, в развитом модерне возникает новая

«аскриптивная» разновидность чреватой грозными опасностями судьбы, от которой не уйти при всем старании. Она больше напоминает судьбу сословий в средневековье, чем классовые ситуации XIX века. Во всяком случае, она уже не признает сословного неравенства (как не признает пограничных групп, различий между городом и деревней, национальной или этнической принадлежности и т. д.). В отличие от сословных и классовых ситуаций она складывается не под знаком

бедности, а под знаком

страха и является не «традиционным реликтом», а

продуктом модерна на

высшей ступени его развития. Атомные электростанции — вершинные достижения производительных и творческих сил человека — после Чернобыля тоже стали знаками

угрожающего нам современного средневековья. Они несут в себе угрозы, которые превращают доведенный в современном мире до крайности индивидуализм в его экстремальную противоположность.

Еще живы рефлексы другого столетия: как мне оберечь

себя и своих близких? Еще пользуются высоким спросом советы по охране частной жизни, которой больше не существует. Но все уже живут в состоянии антропологического шока от пережитой грозной зависимости цивилизационных форм жизни от

«природы» — зависимости, которая аннулировала все наши понятия о «гражданской зрелости», «собственной жизни», национальности, пространстве и времени. Далеко отсюда, в западной части Советского Союза, но отныне в непосредственной близости от нас, происходит

катастрофа — не преднамеренная, не агрессивная, скорее, событие, которого можно было избежать, но в то же время и нормальное в своей исключительности, более того, по-человечески понятное. Причина катастрофы не в ошибке людей, а в системах, которые превращают вполне объяснимую человеческую ошибку в непостижимую разрушительную силу. В оценке опасности все оказываются заложниками измерительных приборов, теорий и прежде всего незнания — включая незнание экспертов, которые совсем недавно провозглашали, в соответствии с теорией вероятности, безопасность реакторов на протяжении десяти тысяч лет, а сегодня с захватывающей дух новой уверенностью твердят об отсутствии

серьезной опасности.

При всем том бросается в глаза своеобразный

состав смеси природы и общества, благодаря которой опасность преодолевает все, что оказывает ей сопротивление. Это в первую очередь «атомное облако» — та мощная цивилизационная сила, превратившаяся в силу природную, в которой парадоксальным и сверхмощным образом соединились история и погода. Весь опутанный электронными сетями мир замороженно следит за этим облаком. «Последняя надежда» на благоприятное направление ветра (бедные шведы!) лучше всяких слов говорит о масштабах беспомощности высокоцивилизованного мира, придумавшего колючую проволоку и стены, армию и полицию, но не сумевшего защитить свои границы. «Неблагоприятная» перемена ветра, да еще — о горе! — дождь — и становится очевидной тщетность попыток защитить общество от зараженной природы, ограничить атомную опасность «другой», «чужой» окружающей средой.

Этот опыт, о который в мгновение ока разбился наш прежний образ жизни, отражает ситуацию, когда мировая индустриальная система отдана во власть индустриально интегрированной и зараженной «природы». Противопоставление природы и общества — конструкт XIX века, служивший двоякой цели — покорению природы и ее игнорированию. К концу XX века природа оказалась покоренной и до предела использованной, превратившейся из внешнего феномена во

внутренний, из существовавшего до нас в

воспроизведенный. В ходе технико-индустриальной переделки природы и ее широкого подключения к рыночным отношениям она оказалась интегрированной в индустриальную систему. В то же время она стала неизбежной предпосылкой образа жизни

в индустриальной системе. Зависимость от потребления и рынка означает новую форму зависимости от «природы», и эта

имманентная «природная» зависимость от рыночной системы становится в этой системе законом жизни индустриальной цивилизации.

Борясь с угрозами внешней природы, мы научились строить хижины и накапливать знания. Против индустриальных угроз вовлеченной в индустриальную систему вторичной природы мы практически беззащитны. Угрозы превращаются в безбилетных пассажиров нормального потребления. Они путешествуют с ветром и по воде, скрываются везде и всюду и вместе с жизненно необходимыми вещами — воздухом, пищей, одеждой, домашней обстановкой — минуют обычно строго охраняемые защитные зоны модерна. Там, где после катастрофы защитные и предохранительные меры практически исключаются, остается только одна (кажущаяся) активность —

отрицание опасности, успокаивание, которое порождает страх и вместе с возрастанием опасности, обрекающей людей на пассивность, становится все агрессивнее. Ввиду невозможности вообразить и воспринять опасность органами чувств эта остаточная активность перед лицом реально существующего остаточного риска обретает своих чрезвычайно деятельных сообщников.

Оборотной стороной обобществленной природы является

обобществление ее разрушения, превращение этого разрушения в социальные, экономические и политические системы угроз высокоиндустриализованного мирового сообщества. В глобальности заражения и опутавших весь мир цепей распространения продуктов питания и товаров угроза жизни в индустриальной культуре переживает

опасные общественные метаморфозы: повседневные нормы жизни ставятся с ног на голову. Рушатся рынки. В условиях изобилия царит дефицит. Возникают массовые претензии. Правовые системы не справляются с фактами. Самые животрепещущие вопросы наталкиваются на недоуменное пожимание плечами. Медицинское обслуживание оказывается несостоятельным. Рушатся научные системы рационализации. Шатаются правительства. Избиратели отказывают им в доверии. И все это при том, что грозящая людям опасность не имеет ничего общего с их действиями, наносимый им ущерб — с их трудом, а окружающая действительность в нашем восприятии остается

неизменной. Это означает конец XIX века, конец

классического индустриального общества с его представлениями о национально-государственном суверенитете, автоматизме прогресса, делении на классы, принципе успеха, о природе, реальной действительности, научном познании и т. д.

В значительной мере именно поэтому разговоры об (индустриальном) обществе риска, еще год назад сталкивавшиеся с упорным внутренним и внешним сопротивлением, получили горький привкус истины. Многие из того, что мне приходилось доказывать в своих работах с помощью аргументов, — невозможность воспринимать опасность органами чувств, ее зависимость от науки, ее наднациональность, «экологическое отчуждение», превращение нормы в абсурд и т. д. — после Чернобыля читается как банальное описание реальных событий.

Ах, если бы все это так и осталось заклинанием будущего, приходу которого следует помешать!

Бамберг, май 1986

Ульрих Бек

Предисловие

Тема этой книги — невзрачная приставка «пост». Она — ключевое слово нашего времени. Все теперь — «пост». К «посотиндустриализму» мы уже успели привыкнуть. С ним мы связываем определенное содержание. С «постмодернизмом» все уже начинает расплываться. В понятийных сумерках постпросвещения все кошки кажутся серыми. «Пост» — кодовое слово для выражения растерянности, запутавшейся в модных веяниях. Оно указывает на нечто такое сверх привычного, чего оно не может назвать, и пребывает в содержании, которое оно называет

и отрицает, оставаясь в плену знакомых явлений. Прошлое плюс «пост» — вот основной рецепт, который мы в своей многословной и озадаченной непонятливости противопоставляем действительности, распадающейся на наших глазах.

Эта книга представляет собой попытку выяснить, что означает словечко «пост» (синонимы «после», «поздний», «потусторонний»). Она движима желанием осмыслить то содержание, которое историческое развитие модерна — особенно в Федеративной Республике Германии — вкладывало в это словечко в прошедшие два-три десятилетия. Этого можно достичь только в упорной борьбе со старыми, благодаря приставке «пост» выходящими за свои пределы теориями и привычным образом мыслей. Поскольку эти теории и привычки гнездятся не только в других, но и во мне самом, в книге слышится иногда шум борьбы, громкость которого зависит еще и от того, что я вынужден опровергать свои собственные возражения. Поэтому кое-что может показаться излишне резким, чересчур ироничным или опрометчивым. Однако тяжеловесность старого мышления не одолеть оружием привычной академической взвешенности.

Мои рассуждения не являются репрезентативными, как того требуют правила академического исследования социальных проблем. Они преследуют другую цель:

вопреки еще господствующему прошлому показать уже

наметившееся будущее. Изложены они с точки зрения наблюдателя общественно-исторической сцены начала XIX столетия, который за фасадом уходящей аграрно-феодальной эпохи высматривает уже повсюду выступающие контуры незнакомого пока индустриального века. В эпохи структурных перемен репрезентативность заключает

союз с прошлым и мешает увидеть вершины будущего, которые со всех сторон вдаются в горизонт настоящего. В этом отношении книга содержит элементы

эмпирически ориентированной, устремленной в будущее общественной теории — без какого бы то ни было методологического обеспечения.

В основе книги лежит предположение, что мы являемся свидетелями — субъектом и объектом — разлома

внутри модерна, отделяющегося от контуров классического индустриального общества и обретающего новые очертания — очертания (индустриального) «общества риска». При этом необходимо сбалансировать противоречия между непрерывностью развития модерна и разрывами в этом развитии — противоречия, в которых отражается антагонизм между модерном и индустриальным обществом, между индустриальным обществом и обществом риска. В своей книге я намерен показать, что эти эпохальные различия порождаются сегодня самой действительностью. Чтобы знать, как дифференцировать их в каждом отдельном случае, необходимо рассмотреть разные варианты общественного развития. Ясность в этом вопросе будет достигнута только тогда, когда четче обозначатся контуры будущего.

Теоретическому сидению меж двух стульев соответствует такая же практика. Решительный отпор получают как те, кто в борьбе с напором «иррационального духа времени» придерживается предпосылок просветительского XIX века, так и те, кто сегодня готов вместе с накопившимися аномалиями спустить в реку истории и весь проект модерна.

К панораме страха, развернувшейся во всех уголках рынка мнений, страха перед угрожающей самой себе цивилизацией добавить нечего; как и к проявлениям Новой беспомощности, которая утратила дихотомию «цельного» даже в своих противоречиях мира индустриализма. В книге, предлагаемой вниманию читателя, речь идет о

втором, следующем за этим шаге. Это состояние она и делает предметом рассмотрения. В ней ставится вопрос о том, каким образом в рамках социологически информированного и инспирированного мышления можно

понять и осмыслить эту неуверенность духа времени, отрицать которую в плане критики идеологии было бы цинично, а поддаваться ей без сопротивления — опасно. Центральную теоретическую идею, выработанную с этой целью, легче всего объяснить с помощью исторической аналогии:

как в XIX веке модернизация привела к распаду закосневшее в сословных устоях аграрное общество, так и теперь она размывает контуры индустриального общества, и последовательное развитие модерна порождает новые общественные конфигурации.

Границы этой аналогии указывают и на особенности перспективы. В XIX веке модернизация проходила на фоне ее противоположности: традиционного унаследованного мира и природы, которую нужно было познать и покорить. Сегодня, на рубеже XX–XXI веков, модернизация свою противоположность

поглотила, уничтожила и принялась в своих индустриально-общественных предпосылках и функциональных принципах уничтожать

самое себя. Модернизация в соответствии с опытом (современного мира вытесняется проблемными ситуациями модернизации

относительно самой себя. Если в XIX веке утрачивали привлекательность сословные привилегии и религиозные представления о мире, то теперь теряют свое значение научно-техническое понимание классического индустриального общества, образ жизни и

формы труда в семье и профессии, образцы поведения мужчин и женщин и т. д. Модернизация в рамках индустриального общества заменяется модернизацией

предпосылок индустриального общества, которая не была предусмотрена ни одним используемым и донныне теоретическим пособием XIX века о правилах политического поведения. Именно этот наметившийся антагонизм между модерном и индустриальным обществом (во всех его вариантах) размывает сегодня ту систему координат, в которой мы привыкли осмыслять модерн

в категориях индустриального общества.

Нас еще долго будет занимать это различие между традиционной модернизацией и модернизацией индустриального общества, или, говоря по-другому, между

простой и

рефлексивной модернизацией. Оно будет намечено в ходе изучения конкретных сфер деятельности. Даже если еще абсолютно неясно, какие «неподвижные звезды» индустриально-общественной мысли закатятся в процессе только-только начавшейся рационализации

второй ступени, уже сегодня можно обоснованно предположить, что это коснется самых прочных «законов», таких, как функциональная дифференциация или массовое производство.

Двумя последствиями примечательна необычность этой перспективы. Она утверждает то, что до сегодняшнего дня казалось немыслимым, а именно: что индустриальное общество в своем

победном шествии, т. е. незаметными путями нормы, через черный ход побочных последствий покидает сцену мировой истории — и совсем не так, как предусмотрено в иллюстрированных учебниках по теории общественного развития, а без политического треска (революций, демократических выборов). Она утверждает далее, что «антимодернистский» сценарий, волнующий сейчас мировую общественность, — критика науки, техники, прогресса, новые социальные движения — отнюдь не вступает в противоречие с модерном, а является выражением его последовательного развития за пределы индустриального общества.

Общее содержание модерна вступает в противоречие с омертвелостями и половинчатостями в самой концепции индустриального общества. Подходы к этому воззрению блокируются нерушимым, до сих пор не осознанным

мифом, в котором в значительной степени застряла общественная мысль XIX века и который отбрасывает свою тень еще и на последнюю треть XX века, а именно мифом о том, что развитое индустриальное общество с его схематизмом работы и жизни, с его секторами производства, пониманием роли науки и техники, с его формами демократии является обществом

насквозь современным, вершиной модерна, возвышаться над которой ему даже не приходится в голову. Этот миф находит выражение во многих формах. Одной из самых действенных считается нелепая шутка о

конце исторического общественного развития. Эта шутка в своих оптимистических и пессимистических вариантах ослепляет мышление нашей эпохи, в которой установившаяся система обновления благодаря освободившейся в ней динамике начинает ревизовать самое себя. Мы пока даже не способны представить себе возможностей изменения общественного облика современного мира, так как теоретики индустриально-общественного капитализма

повернули в сторону априорности исторический образ модерна, который во многих отношениях еще находится в зависимости от своей противоположности в XIX веке. В характерном для Канта вопросе о возможностях современных обществ исторически обусловленные контуры, конфликтные линии и функциональные принципы индустриального капитализма вообще подстраивались к потребностям модерна. Еще одно доказательство этого — курьезность, с которой общественные науки ничтоже сумняшеся утверждают, что в индустриальном обществе изменяется все: семья, профессиональная подготовка, социальные классы, наемный труд, наука, — и в то же время изменения эти не затрагивают ничего существенного: семью, профессиональную подготовку, социальные классы, наемный труд, науку.

Настоятельнее, чем когда-либо прежде, мы нуждаемся в понятийном аппарате, который — без ложно понятого обращения к вечно старому новому, исполненный печали прощания и не утративший хорошего отношения к нетленным сокровищницам традиции — позволит заново осмыслить надвигающиеся на нас новые явления и научиться жить и работать с ними. Идти по следу новых понятий, которые уже сегодня возникают в процессе распада старых, — нелегкое занятие. Для одних это пахнет «изменением системы» и подлежит компетенции органов по охране конституции. Другие замкнулись в своих убеждениях и во имя выработанной вопреки внутреннему чувству «верности линии» (а это может означать многое — марксизм, феминизм, квантитативное мышление, специализацию) начинают нападать на все, что источает запах уклонизма.

Однако или именно поэтому мир не гибнет, во всяком случае, он не погибнет из-за того, что сегодня рушится мир XIX века. К тому же это еще и преувеличение. Особенно стабильным общественное устройство XIX века не было, как известно, никогда. Оно уже не раз погибало — в мыслях людей. Там его погребли еще до того, как оно появилось на свет. Мы видим, что видения Ницше или поставленные на сцене драмы ставшего ныне «классическим» (т. е. старым) литературного модерна находят свое (более или менее)

репрезентативное выражение на кухне или в спальне. Происходит, стало быть, то, о чем давно уже помышляли. И происходит — если прикинуть на глазок — с опозданием от полстолетия до целого столетия. Происходит уже давно. И будет происходить впредь. И пока еще не происходит ничего.

Мы понимаем также, если отвлечься от литературных вариантов распада и гибели, что и

после всего этого нужно продолжать жить. Мы, так сказать, переживаем то, что происходит, когда в драме Ибсена опускается занавес. Мы переживаем не отображенную на сцене действительность послебуржуазной эпохи. Или, применительно к цивилизационным угрозам, мы являемся наследниками

обретшей реальные очертания критики культуры, которая уже не может удовлетвориться критическим диагнозом культурного развития, так как он во все времена был, скорее, предостерегающим пессимистическим прогнозом на будущее. Не может целая эпоха провалиться в пространство по ту сторону существовавших до сих пор категорий, не заметив, что это пространство — всего лишь протянувшиеся за собственные пределы притязания прошлого, которое утратило власть над настоящим и будущим.

В последующих главах предпринимается попытка в полемике с тенденциями развития основных сфер общественной практики подхватить ход мысли и распространить ее на понятийность индустриального общества (во всех его вариантах). Центральная идея рефлексивной модернизации индустриального общества развивается в двух направлениях. Сначала на примере

производства богатств и производства рисков рассматривается противоречивое единство

непрерывности и прерывности. Вывод: в то время как в индустриальном обществе «логика» производства богатства доминирует над «логикой» производства риска, в обществе риска это соотношение меняется на противоположное (часть первая). В рефлексивности модернизационных процессов производительные силы утратили свою невинность. Выгода от технико-экономического «прогресса» все больше оттесняется на задний план производством рисков. Узаконить их можно только на ранней стадии — в качестве «скрытых побочных действий». Вместе с их универсализацией, публичной критикой и (антинаучным исследованием они сбрасывают покров латентности и получают новое и центральное значение при обсуждении социальных и политических конфликтов.

Эта «логика» производства и распределения рисков рассматривается в сравнении с «логикой» распределения богатства (до сих пор определявшей развитие общественно-политической мысли). В центре стоят модернизационные риски и их последствия, которые проявляются в непоправимом ущербе для жизни растений, животных и людей. Их нельзя уже, как это было с производственными и профессиональными рисками в XIX веке и в первой половине XX века, локализовать, свести к специфическим группам населения; в них присутствует тенденция к глобализации, которая охватывает производство и воспроизводство, пересекает национально-государственные границы и в этом смысле порождает наднациональные и неклассовые

глобальные угрозы с их своеобразной социальной и политической динамикой (главы I и II).

Однако эти социальные угрозы и их культурный и политический потенциал — только одна сторона общественного риска. Другая сторона попадает в поле зрения, если в центр рассмотрения поставить

имманентно присущие индустриальному обществу противоречия между модерном и его противоположностью. С одной стороны, вчера, сегодня и на все времена контуры индустриального общества набрасывались и набрасываются как контуры общества больших групп населения — классов или социальных слоев. С другой, классы по-прежнему зависят от значимости социальных классовых культур и традиций, которые в ходе модернизации послевоенной ФРГ, общества всеобщего благоденствия, были как раз

поколеблены в своих унаследованных ценностях (глава III).

С одной стороны, с развитием индустриального общества совместная жизнь людей согласовывалась с нормами и стандартами небольшой семьи. С другой, небольшая семья строится на «сословном» положении мужчины и женщины, которое в непрерывном процессе модернизации (приобщение женщин к получению образования и к рынку труда, растущее количество разводов и т. д.) становится неустойчивым. Но тем самым приводится в движение соотношение между производством и воспроизводством, как и все, что связано между собой в индустриальной «традиции небольшой семьи»: брак, материнство и отцовство, сексуальность, любовь и т. д. (глава IV).

С одной стороны, индустриальное общество мыслится в категориях

общества, ориентированного на труд (ради заработка). С другой, актуальные мероприятия по рационализации подрывают сами основы такого порядка: скользящие графики рабочего времени и смена рабочих мест стирают границы между работой и не-работой. Микроэлектроника позволяет заново, поверх производственных секторов, связать в единую сеть предприятия, филиалы и потребителей. Тем самым модернизация как бы устраняет прежние правовые и социальные предпосылки системы занятости: массовая безработица интегрируется через новые формы

«многообразной неполной занятости» в систему занятости — со всеми вытекающими отсюда рисками и шансами (глава VI).

С одной стороны, в индустриальном обществе обретает официальный характер наука, а вместе с ней и

методологические сомнения. С другой, эти сомнения (вначале) ограничиваются чисто внешней стороной дела, объектами исследования, в то время как основы и следствия научной работы отгораживаются от бушующего внутри скептицизма. Это деление сомнения так же необходимо для целей профессионализации, как оно неустойчиво ввиду неделимости подозрения в ошибочности прогноза; в своей непрерывности научно-техническое развитие претерпевает разрыв между соотношением внешнего и внутреннего. Сомнение распространяется на основы и риски научной работы, а в результате обращение к науке одновременно

обобщается и демистифицируется (глава VII).

С одной стороны, вместе с развитием индустриального общества утверждаются притязания и формы

парламентской демократии. С другой, радиус значимости этих принципов

раздваивается. Субполитический процесс обновления «прогресса» остается в компетенции экономики, науки и технологии, для которых самоочевидные в демократической системе вещи аннулированы. В непрерывности модернизационных процессов это становится проблематичным там, где — перед лицом накопивших опасный потенциал производительных сил — субполитика перехватывает у политики ведущую роль в формировании общества (глава VIII).

Иными словами: в проект индустриального общества на разных уровнях — например, в схему «классов», «небольшой семьи», «профессиональной работы», в понятия «науки», «прогресса», «демократии» — встроены элементы

индустриально-имманентного традиционализма, основы которых становятся хрупкими и аннулируются в рефлексивности модернизаций. Как ни странно это звучит, но обусловленные этим эпохальные волнения суть результаты

успеха модернизаций, которые теперь протекают

не в русле и категориях индустриального общества, а

вопреки им. Мы переживаем изменение основ изменения. Осмыслить это можно при условии, что образ индустриального общества будет подвергнут пересмотру. Оно по своему замыслу есть лонесовременное общество, при этом встроенный в него контрсовременный мир не есть нечто старое, он —

конструкт и продукт индустриального общества. Структура индустриального общества основана на

противоречии между универсальным содержанием модерна и функциональным устройством его институтов, в которые это содержание может быть транспонировано только партикулярно-селективным способом. Но это означает, что индустриальное общество в процессе развития

само делается неустойчивым. Непрерывность становится «причиной» разрыва. Люди

освобождаются от форм жизни и привычек индустриально-общественной эпохи модерна — точно так же как в эпоху Реформации они «вырывались» из объятий церкви в общество. Вызванные этим потрясения образуют другую сторону общества риска. Система координат, в которой закрепляется жизнь и мышление индустриального модерна — оси «семья и

профессия», вера в науку и прогресс, — расшатывается, возникает новая двусмысленная связь между шансами и рисками, т. е. вырисовываются контуры общества риска. Шансы? Принципы модерна в обществе риска предъявляют иск индустриально-общественному развитию.

Эта книга в разных вариациях отражает процесс самопознания и самообучения ее автора. В конце каждой главы я умнее, чем в начале. Велико было искушение переосмыслить и переписать эту книгу заново, начав с конца. Этому помешала не только нехватка времени. Задуманное вновь продемонстрировало бы лишь промежуточную стадию. Это еще раз подчеркивает подвижный характер аргументации и ни в коем случае не должно быть понято как бланковый чек для встречных претензий. Для читателя выгода в том, что он может обдумывать главы в другой последовательности или каждую в отдельности и воспринимать — их как сознательный призыв к сотрудничеству, полемике и дальнейшей работе над темой.

Практически все близкие мне люди в то или иное время были активными разработчиками и комментаторами этого текста. Кое-кто делал это без особой радости, но всегда предлагал множество новых вариантов. Все вошло в книгу. Ни в тексте, ни в этом предисловии я не могу в полной мере воздать должное сотрудничеству по большей части молодых ученых из моего научного окружения. Для меня оно стало огромным ободряющим переживанием. Некоторые части этой книги представляют собой почти дословное изложение частных бесед и разговоров в течение совместной жизни. Не претендуя на полноту, выражаю благодарность Элизабет Бек-Гернсхайм за нашу неповседневность в повседневной жизни, за вместе пережитые идеи и за несокрушимую непочтительность; Марии Реррих за многие стимулирующие идеи, беседы, обработку сложных материалов; Ренате Шютц за необыкновенно заразительную философскую любознательность и за воодушевляющие видения; Вольфгангу Бонсуза полезные обсуждения почти всех частей книги; Петеру Бергеру за предоставленное в мое распоряжение письменное выражение его полезного для меня недовольства книгой; Кристофу Лауза помощь в осмыслении и уточнении не очень удачных аргументов; Герману Штумпфу и Петеру Зоппу за ценные советы и активную помощь в нахождении необходимой литературы и материалов; Ангелике Шахт и Герлинде Мюллер на надежность и усердие при перепечатке текста.

Великодушную коллегиальную поддержку мне оказали также Карл Мартин Больте, Хайнц Хартман и Леопольд Розенмайр. Встречающиеся в книге повторы и неудачные образы я отношу на счет сознаваемого мной несовершенства данной работы.

Не ошибется тот, кто заметит между строк блеск озера. Большие куски текста писались на холме, возвышающемся над Штарнбергским озером, при живом участии природы. Удачная подсказка света, ветра и облаков немедленно использовалась в работе. Этим необычным местом работы — чаще всего под ясным сияющим небом — я мог воспользоваться благодаря гостеприимной заботе госпожи Рудорфер и всей ее семьи: чтобы не мешать мне, даже животные паслись и дети играли на достаточном удалении от меня.

Фонд «Фольксваген» предоставлением академической стипендии создал предпосылки для досуга, без чего я вряд ли решился бы на авантюру этой аргументации. Бамбергские коллеги Петер Гросс и Ласло Вашкович согласились ради меня на перенесение сроков своего свободного от занятий семестра, предназначенного для научной работы. Всем им выражаю сердечную благодарность — не призывая разделить со мной вину за мои ошибки и чересчур рискованные формулировки. Особо хочу поблагодарить тех, кто не тревожил мой покой и терпеливо сносил мое молчание.

Бамберг/Мюнхен, апрель 1986

Часть первая

На вулкане цивилизации: контуры общества риска

Глава I

О логике распределения богатства и распределения рисков

В развитых странах современного мира общественное производство

богатств постоянно сопровождается общественным производством

рисков. Соответственно проблемы и конфликты распределения в отсталых странах усугубляются проблемами и конфликтами, которые вытекают из производства, определения и распределения рисков, возникающих в процессе научно-технической деятельности.

Эта смена логики распределения богатства в обществе, основанном на недостатке благ, логикой распределения риска в развитых странах модерна исторически связана (по крайней мере) с двумя обстоятельствами. Она, во-первых, наблюдается — сегодня это совершенно очевидно — там и в той мере, в какой благодаря достигнутому уровню человеческих и технолого-производительных сил, а также правовых и социально-государственных гарантий и регламентации становится возможным объективно уменьшить и социально ограничить

подлинную материальную нужду. Во-вторых, эта категориальная смена объясняется еще и тем, что вследствие стремительно растущих в процессе модернизации производительных сил риски и связанные с ними потенциалы самоуничтожения приобретают невиданный доныне размах[1].

По мере появления этих обстоятельств один исторический тип мышления и действия попадает в зависимость от другого или накладывается на него. Понятие «индустриального или классового общества» (как его — в широком смысле — толковали

Маркс и

Вебер) вращалось вокруг вопроса о том, как в социальном отношении неравномерно

и в то же время «на законных основаниях» распределяется произведенное обществом богатство. Это пересекается с новой

парадигмой общества риска, которое в своей основе базируется на решении сходной и все же совершенно иной проблемы. Каким образом предотвратить систематически возникающие в процессе прогрессивной модернизации риски и опасности, сделать их безопасными, канализировать, а там, где они уже появились на свет в виде «скрытых побочных воздействий», так отграничить и отвести в сторону, чтобы они не вставали на пути процесса модернизации и в то же время не выходили за пределы (экологические, медицинские, психологические, социальные) «допустимого»?

Речь уже не идет почти исключительно об использовании природных богатств, об

освобождении человека от традиционных зависимостей, речь по большей части идет о проблемах, являющихся следствием самого технико-экономического развития. Процесс модернизации становится «рефлексивным», т. е. становится сам своей темой и проблемой. На вопросы развития и использования технологий (в сфере природы, общества или личности) накладываются вопросы политического и научного «обращения» (обнаружение, предотвращение, сокрытие, вовлечение, управление) с рисками, которые несут ожидаемому будущему уже используемые или потенциальные технологии. Заверения в безопасности технологий, адресованные бдительной, критически настроенной общественности, снова и снова должны подкрепляться косметическим или подлинным вмешательством в технико-экономическое развитие.

Обе «парадигмы» социального неравенства постоянно соотносятся с определенными периодами модернизации. Распределение произведенного обществом продукта и возникающие в связи с этим конфликты находятся в центре внимания до тех пор, пока в странах и обществах (сегодня преимущественно в так называемом третьем мире) мыслями и поступками людей владеет чувство материальной нужды, «диктатура нищеты». В обществе, основанном на недостатке благ, благодаря научно-техническому прогрессу модернизацию проводят под предлогом обнаружения скрытых источников общественного богатства. Обещания избавить людей от незаслуженной бедности и зависимости лежат в основе действия, мышления и исследования в категориях социального неравенства — от классового общества через общество разных социальных прослоек до индивидуализированного общества.

В высокоразвитых богатых государствах Запада наблюдается двоякий процесс: с одной стороны, борьба за «хлеб насущный» в сравнении с обеспеченностью питанием вплоть до второй половины XX века и с угрозой голода в странах третьего мира теряет свою актуальность как кардинальная проблема, отодвигающая на второй план все остальное. Многих людей волнует уже не проблема голода, а проблема «толстого брюха» (о «новой бедности» см. с. 131 наст. изд.). Тем самым процесс модернизации лишается своего легитимного обоснования — преодоления очевидной нехватки продуктов, ради чего люди были готовы примириться с некоторыми (теперь уже не вполне) непредвиденными побочными явлениями.

Параллельно распространяется сознание того, что источники богатства «загрязняются» растущей угрозой, исходящей от этих «побочных явлений». Все это отнюдь не ново, но долгое время оставалось незамеченным на фоне усилий по преодолению нищеты. Благодаря чрезмерному развитию производительных сил эта обратная сторона приобретает все большее значение. В процессе модернизации все больше и больше высвобождаются такие

деструктивные силы, которые просто недоступны человеческому воображению. Оба источника питают нарастающую критику модернизации, которая определяет громкий и резкий характер публичной полемики.

Если представить наши доказательства в систематическом виде, то дело выглядит так: социальные позиции и конфликты общества, «распределяющего богатства», рано или поздно в процессе непрерывной модернизации начинают пересекаться с позициями и конфликтами общества, «распределяющего риски». Начало этого перехода у нас в ФРГ приходится, по моему убеждению, на 70-е годы. Это означает, что с тех пор оба вида тем и конфликтов напластовываются друг на друга. Мы

еще не живем в обществе риска, но и больше не живем

только в обществе распределения благ. По мере осуществления этого перехода мы действительно приближаемся к переменам в общественном устройстве, которые выводят нас из существовавших до сих пор категорий, образа мыслей и способов действия.

Несет ли в себе понятие риска то общественно-историческое значение, которое здесь ему придается? Не идет ли тут речь об изначальном феномене человеческой деятельности? Разве риски, которые здесь отделяются от индустриальной эпохи, не являются ее собственным признаком? Разумеется, риски не изобретение нового времени. Кто, как Колумб, пускался в путь, чтобы открывать новые страны и части света, тот мирился с неизбежностью риска. Но это был личный риск, а не глобальная угроза для всего человечества, которая возникает при расщеплении атомного ядра или складировании ядерных отходов. Слово «риск» в те времена имело оттенок мужества, приключения, а не возможное самоуничтожение жизни на Земле.

Леса тоже умирают уже в течение многих столетий — сначала в результате их превращения в пашню, а потом в результате беспощадных вырубок. Но умирание лесов сегодня происходит в

глобальных масштабах, как скрытое следствие индустриализации — и с совершенно иными социальными и политическими последствиями. Им затронуты даже и прежде всего богатые лесами страны (Норвегия, Швеция), которые сами почти не обладают промышленностью с ядовитыми отходами, но вынуждены расплачиваться умирающими лесами и растениями, вымирающими видами животных за ядовитое производство других индустриально развитых стран.

Рассказывают, что матросы, которые в XIX веке падали в Темзу, погибали не потому, что тонули, а потому, что задыхались от дурно пахнувших испарений и ядов этой лондонской клоаки. Прогулка по узким улочкам средневекового города тоже была мучительным испытанием для обоняния.

«Экскременты скапливаются везде, у основания шлагбаумов, в дрожках... Фасады парижских домов разрушаются от мочи... Организованное обществом засорение грозит увлечь весь Париж в процесс гниения и распада».

И все же бросается в глаза, что тогдашние опасности, в отличие от сегодняшних, раздражали глаза и нос, т. е. воспринимались органами чувств, тогда как сегодняшние риски, как правило, не поддаются восприятию и, скорее, коренятся в химико-физических формулах (например, содержание ядов в пище, радиоактивная опасность). С этим связано еще одно отличие. Тогда их можно было отнести к

недостаточной обеспеченности гигиеническими технологиями. Сегодня их причина — в

избыточности промышленной продукции. Нынешние риски и опасности существенно отличаются от внешне нередко сходных с ними средневековых

глобальностью своей угрозы (человеку, растительному и животному миру) и современными причинами своего возникновения. Они

в общем и целом продукт передовых промышленных технологий и с их дальнейшим совершенствованием будут

постоянно усиливаться.

Без сомнения, риски, связанные с развитием промышленности, так же стары, как и само это развитие. Обнищание значительной части населения — «риск бедности» — держало XIX век в напряжении. «Риски квалификации» и «риски здоровья» давно уже являются темой рационализации и связанных с ней социальных конфликтов, гарантий (и исследований). И все же риски, о которых пойдет речь в данной работе и которые вот уже несколько лет волнуют общественность, обладают новым качеством. Создаваемую ими угрозу уже нельзя отнести только к месту их возникновения — предприятию. По своей сути они угрожают жизни на этой

планете, причем во всех ее проявлениях. В сравнении с ними профессиональные риски первоначальной индустриализации принадлежат совсем другому веку. Опасности высокоразвитых производительных сил в области химии или атомной энергетики упраздняют основы и категории, в рамках которых мы до сих пор мыслили и действовали, — пространство и время, труд и досуг, предприятие и национальное государство, даже границы между военными блоками и континентами.

В центре нашего исследования — социальная архитектура и политическая динамика подобных цивилизационных угроз собственному существованию. Аргументацию можно заранее сформулировать в

пяти тезисах:

(1) Риски, возникающие на самой высокой ступени развития производительных сил, — я имею в виду прежде всего полностью недоступную для непосредственного восприятия органами чувств радиоактивность, но также вредные и ядовитые вещества в воздухе, воде, продуктах питания и связанные с этим кратковременные и долговременные последствия у растений, животных и человека, — эти риски существенно отличаются от богатств. Они высвобождают системно обусловленные, часто

необратимые разрушительные силы, остаются, как правило,

невидимыми, основываются на

каузальных интерпретациях, т. е. проявляются только в знании (научном или антинаучном) о них, посредством этого знания могут меняться, уменьшаться или увеличиваться, драматизироваться или недооцениваться; они, таким образом, в значительной мере

открыты для социальных дефиниций. Следовательно, средства информации и понимание степени риска становятся ключевыми общественно-политическими позициями.

(2) С распределением и нарастанием рисков возникают

социально опасные ситуации. В определенном смысле они являются следствием неравенства классов и социальных слоев, однако заставляют считаться с существенно иной логикой распределения: риски модернизации рано или поздно затрагивают и тех, кто их производит или извлекает из них выгоду. Им присущ эффект бумеранга, взрывающий схему классового построения общества. Богатые и могущественные от них тоже не защищены. Имеются в виду опасности, угрожающие не только здоровью, но и легитимизации состояний и доходов: с социальным признанием модернизационных рисков связано

обесценение и отчуждение экологии, систематически вступающее в противоречие с интересами обогащения и наживы — движущей силой процесса индустриализации. В то же время риски производят неравенство на

интернациональном уровне, с одной стороны, между третьим миром и промышленно развитыми странами, с другой стороны — между самими развитыми странами. Они вторгаются в систему компетенции суверенных государств. Перед лицом глобального, не признающего национальных границ перемещения ядовитых веществ жизнь травинки в баварском лесу зависит в конечном счете от заключения и выполнения международных соглашений.

(3) Вместе с тем распространение и умножение рисков ни в коей мере не порывает с логикой развития капитализма, а, скорее, поднимает эту логику на новую ступень. Риски модернизации — это индустрия, большой бизнес. Они являются собой то, чего ищут экономисты, — запросы, которые невозможно удовлетворить. Удовлетворить можно голод,

другие потребности. Цивилизационные риски — это

бездонная бочка потребностей, которая постоянно, без конца самообновляется. С рисками экономика, если употребить выражение Лумана,

«ручается сама за себя», независимо от удовлетворения человеческих потребностей. Но это означает, что индустриальное общество, извлекая благодаря выпущенным на свободу рискам экономическую выгоду, одновременно создает опасные ситуации и политический потенциал общества риска.

(4) Богатствами можно

владеть, риски нас

настигают; нас

наделяет ими само развитие цивилизации. Говоря упрощенно: в классовых обществах бытие определяет сознание, в то время как в обществе риска

сознание определяет бытие. Знание приобретает новое политическое значение. Соответственно политический потенциал общества риска должен раскрываться и анализироваться в социологии и теории возникновения и распространения

знания о рисках.

(5) Социально признанные риски, как это впервые четко проявилось в полемике об умирании лесов, несут в себе своеобразный политический детонатор: то, что до сих пор

считалось аполитичным, становится политикой — политикой устранения самих «причин» процесса индустриализации. Неожиданно общественность и политика начинают вторгаться в заповедную сферу производственного менеджмента — в планирование, техническое оснащение производства и т. д. При этом становится абсолютно ясно, о чем идет речь в публичном споре об определении рисков: не только о побочных последствиях для здоровья природы и человека, но и о

социальных, экономических и политических побочных последствиях этих побочных последствий. Это вторжение в рыночную экономику, обесценение капитала, открытие новых рынков, гигантские расходы, судебные преследования, потеря репутации. Благодаря маленьким и большим сбоям (сигнал опасности по причине смога, утечки ядовитых веществ и т. д.) в обществе риска возникает

политический потенциал катастроф. Защита от него, овладение им могут привести к реорганизации власти и компетенции. Общество риска есть

общество, чреватое катастрофами. Его нормальным состоянием грозит стать чрезвычайное положение.

1. Естественнонаучное распределение вредных веществ и социальные ситуации риска

Дискуссия о содержании вредных и ядовитых веществ в воздухе, воде и продуктах питания, а также о разрушении природы и окружающей среды в целом все еще ведется исключительно или по преимуществу в

естественнонаучных категориях и формулах. При этом остается неизвестным, что естественнонаучные «формулы обнищания» имеют социальное, культурное и политическое значение. Соответственно возникает опасность, что ведущаяся в химико-биолого-технических категориях дискуссия об окружающей среде невольно вызывает у людей представление о себе только как об

органическом механизме. Тем самым ей грозит опасность превратить в свою противоположность ту ошибку, в какой она справедливо упрекала долгое время господствовавший оптимизм индустриального прогресса, — выродиться в дискуссию о природе

без человека, без обсуждения социальной и культурной стороны дела. Дискуссии последних десятилетий, в которых снова и снова разворачивался весь арсенал критических аргументов по адресу техники и промышленности, оставались по своей сути

технократическими и

натуралистическими. Они с таким рвением и жаром ссылались на содержание вредных веществ в воздухе, воде и продуктах питания, на сравнительные величины роста населения, потребления энергии, потребности в продуктах питания, дефицит сырья и т. д., будто никогда и не было человека (например, Макса Вебера), который потратил немало времени, чтобы доказать: без учета социальных структур власти и распределения, роли бюрократии, господствующих норм и рациональных подходов это или бесполезно, или бессмысленно, или то и другое вместе. Незаметно сложилось такое представление, при котором взаимоотношения между техникой и природой сводились к формуле «преступник — жертва». С самого начала при таком подходе (и от политического движения в защиту окружающей среды) оставались скрыты социальные, политические и культурные реалии и последствия модернизационных рисков.

Проиллюстрируем это на примере. Совет экспертов по проблемам окружающей среды констатирует в своем заключении, что «в материнском молоке нередко находят в опасных концентрациях бета-гексахлорциклогексан, гексахлорбензол ДДТ» (1985, 8. 33). Эти ядовитые вещества содержатся в средствах защиты растений, которые уже изъяты из обращения. Их происхождение не выяснено (там же). В другом месте говорится: «Воздействие свинца на население в среднем незначительно» (8.35). Что за этим кроется? Быть может, нечто аналогичное такому распределению: у двух человек есть два яблока. Один из них съел оба. Следовательно,

в среднем каждый съел по одному. Применительно к распределению продуктов питания в мировом масштабе это высказывание звучало бы так: «в среднем» все люди на Земле сыты. Цинизм такого утверждения очевиден. В одной части света люди умирают от голода, в другой первостепенным фактором издержек стали проблемы переизбытка. Вполне возможно, что применительно к вредным и ядовитым веществам это высказывание не цинично, что воздействие

в среднем является

действительным воздействием на

все группы населения. Но знаем ли мы это? Разве для оправдания такого заявления не обязательно знать, какие еще яды вынуждены люди вдыхать и глотать? Поразительно, что о «средних» показателях спрашивают как о чем-то само собой разумеющемся. Кто спрашивает о показателях «на душу населения», тот закрывает глаза на неодинаковые уровни опасности для разных слоев населения. Но именно их-то и невозможно определить. Может быть, существуют группы и условия жизни, для которых «в среднем незначительное» содержание свинца опасно для жизни.

Следующая фраза экспертного заключения звучит так: «Лишь вблизи вредных производств у детей обнаруживают иногда опасные концентрации свинца». Показательно в этих и им подобных анализах состояния окружающей среды не только полное отсутствие какой бы то ни было социальной дифференциации. Показательно и то, какая дифференциация проводится: по

региональному и

возрастному принципу, т. е. по критериям, свойственным

биологическому (или — шире — естественнонаучному) мышлению. Подобный подход нельзя ставить в вину экспертным комиссиям. Он лишь наглядно отражает общепринятую научную и общественную позицию по проблемам окружающей среды. Эти проблемы рассматриваются главным образом в плане природы и техники, экономики и медицины. Поразительно при этом, что разрушительная индустриальная нагрузка на окружающую среду и ее многообразные воздействия на здоровье и жизнь людей в высокоразвитых обществах сопровождаются

исчезновением общественной мысли. К этому добавляется еще одно гротескное обстоятельство: исчезновения никто не замечает, даже сами социологи.

Исследуется распределение вредных веществ, ядов и рисков в воде, воздухе, почве, продуктах питания и т. д. Дифференцированные результаты исследований предоставляются испуганной общественности в многоцветных «картах состояния окружающей среды». Ясно, что подобные способы рассмотрения и изображения уместны в той мере, в какой они дают представление об окружающей среде. Но как только из них

делаются выводы, касающиеся жизни людей, лежащий в их основе способ мышления оказывается

несостоятельным. В этом случае или допускается в общем и целом, что все люди, независимо от дохода, образования, профессии и связанных с этим возможностей и привычек питания, проживания, использования свободного времени, в исследуемых регионах

одинаково подвержены воздействию вредных веществ (что еще требуется доказать), или же люди и масштаб нависшей над ними угрозы вообще выносятся за скобки, и разговор идет только о вредных веществах, их распределении и воздействии на регион.

Ведущаяся в естественнонаучных категориях дискуссия о вредных воздействиях, таким образом, исходит из ошибочного умозаключения, что биологические факторы не связаны с социальными, или из такого рассмотрения природы и окружающей среды, которое исключает из круга своих интересов избирательную угрозу людям и связанные с ней социальные и культурные смыслы. Одновременно вне поля зрения оказывается то, что

одни и те же вредные вещества для разных людей — в зависимости от возраста, пола, привычек питания, характера работы, информированности, образования и т. д. — могут иметь совершенно разное значение.

Особая трудность заключается в том, что исследования отдельных вредных веществ не в состоянии выяснить их концентрации

в человеке. То, что может показаться «безопасным» применительно к одному какому-либо продукту, будет крайне опасным в «конечном накопителе», каким стал человек на высокой стадии развития рыночного хозяйства. Здесь налицо

категориальная ошибка: ориентированный на природу или продукт производства анализ не в

состоянии ответить на вопрос о безопасности, по крайней мере до тех пор, пока «опасность» или «безопасность» имеют дело с людьми, которые все это глотают или вдыхают (подробнее об этом см. с. 78 слл. наст. изд.). Известно, что вдыхание многих лекарств может устранить или усилить воздействие каждого из них. Но человек, как известно, не живет (пока еще) одними только лекарствами. Он вдыхает вредные вещества вместе с воздухом, пьет их с водой, съедает вместе с овощами и т. д. Другими словами: безопасные величины имеют нехорошее свойство накапливаться. Становятся ли они от этого — как обычно бывает при сложении по правилам математики — все безопаснее?

2. О зависимости модернизационных рисков от знания

Риски, как и богатства, являются предметом распределения; те и другие создают ситуации — ситуации

риска и

классовые ситуации. Но тут и там речь идет о совершенно ином продукте и ином спорном предмете распределения. В случае с общественными благами речь идет о товарах, доходах, шансах получить образование, имуществе и т. д. как о вещах, которые люди стремятся получить. Напротив, риски являются

сопутствующим продуктом модернизации и производятся в таком изобилии, что их

желательно предотвращать, т. е. их нужно или устранять, или отрицать, переосмысливать.

Позитивной логике присвоения, стало быть, противостоит

негативная логика отторжения, предотвращения, устранения, переосмысления.

Если доход, образование и т. д. являются для отдельного человека потребляемыми, познаваемыми на опыте благами, то о существовании и распределении опасностей и рисков можно узнать

только на основании аргументов. То, что наносит вред здоровью и разрушает природу, часто недоступно чувственному восприятию, и даже там, где это лежит на поверхности, для «объективной» констатации опасности требуется специальное заключение экспертов. Многие из рисков нового типа (радиационное или химическое заражение, вредные вещества в пище, цивилизационные болезни) абсолютно не поддаются непосредственному чувственному восприятию человека. На передний план все больше и больше выдвигаются опасности, которых люди, им подверженные, часто не видят и не ощущают, опасности, которые скажутся уже не при жизни самих этих людей, а на их потомках, в любом случае такие опасности,

для обнаружения и интерпретации которых нужны «воспринимающие органы» науки —

теории, эксперименты, измерительные инструменты. Парадигмой этих опасностей являются изменяющие генетическую структуру последствия радиоактивности, которые, как показала авария ядерного реактора в Харисбурге, хотя и не ощущаются пострадавшими, но, создавая чудовищные нервные нагрузки, ставят их в

полную зависимость от мнений, ошибок и разногласий экспертов.

Разумеется, этой зависимости от знаний и невидимости цивилизационных ситуаций риска недостаточно для их понятийного определения; в них уже содержатся новые компоненты. Констатации рисков никогда не сводятся к простым констатациям фактов. В них конститутивно присутствует как

теоретическая, так и

нормативная составляющая. Обнаружение «опасной концентрации свинца у детей» или «пестицидов в материнском молоке» — еще не цивилизационная ситуация риска, как и концентрация нитратов в реках или серного ангидрида в воздухе. Нужно объяснить причины, показать, что это продукт индустриального способа производства, побочное следствие модернизации. В социально признанных рисках, таким образом, предполагаются инстанции и действующие лица модернизационного процесса со всеми их местными интересами и зависимостями; они поставлены в прямую причинно-следственную взаимосвязь с вредными явлениями и угрозами, полностью отделенными от этого процесса в социальном, содержательном, пространственном и временном отношениях. Женщина, которая в своей трехкомнатной квартире в пригородном районе кормит грудью своего трехмесячного малыша, имеет, следовательно, прямое отношение к химической промышленности, выпускающей защитные средства для растений, к крестьянам, вынужденным в соответствии с аграрной политикой общего рынка производить специализированную массовую продукцию и чрезмерно удобрять почву, и т. д. Во многом остается неясно, в каком радиусе можно и должно вести поиск побочных воздействий. Даже в мясе антарктических пингвинов недавно была обнаружена повышенная доза ДДТ.

Эти примеры можно толковать двояко: во-первых, в том смысле, что модернизационные риски имеют одновременно как специфически местные, так и неспецифически универсальные

проявления; во-вторых, как доказательства того, насколько неожиданны и непредвиденны скрытые пути их вредных воздействий. Таким образом, то, что было разъединено в содержательном и материальном, временном и пространственном отношениях, в модернизационных рисках обнаруживает причинно-следственную взаимосвязь и тем самым ставится в контекст социальной и правовой ответственности. Однако, как известно по крайней мере со времен Хьюма, догадки о причинной связи принципиально не поддаются восприятию. Они представляют собой теорию. Их нужно домысливать, предполагать, что это так и есть, в них нужно верить. В этом смысле риски тоже невидимы. Предполагаемая причинность всегда остается более или менее сомнительной и предварительной. В этом смысле и применительно к обыденному сознанию риска речь идет о

теоретическом и тем самым

онаученном сознании.

Имплицитная этика

Но и этой каузальной связи того, что разделено институционально, недостаточно. Испытание риском предполагает

нормативный горизонт утраченной уверенности, нарушенного доверия. Даже там, где риски фигурируют в виде цифр и формул, они остаются связаны с определенной территорией, остаются математическими сгустками нарушенных представлений о достойной человека жизни. В них требуется поверить, испытать их на собственном опыте в

таком виде невозможно. В этом смысле риски являют собой объективно представленные негативные образы утопий, в которых гуманное или то, что от него осталось, консервируется и заново оживает в модернизационном процессе. Этот невидимый нормативный горизонт, где становится наглядным только сомнительный характер рисков, нельзя устранить ни математическим, ни экспериментальным путем. За всеми рассмотрениями, по существу, рано или поздно встает вопрос о

приемлемости, т. е. старый и вечно новый вопрос о том,

как мы хотим жить. Заслуживает ли сохранения человеческое в человеке и природное в природе и что это такое? Получающие все более широкое распространение разговоры о «катастрофе» в этом смысле суть утрированное, доведенное до крайности, принявшее форму делового спора выражение того, что такое развитие

нежелательно.

Эти старые и вечно новые вопросы о том, что есть человек и как мы относимся к природе, могут попеременно вставать в повседневной жизни, в политике, в науке. На высокой стадии развития цивилизации они включаются в повестку дня в первоочередном порядке, в том числе и прежде всего там, где они до поры до времени выступают как бы в шапке-невидимке математических формул и методологических контrovers. Констатации рисков есть та форма, в которой этика, а вместе с ней философия, культура, политика снова занимают свое место

в центрах модернизации — в экономике, естественных науках, технических дисциплинах. Констатации рисков — это еще не признанный, неразвитый симбиоз естественных и гуманитарных наук, обыденной рациональности и рациональности экспертов, интереса и факта. Одновременно они ни то ни другое в отдельности. Они то и другое вместе, причем в новой форме. Их уже нельзя развивать и фиксировать изолированно, в соответствии с собственными стандартами рациональности. Они предполагают взаимодействие поверх переживающих серьезные трудности научных дисциплин, общественных групп и предприятий, взаимодействие над управлением и политикой или, что вероятнее, они распадаются на противоречивые дефиниции,

на борьбу дефиниций.

Научная и социальная рациональность

Существенный и чреватый последствиями вывод заключается в следующем: в определениях риска нарушается

монополия науки на рациональность. Существуют конкурирующие, конфликтные претензии, интересы и точки зрения различных участников модернизации и групп пострадавших, которые в дефинициях риска поневоле должны рассматриваться в единстве — как причина и следствие, виновник и пострадавший. Надо признать, многие ученые берутся за дело со всем пылом и пафосом своей деловой рациональности, их профессиональные усилия возрастают пропорционально растущему политическому содержанию их дефиниций. Но по самой сути своей работы они зависят от

социальных и потому как бы

заранее заданных ожиданий и оценок: где и как проводить границу между уже учтенными и более не поддающимися учету вредными воздействиями? Насколько компромиссны принятые при этом масштабы? Нужно ли мириться с возможностью экологической катастрофы ради удовлетворения экономических интересов? Что необходимо предпринять, в чем заключается необходимость мнимая и необходимость, чреватая изменениями? Претензии научной рациональности на

объективное выяснение уровня риска в опасных ситуациях постоянно противоречат сами себе: они основываются на

карточном домике спекулятивных предположений и колеблются исключительно в пределах вероятностных высказываний; содержащиеся в них прогнозы безопасности не могут быть опровергнуты даже

реально происходящими авариями. Кроме того, чтобы вообще осмысленно говорить о рисках, нужно занять определенную

оценочную позицию. Констатации риска

базируются на математических

возможностях общественных интересах прежде всего там, где они могут уверенно заявить о себе благодаря техническим средствам. Занимаясь цивилизационными рисками, наука всегда покидала почву экспериментальной логики и вступала в полигамный брак с экономикой, политикой и этикой или, говоря точнее, она сожительствует с ними «без официального оформления отношений».

Это скрытое чужое предписание в исследовании рисков превращается в проблему там, где ученые все еще выступают с монопольными претензиями на рациональность. Исследования надежности реакторов ограничиваются оценкой определенных рисков, поддающихся количественному анализу на примере

вероятных аварий. Размеры риска с самого начала сводятся к проблеме

технической управляемости. Напротив, широкие слои населения и противников атомной энергетики волнует в первую очередь

потенциал катастроф, заключенный в ядре. Даже считающаяся ничтожной вероятность аварии становится слишком высока там, где авария означает уничтожение. Кроме того, в публичных дискуссиях играют роль такие особенности риска, какие учеными вовсе не исследуются, например распространение атомного оружия, противоречие между человеческим организмом (ошибки, несостоятельность) и безопасностью, долгосрочность и необратимость принятых технологических решений, ставящих под угрозу жизнь следующих поколений. Иными словами, в дискуссиях о рисках обнажаются трещины и разрывы между научной и социальной рациональностью в обращении с цивилизационными потенциалами риска. Спорят, не слушая друг друга. Одна сторона ставит вопросы, на которые другая не дает ответа, эта другая сторона отвечает на вопросы, не затрагивающие сути того, о чем ее спрашивают и что порождает страхи.

Научная и социальная рациональность разделены пополам, но в то же время остаются в зависимости друг от друга, так как соединены множеством нитей. Строго говоря, даже различать их становится все труднее. Научные занятия рисками индустриального развития в той же мере соотнесены с социальными ожиданиями и оценочными горизонтами, в какой социальная полемика и восприятие рисков, в свою очередь, зависят от научных аргументов.

Исследование рисков идет чуть ли не застенчиво, вслед вопросам, задаваемым «врагами техники», которых оно призвано обуздать, благодаря чему в последние годы на его долю выпало невиданное материальное поощрение. Публичная критика и общественная обеспокоенность черпают силы из диалектического противостояния экспертизы и контрэкспертизы.

Без научных аргументов они

глухи, более того, они часто не в состоянии воспринимать в большинстве случаев «невидимый» объект и процесс своей критики и своих страхов. Несколько изменив известное высказывание, можно утверждать: научный рационализм без социального

пуст, социальный без научного —

слеп.

Тем самым мы отнюдь не рисуем картину всеобщей гармонии. Наоборот: речь идет о конкурирующих, конфликтных, борющихся за свое влияние претензиях. Тут и там во главу угла ставятся разные цели, варьируются разные подходы, устанавливаются разные константы. Если там преимущество отдается способам промышленного производства, то здесь акцент ставится на технологическом устранении вероятных аварий и т. д.

Многообразие дефиниций: все больше рисков

Теоретическим и ценностным содержанием рисков обусловлены новые компоненты: поддающаяся наблюдению

плюрализация конфликтов и многообразие определений цивилизационных рисков. Происходит, так сказать, перепроизводство рисков, которые частично ставят под сомнение, частично дополняют друг друга, частично взаимно понижают свой уровень. Каждая заинтересованная точка зрения пытается защитить себя с помощью определений риска и таким образом вытеснить риски, угрожающие ее кошельку. Угрозы почве, растениям, воздуху, воде и животному миру в этой борьбе всех против всех за такое определение риска, которое принесло бы наибольшую выгоду, занимают особое место, так как они ставят на обсуждение вопросы

всеобщего блага и выражают интересы тех, кто не может заявить о них сам (быть может, людей образумило бы только введение активного и пассивного избирательного права для травянок и дождевых червей). Для соотнесенности рисков с материальными интересами и ценностями плюрализация очевидна: значимость, неотложность и существование рисков колеблются в зависимости от многообразия интересов и оценок. Куда менее очевидно воздействие плюрализации на содержательную интерпретацию рисков. Причинная связь, возникающая в рисках между актуальными и потенциальными вредными воздействиями и системой промышленного производства, открывает пути для бесконечного множества отдельных интерпретаций. В сущности говоря, по крайней мере в опытном порядке можно поставить во взаимосвязь все со всем — при условии сохранения основной модели: модернизация как причина, ущерб как побочное следствие. Многие не подтвердятся. Но и то, что подтвердилось, должно будет отстаивать себя в борьбе с постоянно возникающими сомнениями. Однако существенно то, что даже при необозримом множестве возможностей интерпретации снова и снова будут ставиться во взаимосвязь друг с другом

отдельные предпосылки. Возьмем, к примеру, умирание лесов. Пока причиной и виновниками

этого считались короеды, белки или соответствующие лесничества, речь шла не о «рисках модернизации», а о халатности работников лесного хозяйства или о прожорливости животных.

Совершенно иные причины и виновники обнаруживаются тогда, когда преодолевается эта типично локальная ложная диагностика, и умирание лесов осознается и признается как следствие

индустриализации. Только тогда это становится долгосрочной, системно обусловленной проблемой, которую нельзя устранить на местном уровне, которая требует

политических решений. Если новая точка зрения получила право на существование, открывается бесконечное множество новых возможностей. Что навязывает нам вместе с опаданием листьев вечную и последнюю осень — серный ангидрид, азот со своими фотоокислителями, углеводородами и прочими сегодня абсолютно неизвестными нам веществами? Сами по себе химические формулы конечно важны. Вслед за ними под обстрел общественной критики попадают фирмы, отрасли промышленности и науки, научные и профессиональные группы. Ибо всякая социально признанная «причина» оказывается под массивным прессом воздействия, а вместе с этой причиной критикуется и система действий, в которой она возникает. Даже если это общественное давление встречает сопротивление и отражается, падает сбыт, обрушиваются рынки, приходится заново завоевывать и закреплять «доверие» потребителей с помощью широкомасштабных и дорогостоящих рекламных акций. Может ли автомобиль считаться «загрязнителем природы» и «губителем лесов»? Или же необходимо встроить наконец в работающие на угле электростанции высококачественные, созданные на высшем технологическом уровне приспособления по удалению серы и азота? Но разве это поможет, если вредные вещества, убивающие леса, доставляются к нам без всяких транспортных расходов ветрами из фабричных и выхлопных труб соседних с нами стран?

Везде, куда в поисках причин падает луч прожектора, вспыхивает огонь, и наскоро сколоченной и кое-как оснащенной «пожарной команде» приходится гасить его мощной струей контринтерпретации, чтобы спасти то, что еще можно спасти. Кто вдруг обнаруживает, что пригвожден к позорному столбу экологически опасного производства, тот с помощью мало-помалу институализированной производством «контрнауки» всячески пытается опровергнуть аргументы, поставившие его к позорному столбу, и называет другие причины и других виновников. Картина усложняется. Центральную роль начинает играть доступ к средствам информации. Неуверенность внутри промышленного производства усиливается: никто не знает, кого в следующий раз предадут анафеме экологической морали. Условием делового успеха становятся убедительные или, по крайней мере, приемлемые для общественного мнения аргументы. Манипуляторы общественного мнения, «сколачиватели аргументов» получают свой производственный шанс.

Причинные цепи и непрерывный процесс нанесения ущерба

Необходимо еще раз подчеркнуть: все эти воздействия наступают совершенно независимо от того, насколько убедительными представляются предлагаемые причинные интерпретации с той или иной научной точки зрения. Часто даже внутри науки и соответствующих дисциплин мнения на сей счет сильно расходятся.

Социальное воздействие определений риска, таким образом, не зависит от их научной состоятельности.

Многообразие интерпретаций имеет свое основание в самой логике модернизационных рисков. В конечном счете здесь предпринимается попытка поставить вредные воздействия во взаимосвязь с почти не поддающимися изолированному рассмотрению единичными факторами в комплексной системе индустриального способа производства. Системной взаимозависимости высокоспециализированных агентов модернизации в экономике, сельском хозяйстве, юриспруденции и политике соответствует отсутствие поддающихся изолированному рассмотрению единичных причин и ответственности. Заражает почву сельское хозяйство или же фермеры только самое слабое звено в цепи кругового процесса вредных взаимодействий? А может, они всего лишь несамостоятельные и подчиненные рынки сбыта для кормов и удобрений, которые производит химическая промышленность, и приложить усилия для предусмотрительного обеззараживания почвы нужно в этом направлении? Власти уже давно могли бы запретить или строго ограничить выпуск яд овитой продукции. Однако они этого не делают. Напротив, с благословения науки они непрерывно выдают охранные грамоты на производство «безопасных» ядовитых продуктов, которые все больше и больше действуют на нас не на одни только нервы. Значит ли это, что собака зарыта в джунглях властей, науки и политики? Но ведь, в конце концов, не они обрабатывают землю. Следовательно, виноваты крестьяне? Но они зажаты в тисках общего рынка, должны интенсивно вести хозяйство и в изобилии производить продукцию, чтобы, в свою очередь, выжить в сложившейся экономической ситуации...

Иными словами: высокодифференцированному разделению труда соответствует всеобщее соучастие в преступлении, а этому соучастию — всеобщая безответственность. Каждый является причиной

и следствием и тем самым

не является причиной. Причины растворяются во всеобщей взаимозависимости между агентами и условиями, реакциями и контрреакциями. Это придает идее системности социальную очевидность и популярность.

Отсюда совершенно ясно, в чем заключается биографическое значение идеи системности:

продолжительное время можно что-то делать, не неся персональной ответственности. Люди действуют как бы заочно. Они активны физически и пассивны морально и политически. Обобщенный Другой — система — действует через отдельного человека: в этом смысл рабской цивилизаторской морали, в рамках которой на общественном и индивидуальном уровне поступают так, будто все мы подчинены неотвратимой судьбе, «закону падения» системы. Так перед лицом надвигающейся экологической катастрофы мы сваливаем вину друг на друга.

Содержание риска: еще не состоявшееся событие, которое активизирует действие

Риски не исчерпываются уже наступившими следствиями и нанесенным ущербом. В них находит выражение существенная компонента

будущего. Она основывается частично на продлении обозримых в настоящее время вредных воздействий в будущее, частично на всеобщей утрате доверия или на предполагаемом «возрастании риска». Риски, таким образом, имеют дело с предвидением, с еще не наступившими, но надвигающимися разрушениями, которые сегодня реальны именно в этом значении. Вот пример из экспертного заключения по состоянию окружающей среды. Совет указывает на то, что высокие концентрации нитратов в азотных удобрениях до сих пор почти или вовсе не просачиваются в глубинные слои грунтовых вод, откуда мы берем питьевую

воду. Они едва ли не полностью разлагаются в почвенном горизонте. Однако неизвестно, как долго это будет продолжаться. Многие говорят за то, что фильтрующая способность защитного слоя может и не сохраниться в будущем. «Существует опасение, что нынешние нитратные смывы с соответствующим их продвижению опозданием, через годы или десятилетия, все же попадут и в более глубокие слои грунтовых вод» (5.29). Другими словами: часовой механизм в бомбе отсчитывает время. В этом смысле риски предполагают будущее, приход которого стоит задержать.

В противоположность понятной очевидности богатств рискам присуще нечто

ирреальное. В каком-то очень важном смысле они

реальны и одновременно

нереальны. С одной стороны, многие угрозы и разрушения уже реальны: загрязненные и умирающие воды, гибнущие леса, неизвестные ранее болезни и т. д. С другой стороны, социально направленная тяжесть аргументов риска приходится на

угрозы, ожидаемые в будущем. Риски, которые возникнут потом, приведут к разрушениям такого масштаба, при котором практически все действия впоследствии будут бессмысленны. Следовательно, как предположение, как угроза в будущем, как прогноз риски имеют и развивают упреждающую релевантность действия. Центр сознания риска лежит не в настоящем, а в

будущем. В обществе риска прошлое теряет способность определять настоящее. На его место выдвигается будущее как нечто несуществующее, как конструкт, фикция в качестве «причины» современных переживаний и поступков. Или мы будем активны сегодня, чтобы предусмотрительно устранить или смягчить проблемы и кризисы завтрашнего и послезавтрашнего дня, или потом у нас этой возможности не будет. При моделировании возможных ситуаций «прогнозируемые» узкие места на рынке труда оказывают обратное воздействие на отношение к получению образования; предполагаемая угроза безработицы — существенная детерминанта современной жизни и самоощущения человека в ней; прогнозируемое разрушение окружающей среды и атомная угроза внушают обществу тревогу и способны лишить работы значительную часть подрастающего поколения. В спорах о будущем мы, следовательно, имеем дело с «проектируемой переменной», с «предсказываемой причиной» индивидуального и политического поведения, релевантность и значение которой возрастают прямо пропорционально содержащейся в ней угрозе и тому обстоятельству, что она не поддается расчету; мы моделируем ее (должны это делать), чтобы наметить и организовать наши сегодняшние действия.

Легитимация: «латентные побочные воздействия»

Это, однако, предполагает, что риски успешно пройдут процесс социального признания. Но вначале риски представляются чем-то, чего следует избегать,

их несуществование допускается вплоть до отмены — по принципу: «in dubio pro прогресс» (в случае сомнения — за прогресс), а это значит: «в случае сомнения закрывай глаза». С этим связан способ легитимации, узаконения, резко отличающийся от неравенства в распределении общественных благ. Риски можно узаконивать таким образом, что их

нежелательное производство будут

не замечать. Ситуации риска в техногенной цивилизации должны прорываться сквозь раздающиеся вокруг них призывы к табуизации и «возникать в научном обличье». Чаще всего подобное происходит в статусе «латентного побочного воздействия», который признает реальность угрозы и одновременно узаконивает ее. Невозможно предотвратить то, чего не хотят замечать, риски возникают в процессе производства, они — нежданно появляющиеся дети, признание которых требует дополнительного обсуждения. Мыслительная схема «латентного побочного воздействия» выступает своего рода охранной грамотой,

естественной судьбой цивилизации, которая признает неизбежность последствий, но одновременно избирательно распределяет и оправдывает их.

3. Специфически классовые риски

Способы, образцы и коммуникативные средства распределения рисков кардинально отличаются от способов, образцов и средств распределения богатств. Это не исключает того, что многие риски распределяются в соответствии со

спецификой общественных прослоек или классов. В этом плане существуют широкие промежуточные зоны между классовым обществом и обществом риска. История распределения рисков показывает, что риски, как и богатства, распределяются по классовой схеме, только в обратном порядке: богатства сосредотачиваются в верхних слоях, риски в нижних. По всей видимости, риски не упраздняют, а

усиливают классовое общество.

К дефициту снабжения добавляется чувство неуверенности и избыток опасностей. Напротив, те, кто имеет высокие доходы, власть и образование, могут

купить себе безопасность и свободу от риска. Этот «закон» специфически классового распределения рисков и тем самым обострения классовых противоречий из-за концентрации рисков на стороне бедных и слабых долгое время считался и считается до сих пор одним из центральных измерений риска: сегодня риск остаться безработным для неквалифицированных рабочих значительно выше, чем для работников высокой квалификации. Риск перегрузки, облучения и отравления, связанный с работой в соответствующих отраслях промышленности, распределяется для работников разных профессий неравномерно. Группы населения, живущие вблизи промышленных центров, подвергаются длительному воздействию различных вредных веществ, находящихся в воздухе, воде или почве. Угроза потерять рабочее место вынуждает людей к большей терпимости.

Но классово обусловленная ущемленность возникает не только благодаря этому социальному фильтрующему и усиливающему воздействию. Возможность и способность избегать опасных ситуаций, обходить и компенсировать их тоже неодинакова у слоев с разными доходами и разным уровнем образования: кто располагает большими финансовыми возможностями, тот может попытаться избежать риска благодаря выбору места жительства, обустройству квартиры (или благодаря домику в деревне, отпуску и т. д.). То же самое можно сказать о питании, образовании и соответствующем отношении к еде и информации. Туго набитый кошелек позволяет кушать яйца «экологически безопасных курочек» и салат с «экологически безопасных грядок». Образование и внимательное отношение к информации открывают новые возможности обхождения с рисками. Можно не употреблять определенные продукты (например, старую говяжью печень с высоким содержанием свинца) и благодаря научно обоснованному режиму питания так варьировать еженедельное меню, чтобы тяжелые

металлы в рыбе из Северного моря можно было растворять, дополнять, обезвреживать (или, может быть, делать еще вреднее?). Приготовление и употребление пищи превращается в своего рода

имплицитную химию продуктов питания, в нечто вроде кухни ядов, с претензией на минимализацию опасности, при этом, чтобы сыграть с перепроизводством вредных и ядовитых веществ в химии и сельском хозяйстве в приватную «технологическую игру», требуются очень глубокие знания. Вместе с тем весьма вероятно, что реакция на отравления, о которых сообщают пресса и телевидение, приводит к выработке «антихимических» привычек питания и жизни. Эта повседневная «антихимия» (часто распространяемая среди покупателей рекомендациями на упаковках филиалами самой же химической промышленности) приведет и уже привела в образованных и состоятельных слоях населения, осознающих важность режима питания, к глубоким изменениям во всех сферах обеспечения — от пищи до условий жизни, от болезни до использования досуга. Отсюда можно было бы сделать общий вывод, что благодаря такому обдуманному подходу к рискам в финансово обеспеченных слоях населения старое социальное неравенство закрепляется на новом уровне. Однако такой вывод

не затронет ядро логики распределения рисков.

Параллельно с обострением ситуаций риска сужаются приватные пути спасения и возможности компенсации; в то же время их усиленно пропагандируют. Повышение риска, невозможность его избежать, политическая воздержанность, провозглашение и продажа частных возможностей уклонения от рисков взаимно

обусловлены. Для

некоторых продуктов питания эти частные окольные пути могут быть полезны; но уже при водоснабжении все социальные слои зависят от одной и той же трубы; и уж при виде «лесов-скелетов» в далеких от промышленных центров «сельских идиллиях» становится ясно, что перед содержанием ядовитых веществ в воздухе, которым мы все дышим, падают все классово обусловленные барьеры. Действительно эффективная защита в этих условиях может быть достигнута только в том случае, если

не есть,

не пить и

не дышать. Но и это поможет только относительно. Известно же, что происходит с камнями и трупами в земле.

4. Глобализация цивилизационных рисков

Выражаясь короче:

нужда иерархична, смог демократичен. Вместе с экспансией модернизационных рисков — с угрозой природе, здоровью, питанию — социальные различия и границы становятся относительными. Отсюда все еще делают очень разные выводы.

Объективно риски все же вызывают в пределах их досягаемости и среди попавших под их влияние

уравнительный эффект. Именно в этом и заключается их своеобразная политическая сила. В

этом смысле общества риска не классовые общества; возникающие в них опасные ситуации не могут восприниматься как ситуации классовые, их противоречия — не классовые противоречия.

Это становится еще яснее, если иметь в виду особый покров, особый образец распределения модернизационных рисков: им свойственна

имманентная тенденция к

глобализации. Вместе с промышленным производством идет процесс универсализации угроз, вне зависимости от того, где эти угрозы возникают: цепи продуктов питания связывают на земле практически каждого с каждым. Они не признают границ. Содержание кислот в воздухе разрушает не только скульптуры и сокровища искусства, оно уже давно упразднило современные таможенные барьеры. Озера в Канаде тоже содержат кислоту, на северных оконечностях Скандинавии тоже умирают леса.

Эта тенденция к глобализации порождает проблемы, опять-таки не специфические в их всеобщности. Когда все вокруг грозит опасностью, тогда уже как бы не существует никакой опасности. Когда больше нет спасения, можно об этом больше не думать. Экологический фатализм конца света позволяет маятнику частных и политических настроений качаться в

любом направлении. Действовать так или иначе надо было еще вчера. Быть может, с распространившимися повсеместно пестицидами можно справиться с помощью насекомых? Или брызг шампанского?

Эффект бумеранга

Глобализация содержит в себе образец распределения рисков, не совпадающего с ней самой, распределения, в котором таится значительная взрывная политическая сила. Риски раньше или позже настигают и тех, кто их производит или извлекает из них выгоду. Риски, распространяясь, несут в себе социальный

эффект бумеранга: имеющие богатство и власть тоже от них не застрахованы. Скрытые до поры до времени «побочные воздействия» начинают поражать и центры их производства. Агенты модернизации сами основательно и очень конкретно попадают в водоворот опасностей, которые они же породили и из которых извлекали выгоду. Это происходит в самых разных формах.

Обратимся еще раз к сельскому хозяйству. В период с 1951 по 1983 год расход удобрений вырос с 143 до 378 кг на гектар, а расход сельскохозяйственных химикатов с 1975 по 1983 год вырос в ФРГ с 25 тысяч до 35 тысяч тонн. Урожайность тоже повышалась, но не так быстро, как расход удобрений и пестицидов. Урожайность зерновых удвоилась, урожайность картофеля поднялась на 20 %. Непропорционально малое повышение урожайности относительно применения удобрений и химикатов сопровождается непропорционально высоким ростом наносимого природе ущерба, что видят и болезненно ощущают сами крестьяне. Бросающаяся в глаза примета этого опасного развития — значительное сокращение многих видов растений и животных. «Красные списки», фиксирующие в качестве «официальных свидетельств о смерти» угрозу существованию растительного и животного мира, становятся все длиннее.

«Из 680 видов луговых растений в опасности находятся 519. Стремительно сокращается количество обитающих на лугах птиц, таких, как белый аист, кроншнеп или чекан луговой; в

Баварии, например, последние популяции этих птиц пытаются спасти с помощью специальных „луговых“ программ... Пострадали животные, которые выводят птенцов на земле, важнейшие звенья пищевых цепей — хищные птицы, совы, стрекозы, а также представители животного мира, питающиеся все реже встречающейся в природе пищей, например большими насекомыми, или же нуждающиеся в течение всего вегетационного периода в цветочном нектаре».

Ранее «незаметные побочные воздействия» превращаются, следовательно, в основные воздействия, которые наносят ущерб даже породившим их производственным центрам. Производство модернизационных рисков сродни

траектории бумеранга. Интенсивное сельское хозяйство, поддержанное миллиардными инвестициями, не только драматическим образом повышает в отдаленных городах содержание свинца в материнском молоке и у детей. Разными способами оно подрывает и природный базис самого сельскохозяйственного производства: разрушается плодородный слой почвы, исчезают жизненно необходимые животные и растения, нарастает угроза эрозии почвы.

Этот кругообразный социальный эффект риска можно обобщить: модернизационные опасности раньше или позже приводят к

единству преступника и

жертвы. В худшем, непредставимом случае — при атомном взрыве — очевидно, что он уничтожает и нападающего. Становится ясно, что земля превратилась в пусковую площадку, не признающую различий между богатыми и бедными, белыми и черными, Югом и Севером, Востоком и Западом. Но эффект проявляется только тогда, когда он возникает, а когда он возникает, то тут же и исчезает, ибо исчезает все вокруг. Эта апокалипсическая угроза не оставляет видимых следов в

момент самой угрозы. По-другому обстоит дело с экологическим кризисом. Он подрывает естественные и экономические основы сельского хозяйства и тем самым снабжение населения в целом. Здесь проявляются воздействия, которые наносят урон не только природе, но и кошелькам богачей, здоровью власть имущих. Из сведущих уст раздаются пронзительные апокалипсические предостережения, которые нельзя делить по принципу партийно-политической принадлежности.

Экологическое обесценение и отчуждение

Эффект бумеранга, таким образом, проявляется не только в непосредственной угрозе жизни, он дает о себе знать и в сфере денег, собственности, узаконения. Он обрушивается не только на непосредственного виновника. Обладая обобщающим и уравнивающим свойством, он вынуждает страдать всех: из-за умирания лесов не только исчезают целые виды птиц, но и снижается экономическая ценность лесных и земельных угодий. Там, где строится или планируется атомная (или работающая на каменном угле) электростанция, падают цены на земельные участки. Городские и промышленные районы, автобаны и основные автомобильные магистрали наносят ущерб ближайшим окрестностям. Даже если еще не доказано, по этой ли причине уже сегодня 7 % федеральных земель настолько обременены (или будут обременены в обозримом будущем), что на них без угрызений совести нельзя заниматься никаким сельскохозяйственным производством, принцип остается неизменным: собственность обесценивается, медленно

«экологически отчуждается».

Это воздействие поддается обобщению. Разрушение природы и окружающей среды, нанесение им ущерба, сообщения о содержании ядовитых веществ в продуктах питания и предметах повседневного обихода, грозящие или, тем более, уже произошедшие аварии на химических предприятиях или ядерных реакторах действуют как ползучее или галопирующее обесценение и отчуждение прав собственности. Из-за ничем не сдерживаемого производства модернизационных рисков будет и впредь — последовательно или рывками, иногда в форме катастрофических обострений — проводиться

политика необитаемой земли. То, что отвергалось как «коммунистическая опасность», происходит в результате наших собственных действий в другой форме — окольными путями заражения природы. Независимо от местоположения идеологического противостояния на арене рыночной борьбы каждый против каждого проводит политику «выжженной земли» — с решающим, но редко долговременным успехом. То, что заражено или считается зараженным — с точки зрения социальных и экономических ценностей это едва ли существенно, — может принадлежать тому, кому принадлежит, или любому желающему это приобрести. При сохранении правовых норм собственности все это становится бесполезным или не имеющим ценности. Таким образом, в случае с «экологическим отчуждением» мы имеем дело с

социальным и экономическим отчуждением при сохраняющемся праве на владение. К продуктам питания это относится в той же мере, как и к воздуху, почве и воде. Это касается всего, что в них живет, но прежде всего тех, кто живет

тем, что в них содержится. Разговоры о «квартирных ядах» показывают: все, что составляет нашу цивилизованную повседневность, может быть втянуто в этот процесс.

Главный вывод из сказанного предельно прост: все, что угрожает жизни на этой земле, угрожает тем самым интересам собственности тех, кто живет торговлей и

превращением в товар продуктов питания и самой жизни. Таким образом возникает глубокое, систематически обостряющееся

противоречие между желанием получать прибыль и интересами собственности, которые двигают процесс индустриализации, с одной стороны, и многообразными грозными последствиями этого процесса, наносящими ущерб прибыли и собственности (не говоря уже об ущербе самой жизни), с другой.

При аварии на атомном реакторе или химическом предприятии в эпоху высокого развития цивилизации на карте Земли снова возникают «белые пятна» — памятники тому, что несет в себе угрозу. Выбросы ядовитых веществ, неожиданно обнаруженные скопления ядовитых веществ на свалках превращают жилые селения в

«отравленные», а земельные участки в пустыри, непригодные для использования. Вдобавок к тому имеются еще и многообразные предварительные стадии и ползучие формы. Рыба из зараженных морей несет угрозу не только людям, употребляющим ее в пищу, но и многим из тех, кто

живет ловлей и переработкой рыбы. При опасности смога

на время замирает жизнь страны. Целые промышленные районы превращаются в города-призраки. Эффект бумеранга требует, чтобы остановились промышленные предприятия, породившие смог. И не только они.

Смогу нет дела до принципа виновности. Он уравнивает и поражает всех, независимо от степени участия в его производстве. Рекламе курортов для легочных больных смог, конечно

же, тоже не способствует, он отпугивает клиентов. Если бы информация об опасном уровне загрязнения воздуха (а также воды) была закреплена законом, она могла бы очень скоро сделать курортные управления и индустрию отдыха решительными сторонниками эффективной политики борьбы с вредными воздействиями на природу.

Ситуации риска — это не классовые ситуации

Таким образом, вместе с генерализацией модернизационных рисков освобождается динамика, которую уже нельзя постичь и осмыслить в классовых категориях. Владение включает в себе невладение и тем самым предполагает социальную напряженность и конфликты, в которых на протяжении длительного времени возникают и закрепляются взаимные социальные идентичности — «те там наверху, мы здесь внизу». Совершенно по-иному складывается ситуация при угрозе риска. Кто попал в зону риска, тому приходится туго, но он ничего не отнимает у тех, кому повезло больше. Подверженность и неподверженность риску не распределяется по полюсам, как богатство и бедность. Пользуясь этой аналогией, можно сказать, что «классу» подверженных риску не противостоит «класс» неподверженных. Галопирующая плата за здоровый образ жизни уже завтра загонит «богатых» (в смысле здоровья и самочувствия) в очередь к больничным кассам, а послезавтра в разряд париев — инвалидов и увечных. Беспомощность властей перед лицом выбросов отравляющих веществ и скандалов с ядовитыми свалками, а также лавина периодически возникающих правовых, компетентных и компенсационных вопросов говорят сами за себя. Это значит, что свобода от рисков обернется завтра необратимой подверженностью им. Конфликты, связанные с модернизационными рисками, возникают по причинам

системного характера, которые совпадают с движущей силой прогресса и прибыли. Они соотнесены с размахом и распространением опасностей и возникающих вследствие этого притязаний на возмещение и/или на принципиальную смену курса. Речь в них идет о том, будем ли мы и дальше хищнически относиться к природе (включая нашу собственную, человеческую), и, следовательно, о том, все ли в порядке с нашими понятиями «прогресса», «благополучия», «экономического роста», «научной рациональности» и т. д. В этом смысле вспыхивающие у нас конфликты принимают характер цивилизационной борьбы за правильный путь в будущее. Во многом они напоминают скорее религиозные войны средневековья, чем классовые конфликты XIX и начала XX века.

Индустриальные риски и разрушения не останавливаются перед государственными границами. Они связывают жизнь травинки в баварском лесу с действенным соглашением о международной борьбе с вредными воздействиями. Отдельно взятой нации нечего делать с наднациональным распространением вредных веществ. Промышленно развитые страны отныне должны делать различие между

«национальными балансами впуска и выпуска». Иными словами, возникает неравенство на международном уровне между странами с «активным», «уравновешенным» и «пассивным» балансом загрязнения; говоря яснее, нужно различать страны, загрязняющие окружающую среду, и страны, вынужденные расхлебывать, вдыхать эту грязь и расплачиваться повышенной смертностью, экологическим отчуждением и обесценением. Это отличие и лежащий в его основе конфликтный материал должны будут вскоре учитывать и «братские страны социалистического сообщества».

Ситуация риска существования под угрозой

Наднациональной неувовимости модернизационных рисков соответствует способ их распространения. Их невидимость практически не дает потребителям возможности выбора. Они — «продукты, которые носят на спине», их проглатывают и вдыхают

вместе с другими продуктами. Они —

«безбилетные пассажиры» нормального потребления . Они путешествуют с ветром и водой. Они таятся в каждом предмете и в каждом человеке, они минуют все обычно очень строго контролируемые охранные зоны модерна с самым необходимым для жизни — с воздухом, которым мы дышим, с пищей, одеждой, предметами домашней обстановки и т. п. В отличие от богатства, которое притягивает, но может и отталкивать, в отношении которого всегда необходим и возможен выбор, риск и вредные воздействия прокрадываются повсюду имплицитно, не признавая свободного (!) выбора. В этом плане они открывают возможность для возникновения новой предопределенности, своего рода «цивилизационной аскриптивности» риска. В известном смысле это напоминает борьбу сословий в средние века. Сегодня можно говорить о

сопряженной с риском судьбе человека в эпоху развитой цивилизации , с этой судьбой рождаются, от нее невозможно избавиться никакими усилиями, в отличие от средних веков

все мы в одинаковой степени предоставлены этой судьбе («маленькая разница», но воздействие ее огромно).

В эпоху развитой цивилизации, которая пришла, чтобы снять предопределенность, дать людям свободу выбора, избавить их от зависимости от природы, возникает новая, глобальная, охватывающая весь мир зависимость от рисков, перед лицом которой индивидуальные возможности выбора не имеют силы хотя бы уже потому, что вредные и ядовитые вещества в индустриальном мире вплетены в элементарный процесс жизни. Ощущение этой лишенной выбора подверженности риску делает понятным шок, бессильную ярость и чувство, жизни без будущего, с которым многие противоречиво, но не без пользы для себя реагируют на новейшие достижения технической цивилизации. Можно ли вообще критически относиться к тому, чего нельзя избежать? Нужно ли отказываться от критической дистанции только потому, что этого нельзя избежать, и идти в неизбежное с насмешкой или цинизмом, с равнодушием или ликованием?

Новое международное неравенство

Охватившее весь мир равномерное распространение опасных ситуаций не должно, однако, скрывать социальное неравенство

внутри зон, подверженных риску. Оно возникает в первую очередь там, где — тоже в международном масштабе — классовые ситуации и ситуации риска

наслаиваются друг на друга. Пролетариат всемирного общества риска селится рядом с дымовыми трубами, нефтеперегонными заводами и химическими фабриками в индустриальных центрах третьего мира. «Крупнейшая промышленная катастрофа в истории», авария в индийском Бхопале довела это до сознания мировой общественности. Производства, сопряженные с риском, выводятся в страны с дешевой рабочей силой. Это не случайно. Существует постоянное взаимное «притяжение» между крайней бедностью и крайним риском. На сортировочной станции по распределению рисков особым

предпочтением пользуются «слаборазвитые провинциальные захолустья». И только наивный глупец может думать, что облеченные ответственностью стрелочники не ведают, что творят. Об этом свидетельствует и «более высокая занятость» безработного населения провинций по сравнению с «новыми» технологиями, создающими рабочие места.

Материальная нужда идет рука об руку с пренебрежением риском — это особенно хорошо видно в международном масштабе. О беспечном обращении с пестицидами, например, в Шри-Ланке немецкий эксперт по третьему миру сообщает: «ДДТ там разбрасывают руками, люди покрыты белой пылью». На антильском острове Тринидад (1,2 миллиона жителей) в 1983 году отмечено 120 смертельных случаев отравления пестицидами. «Когда после опрыскивания не чувствуешь себя больным, значит, опрыскивал недостаточно», — говорит один фермер. Для этих людей престижными символами успеха являются комплексные сооружения химических фабрик с их внушительными трубами и резервуарами. Таящаяся в них смертельная угроза остается невидимой. Удобрения, средства для уничтожения насекомых и сорняков, которые производят эти фабрики, воспринимаются прежде всего как знаки освобождения от материальной нужды. Они — предпосылки «зеленой революции», которая — пользуясь постоянной поддержкой индустриально развитых западных государств — подняла в прошедшие годы производство продуктов питания на 30 %, а в некоторых странах Азии и Африки даже на 40 %. Перед лицом этих очевидных успехов на задний план отступает тот факт, что при этом ежегодно на хлопковые и рисовые поля, табачные и овощные плантации распыляются... многие сотни тысяч тонн пестицидов. В конкуренции между явной угрозой голодной смерти и невидимой смертельной угрозой отравления ядами побеждает необходимость борьбы с материальной нуждой.

Без массового применения химикатов снизилась бы урожайность полей, свою долю сожрали бы насекомые и плесень.

С помощью химии бедные периферийные страны могут создавать собственные запасы продовольствия и обретать хоть какую-то независимость от мощных метрополий индустриального мира. Химические фабрики на их территории усиливают ощущение независимости от дорогого импорта. Борьба с голодом и за автономию создает защитный заслон, за которым вытесняется, преуменьшается серьезность и без того не воспринимаемых органами чувств опасностей;

тем самым, накапливаясь и распространяясь, они в конце концов через пищевые цепи возвращаются в богатые промышленные страны.

Защитные, гарантирующие безопасность предписания разработаны недостаточно, а там, где они существуют, они остаются на бумаге. «Промышленная наивность» сельского населения, часто не умеющего ни читать, ни писать, не говоря уже о приобретении защитной одежды, открывает перед менеджментом огромные, в развитых странах давно утерянные возможности узаконенного обращения с рисками: можно издавать предписания и настаивать на их выполнении, зная, что их претворение в жизнь все равно нереально. Таким образом, сохраняется «незапятнанная репутация» и можно с чистой совестью и материальной выгодой свалить ответственность за аварии и смертельные случаи на невежество и бескультурие населения. Когда случаются аварии, всеобщая неразбериха в сфере компетенции и интересы бедных стран открывают широкие возможности для политики сокрытия истины и принижения серьезности опустошительных воздействий. Выгодные, свободные от законодательных ограничений условия производства как магнитом притягивают промышленные концерны и сопрягаются с собственными интересами стран в преодолении материальной нужды, а также достижении государственной автономии, образуя в полном смысле слова взрывоопасную смесь:

дьявола голода пытаются победить с помощью Вельзевула накопления рисков. Особо опасные производства выводятся на периферию бедных стран. К бедности третьего мира

добавляется ужас перед раскрепощенными разрушительными силами развитой индустрии, чреватой риском. Снимки и сообщения из Бхопала и Латинской Америки говорят сами за себя.

Вилла-Паризи

Самое грязное химическое производство в мире находится в Бразилии. Обитатели трущоб ежегодно должны менять жестяные крыши своих лачуг, так как их разъедают кислотные дожди. Кто долго живет в них, наживает волдыри, «крокодилью кожу», как говорят бразильцы.

Хуже всего приходится обитателям Вилла-Паризи, трущоб с населением в 15 тысяч человек, большинство из которых построили себе скромные домики из серого камня. Газовые маски здесь уже продаются в супермаркетах. У большинства детей астма, бронхит, болезни горла и носа, сыпь на коже.

В Вилла-Паризи легко ориентироваться по запаху. На одном краю kloкочет открытая клоака, на другом течет ручей зеленоватой клейкой жидкости. Запах жженных куриных перьев говорит о близости сталелитейного завода, запах тухлых яиц свидетельствует о близости химической фабрики.

Прибор для измерения выбросов вредных веществ, установленный властями, отказал в 1977 году, прослужив всего полтора года. Судя по всему, уровень загрязнения оказался ему не по плечу.

История самого грязного поселка в мире началась в 1954 году, когда бразильская нефтяная фирма «Пегропрас» выбрала заболоченную окраину местом для своего нефтеперегонного завода. Вскоре здесь появился крупнейший сталелитейный концерн Косипа, к нему присоединились американо-бразильский концерн по производству удобрений, мультинациональные концерны «Фиат», «Дау Кемикл» и «Юниен Карпид». Это был период бума бразильского капитализма. Военное правительство пригласило зарубежных предпринимателей производить у себя вредные для окружающей среды продукты. «Бразилия еще может импортировать загрязнение», — хвастался в 1972 году министр планирования Пауло Вельоза. Это был год проведения в Стокгольме конференции по защите окружающей среды. «Единственное, что угрожает экологии Бразилии, — говорил он, — это бедность».

Основной причиной болезней являются недоедание, алкоголь и сигареты, говорит представитель фирмы «Пегропрас». «Люди приходят к нам из Копатао уже больными, — вторит ему Паулу Фугейредо, шеф „Юниен Карпид“, — и если болезнь усугубляется, они обвиняют в этом нас. Это просто лишено логики». Губернатор Сан-Паулу уже два года пытается внести свежую струю в зачумленный Копатао. Он усилил вяло работающую природоохранную службу 13 новыми сотрудниками, установил компьютерное наблюдение за выбросами в атмосферу. Но ничтожно малые штрафы в несколько тысяч долларов отравителям природы не помеха. Катастрофа произошла 25 февраля этого года. Из-за небрежности в работе фирмы «Пегропрас» в болото, на котором стоят свайные постройки Вилла-Соку, вылилось 700 тысяч литров нефти. В течение двух минут над фавелой пронесся огненный смерч. В огне погибло более 500 человек. Трупов маленьких детей не обнаружили. «В этой жаре они просто сгорели дотла», — утверждает бразильский чиновник.

Бхопал

Птицы падали с неба. Индийские водяные буйволы валялись замертво на улицах и полях и спустя несколько часов вздувались от центральноазиатской жары. И повсюду умершие от удушья люди, с пеной у рта, с судорожно сжатыми руками вцепились в землю. В конце прошлой недели их было три тысячи, и количество жертв растет, власти сбились со счета. Около двадцати тысяч человек, по всей вероятности, ослепнут. В городе Бхопал в ночь с воскресенья на понедельник произошел не имеющий аналогов в истории индустриальный апокалипсис. На одной из химических фабрик произошла утечка газа, ядовитое облако точно саваном покрыло густонаселенный район площадью в шестьдесят пять квадратных километров. Когда оно наконец рассеялось, вокруг распространился сладковатый запах разложения. Город превратился в поле сражения, хотя не было никакой войны. Индусы сжигали мертвецов на кострах, по двадцать пять человек сразу. Скоро стало не хватать дров для ритуальной кремации — тогда трупы стали обливать керосином и поджигать. На мусульманском кладбище оказалось мало места, пришлось вскрывать старые могилы, нарушая священные заповеди ислама. «Я знаю, — жалуется один из могильщиков, — грех класть в одну могилу двух человек. Аллах да простит нас — мы хоронили в одной могиле трех, четырех и больше».

В отличие от бедности вызванное рисками обнищание третьего мира не щадит и богатых. Нарастание рисков сужает мировое сообщество до размеров подверженной опасностям общины. Эффект бумеранга затрагивает в первую очередь те богатые страны, которые избавились от чреватых рисками производств, но продолжают с выгодой для себя импортировать продукты питания. С фруктами, бобами, какао, кормом для скота, чайными листьями и т. д. пестициды возвращаются на свою высокоиндустриализированную родину. Крайнее неравенство мирового сообщества и экономическая интеграция сближают бедные кварталы в периферийных странах с богатыми жилищами в индустриальных центрах. Эти кварталы становятся источниками заражения, которое — подобно заразным болезням бедняков, возникавшим в тесноте средневековых городов, — не обходит стороной и комфортабельные места обитания богачей.

5. Две эпохи, две культуры: о соотношении восприятия и производства рисков

Неравенство классового общества и неравенство общества риска могут, следовательно, наслаиваться, обуславливать друг друга, одно может порождать другое. Неравномерное распределение общественного богатства представляет практически неустранимые лазейки и оправдания для производства рисков. При этом необходимо делать строгое различие между культурным и политическим

вниманием к проблеме и

действительным распространением рисков.

Классовые общества суть такие общества, в которых, если не считать классовых перегородок, главное заключается в удовлетворении материальных потребностей. В них голод противостоит изобилию, власть — бессилию. Нужда не требует доказательств. Она существует — и все тут. Ее непосредственности и очевидности соответствует материальное наличие богатства и власти. В этом смысле не вызывающие сомнения данности классового общества суть данности

видимой культуры: костлявый голод контрастирует с заплывшей жиром сытостью, дворцы с хижинами, роскошь с лохмотьями.

В обществе риска эти явные очевидности уже не действуют. Видимое оказывается в тени невидимых опасностей. То, что не воспринимается органами чувств, больше не совпадает с нереальным, даже если оно обладает повышенным уровнем опасности. Непосредственная опасность конкурирует с сознаваемым содержанием риска. Мир видимой нужды или видимого изобилия оттесняется на задний план подавляющим превосходством риска.

Невидимые риски не могут выиграть состязание с воспринимаемым органами чувств богатством. Видимое не может соревноваться с невидимым. Парадокс в том, что именно поэтому невидимые риски берут верх.

Игнорирование и без того невидимых рисков, которое ищет — и действительно находит (см. ситуацию в третьем мире) — все новые и новые оправдания в устранении бросающейся в глаза бедности, и есть та политическая и культурная почва, на которой

произрастают и процветают риски и опасные ситуации. Во взаимном наложении и конкуренции проблемных ситуаций классового, индустриального и рыночного общества, с одной стороны, и ситуаций общества риска, с другой, в сложившихся условиях и масштабах релевантности побеждает логика производства богатства —

и именно поэтому в конце концов побеждает общество риска. Очевидность нищеты вытесняет восприятие рисков; но только восприятие, а не их наличие и воздействие: риски, которых не хотят замечать, растут особенно хорошо и быстро. На определенной ступени общественного производства, характеризуемой развитием химической промышленности, а также технологии строительства реакторов, микроэлектроники, генной инженерии, преобладание логики и конфликтов производства богатства, а также социальная неосязаемость общества риска не являются доказательством его нереальности, наоборот, они являются движущей силой, ведущей к возникновению этого общества, и, следовательно, доказательством его реальности.

Об этом свидетельствует наложение и обострение классовых ситуаций и ситуаций риска в третьем мире; но не в меньшей мере также образ мыслей и действий в богатых индустриальных странах, где главным приоритетом пользуется неуклонная поддержка экономического подъема и роста. Чтобы четко не определять верхних границ выброса вредных веществ и ослабить контроль за ними или вообще не исследовать (не искать) наличие вредных веществ в продуктах питания, грозят сокращением рабочих мест. В интересах производства не подвергаются изучению (не регистрируются) целые группы ядовитых веществ; они как бы не существуют и поэтому могут свободно распространяться. При этом замалчивается, что борьба с загрязнением окружающей среды уже сама стала процветающей отраслью промышленности, которая многим миллионам людей в ФРГ гарантирует надежные (даже слишком надежные) рабочие места.

Одновременно оттачиваются инструменты

определяющего «подавления» рисков и раздаются угрозы в адрес тех, кто риски не скрывает; на них клеветают, обзывают «нытиками» и производителями рисков. Их трактовку рисков считают «бездоказательной», а воздействие на человека и природу — «чрезмерно преувеличенным». Чтобы знать, что происходит, и принять соответствующие меры, необходимо, мол, больше заниматься исследованиями. Только быстро растущий социальный продукт может создать условия для совершенствования охраны окружающей среды. Надо, говорят эти люди, доверять науке и результатам исследований. До сих пор наука находила решение всех проблем. Критику науки и тревогу за будущее клеймят как «иррационализм». Они-де и есть истинная причина всех бед. Риск — неотъемлемая принадлежность прогресса, как волна, поднимаемая носом отправившегося в дальнее плавание корабля. Риск — не изобретение новейшего времени. К нему терпимо относятся во многих областях

общественной жизни. Взять, к примеру, смертность в автокатастрофах. От нее каждый год, так сказать, бесследно исчезает средний немецкий город. Но даже к этому привыкли. До всего этого еще далеко авариям на химических фабриках и маленьким (а если иметь в виду надежную немецкую технологию, то и вовсе невероятным) катастрофам с радиоактивными материалами, хранением отходов и т. д.

Преобладание подобных толкований не может скрыть их несостоятельности. Их победа — это пиррова победа. Там, где это преобладание наличествует, оно производит то, что отрицает: опасные ситуации общества риска. Утешаться тут нечем, ибо угроза нарастает.

6. Утопия мирового сообщества

Именно благодаря отрицанию и невосприятию рисков возникает

объективная общность глобальной опасности. За многообразием интересов угрожающе возрастает реальность риска, который уже не признает социальных и национальных различий и границ. За стеной равнодушия быстро растет опасность. Это, разумеется, не означает, что перед лицом растущих цивилизационных рисков возникнет великая гармония. Именно

в обращении с рисками возникают новые разнообразные социальные дифференциации и конфликты. Они уже не придерживаются схемы классового общества. Они рождаются прежде всего из двойного обличья рисков в развитом рыночном обществе: риски здесь не только риски, но и

рыночные шансы. Вместе с развитием общества риска нарастают и противоречия между теми, кто

подвержен рискам, и теми, кто извлекает из них выгоду. В той же мере растет социальное и политическое значение знания, а вместе с тем и власть над коммуникативными средствами для получения знаний (наука) и их распространения (средства массовой информации). В этом смысле общество риска — это общество

науки, коммуникативных и информационных средств. В нем обнаруживаются новые противоречия между теми, кто

производит риски, и теми, кто их

потребляет.

Эта напряженность между устранением риска и бизнесом, производством и потреблением дефиниций риска пронизывает все сферы деятельности общества. Здесь надо искать главные источники борьбы за то, как

определить масштаб, степень и неотложность риска.

То, как экспансивный рынок разделяется с рисками, способствует попеременному затуманиванию и прояснению ситуации с рисками, а в результате уже никто не знает, в чем заключается «проблема» и где искать ее «решение», кто из чего извлекает выгоду, обнаруживает ли оглашение предполагаемых причин истинных виновников или только маскирует их, и вообще, не являются ли все эти разговоры о рисках выражением сознательно искаженной политической драматургии, которая в действительности имеет целью нечто совсем иное.

Однако риски, в отличие от богатств, распределяются по полюсам

всегда только частично , а именно со стороны преимуществ, которые ими

тоже создаются, и на более низком уровне их проявления. Как только опасность оказывается в поле зрения и начинает нарастать, преимущества и различия исчезают. Риски раньше или позже приносят с собой угрозы, которые ставят под сомнение прежние преимущества, а когда опасность пронизывает все многообразие интересов, становится явью и всеобщность риска. Как только под «крышей» затронутых риском — неважно, в какой степени, — вопреки всем противоречиям возникает общий интерес, представители разных классов, партий, профессиональных и возрастных групп объединяются в гражданские инициативы, чтобы противодействовать угрозе атомного облучения, отравления ядовитыми отходами или чтобы встать на пути очевидного нанесения ущерба природе.

В этом смысле общество риска порождает новые противоречия

и новые, вызванные возникшей опасностью, общности, политическая устойчивость которых еще не до конца ясна. По мере того как обостряются и приобретают всеобщий характер модернизационные риски, стирая с карты земли еще не охваченные опасностью зоны, общество риска (в отличие от классового общества) порождает тенденцию к объективной унификации опасностей в глобальном масштабе. В конечном итоге нарастающему давлению цивилизационных рисков оказываются подвержены друг и враг, Восток и Запад, верх и низ, город и деревня, черные и белые, Юг и Север. Общества риска — неклассовые общества, но этого мало. Они несут в себе

взрывающую границы, базисную демократическую динамику развития , посредством которой человечество загоняется в унифицированную ситуацию цивилизационного саморазрушения.

В этом отношении общество риска располагает новыми источниками конфликтов и соглашений. Место

устранения дефицита занимает ликвидация риска . Даже если для этого еще не созрело сознание и не сложились политические организационные формы, можно утверждать, что общество риска с его динамикой нарастания опасности подрывает устойчивость

национально-государственных границ, а также границ межгосударственных союзов и экономических блоков . В то время как классовые общества поддаются организации в национальные государства, общества риска порождают общности на основе объективно существующей опасности; развитие этих общностей может быть приостановлено только в рамках всего мирового сообщества.

Потенциал саморазрушения цивилизации, возникший в процессе модернизации, делает реальнее или по меньшей мере неотложнее и утопию мирового сообщества. Точно так же как в XIX веке под угрозой экономического краха люди учились подчиняться условиям индустриального общества наемного труда, уже сегодня и в будущем под угрозой цивилизационного апокалипсиса они должны будут научиться преодолевать все преграды и за одним столом находить и проводить в жизнь решения, направленные на спасение от опасности, ими же порожденной. Тенденция в этом направлении ощущается уже сегодня. Проблемы защиты окружающей среды могут быть осмысленно и по-деловому решены только на основе международных переговоров и соглашений. Соответственно путь к ним ведет через конференции и договоры поверх военно-политических блоков. Угроза накопления атомного оружия чудовищной разрушительной силы тревожит людей в обоих блоках и способствует возникновению общности, политическая устойчивость которой еще должна быть подтверждена.

Однако подобные попытки извлечь из этого непостижимого ужаса по крайней мере политический смысл не должны создавать впечатление, будто вновь возникающие общности, вызванные к жизни опасностью, имеют хоть какую-то политико-организационную опору. Напротив, они сталкиваются с национально-государственным эгоизмом и господствующими внутриобщественными партийными и прочими организациями индустриального общества, представляющими его интересы. В джунглях корпоративистского общества просто не находится места для осознания глобальной угрозы. У каждой организации есть своя клиентура и своя «социальная среда», состоящая из контрагентов и партнеров по разного рода союзам, которых нужно активизировать и сталкивать друг с другом. Глобальность ситуаций риска ставит плюралистическую структуру подобных организаций перед почти неразрешимыми проблемами. Эта структура сводит на нет выработанные навыки достижения компромисса.

В самом деле, угроза нарастает, но она не оборачивается

превентивной политикой преодоления риска. Более того, неясно, какого рода политика, какие политические институты способны это сделать. Правда, возникает труднопостижимая, как и сами риски, общность. Но она — скорее нечто желаемое, нежели реально существующее. Одновременно с пропастью между желаемым и реальным положением вещей возникает вакуум политической компетентности и институциональности, даже вакуум представлений об этом. Открытость вопроса о политическом подходе к опасностям входит в резкое противоречие с растущей необходимостью действовать.

За всем этим, наряду со многими другими вопросами, кроется и вопрос о

политическом субъекте. Теоретики классовых обществ XIX века выбрали с полным на то основанием в качестве субъекта пролетариат. Как раньше, так и теперь этот выбор создает для них большие трудности. Социальная и политическая очевидность этого выбора, именно

потому, что он был точным, характеризуется движением в обратную сторону. Политические и профсоюзные завоевания рабочего движения велики, причем настолько, что они похоронили под собой роль пролетариата, некогда указывавшую путь в будущее. Эта роль скорее направлена на сохранение достигнутого, которому будущее угрожает, чем на развитие политической фантазии, которая бы искала и находила ответы на тревожные ситуации, возникающие в обществе риска.

Политическому субъекту классового общества — пролетариату — соответствует в обществе риска всего лишь подверженность едва сознаваемой гигантской угрозе. Такого рода вещи легко вытесняются из сознания. За них отвечают все вместе и никто в отдельности. Причем каждый отвечает только одной половиной своего существа. Другая половина в нем борется за

свое рабочее место (свой доход, свою семью, свой домик, свой любимый автомобиль, свои привычки проводить отпуск и т. д. Если все это будет потеряно, человек окажется в затруднительном положении, и тут уж ему будет не до ядовитых веществ). И тогда во всей остроте встают вопросы. Можно ли вообще политически организовать людей, подверженных неосязаемой опасности? Способны ли

все стать политическим субъектом? Не слишком ли преждевременно и легковесно делается вывод, что глобальная опасность в состоянии порождать общности, основанные на политической воле к действию? Не является ли глобальность опасности и подверженность ей всех поводом

не воспринимать остроту проблемы или воспринимать ее

в ложном свете , сваливая ответственность на других? Не тут ли источники, из которых черпают свои аргументы те, кто ищет козлов отпущения?

От солидарности нужды к солидарности страха?

Даже если политические симпатии не вызывают сомнений, политические последствия многозначны. В переходный период от классового общества к обществу риска начинается меняться

качество общности . Говоря упрощенно, в этих двух типах современных обществ проявляются совершенно разные системы оценок. Классовые общества в своем развитии устремлены к идеалу

равенства (в различных трактовках

от равенства шансов до вариантов социалистических моделей общественного устройства). Не так обстоит дело в обществе риска. Его нормативный и движущий принцип —

безопасность . Место ценностной системы общества «неравенства» занимает, таким образом, ценностная система «небезопасного» общества. Если утопия равенства содержит в себе множество содержательно-позитивных целей общественного развития, то утопия безопасности, собственно, остается

негативной и

оборонительной : в принципе речь здесь идет уже не о том, чтобы добиться чего-то «доброе», а чтобы

избежать худшего. Мечта классового общества звучит так: все хотят и имеют право

получить часть общего пирога. Цель общества риска: всех необходимо

уберечь от ядовитых веществ.

Соответственно отличается и основная социальная ситуация, в которой в том и другом обществе находятся люди и которая движет их поступками, объединяет или разъединяет их. Движущую силу классового общества можно выразить одной фразой: «Я хочу есть!» Движущая сила общества риска выражается фразой: «Я боюсь!» Место

общности нужды занимает

общность страха . Тип общества риска маркирует в этом смысле эпоху, в которой возникает и становится политической силой

общность страха . Но пока еще совершенно неясно, как действует спланирующая сила страха. Насколько прочны общества страха? Какие мотивации, какую энергию действия они освобождают? Как поведет себя эта новая солидарная общность объятых страхом? Способна ли социальная сила страха взорвать индивидуальное расчетливое стремление к выгоде? В какой мере порождающие страх общности способны к компромиссам? В какие формы они объединяются для действия? Побуждает ли страх к иррационализму, экстремизму, фанатизму? До сих пор страх не был основой рационального действия. Верна ли еще эта

гипотеза? Быть может, страх, в отличие от материальной нужды, очень шаткое основание для политических движений? Не распадается ли общность страха от легкого сквозняка контрпропаганды?

Глава II

Политическая теория знания и общество риска

Кого волнуют поставленные выше вопросы, тот должен интересоваться — наряду с техническими, химическими, биологическими, медицинскими ноу-хау —

социальным и политическим потенциалом общества риска. Выяснением этого мы сейчас и займемся. В качестве исходной точки возьмем аналогию с XIX веком. Мой тезис звучит так: в обществе риска речь идет о такой форме

обнищания, которая сравнима и в то же время не идет ни в какое сравнение с обнищанием трудящихся масс в промышленных центрах на раннем этапе индустриализации. Почему и в каком смысле «обнищание»?

1. Обнищание цивилизации?

В том и другом случае большинство людей связывает свое переживание разрушительных последствий с общественными процессами индустриализации и модернизации. Там и тут речь идет о грубом, угрожающем вторжении в условия человеческой жизни. Оно проявляется в связи с определенным уровнем развития производительных сил, взаимопроникновения рынков, соотношения собственности и власти. Речь в том и другом случае может идти о разных последствиях. Тогда — о материальном обнищании, нужде, голоде, тесноте, теперь — об угрозе и разрушении естественных основ жизни. Есть и сопоставимые моменты: содержание опасности и

систематика модернизации, из-за которой возникает и нарастает опасность. В этом заключена собственная динамика: не чья-то злая воля, а рынок, конкуренция, разделение труда — только сегодня все это приняло более широкие масштабы. В том и другом случае все начинается с латентности («побочных воздействий»), которую, преодолевая конфликты, необходимо нарушить. Как тогда, так и теперь люди выходили и выходят на улицу, была и есть публичная критика технического прогресса, машинной цивилизации, как тогда, так и сегодня были и есть и контраргументы.

Затем — что наблюдается и сегодня — проблемы постепенно признаются. Все более явными становятся систематически насаждаемые страдания людей, их угнетение; это вынуждены признавать даже те, кто ранее отрицал их наличие. Право — отнюдь не добровольно, а благодаря мощной поддержке улицы и политических движений — стало ориентироваться на настроения масс; возникло избирательное право, право на социальное обеспечение, право на труд, право решающего голоса. Параллели с сегодняшним днем налицо: безобидные продукты — вино, чай, лапша и т. п. — оказываются опасными. Удобрения оборачиваются ядами продолжительного действия с далеко идущими последствиями. Хваленые некогда источники богатства (атом, химия, генная технология и т. д.) превращаются в источники непредсказуемых опасностей. Очевидность опасности вызывает все большее сопротивление

попыткам представить ее безобидной, затушевать. Агенты модернизации — в промышленности, науке и политике — чувствуют себя неуютно в роли обвиняемых, которых вгоняет в пот цепь косвенных улик.

Кажется, можно сказать: все это уже было. Ничего нового. Но в глаза бросаются и глубокие различия. Непосредственности лично и сообща переживаемой нищеты противостоит сегодня неосязаемость цивилизационных угроз, которые осознаются только благодаря научному знанию и недоступны постижению первичным опытным путем. Это угрозы, которые выражаются на языке химических формул, биологических взаимосвязей и медико-диагностических понятий. Подобная структура знания, однако, не делает эти угрозы менее опасными. Напротив, значительные группы населения оказываются — намеренно или невольно, по причине аварий или катастроф, в мирное или военное время — перед лицом разрушений и опустошений, при виде которых пасует наш язык, наша фантазия, любая медицинская или моральная категория. Речь идет об абсолютном и непредставимом НЕ, нам угрожает НЕ-бытие

вообще, непредставимое, непостижимое не-, не-, не-.

Но только ли

угрожает! Тем самым намечено еще одно существенное отличие: сегодня речь идет о

грозящей возможности, которая время от времени показывает испуганному человечеству, что это не только возможность и не просто выдумка фантастов, а факт, который когда-нибудь обязательно произойдет.

Это родовое отличие реальности и возможности дополняется еще и тем, что — по крайней мере, в Федеративной Республике Германии, именно о ней здесь говорится, — цивилизационное обнищание идет рука об руку с

противоположностью материального обнищания (особенно когда представляешь себе ситуацию в XIX веке и голодающих странах третьего мира). Люди не нищенствуют, а благоденствуют, живут в обществе массового потребления и изобилия (что вполне может сопровождаться обострением социального неравенства), они чаще всего образованны и информированны, но их мучает страх, они ощущают угрозу и готовы целенаправленно ей противодействовать, чтобы не допустить единственно возможной проверки истинности своих пессимистических видений будущего. Подтверждение угрозы было бы равнозначно бесповоротному самоуничтожению, и это как раз и есть побуждающий к действию аргумент, который превращает предполагаемую угрозу реальную. В отличие от XIX века возникающие проблемы нельзя решить с помощью повышения производительности, перераспределения, расширения социальных гарантий и т. д., они требуют или целенаправленной и массовой «политики контринтерпретации», или принципиально нового мышления и перепрограммирования действующей парадигмы модернизации.

Эти отличия демонстрируют, почему тогда и сегодня подверженными опасности оказываются разные группы: в прошлом это объяснялось классовой принадлежностью. Человек рождался уже принадлежащим к определенному классу. Это определяло его судьбу с юности до старости и сказывалось на всем: где и кем человек работал, как питался, как и с кем жил, каких друзей и коллег имел, кого ругал и против кого, если возникала необходимость, протестовал на улице.

Ситуации риска, напротив, несут в себе совсем другую опасность. В них нет ничего само собой разумеющегося. Они как бы универсальны и неспецифичны. О них мы слышим и читаем. Такой способ передачи знания означает, что страдают группы людей, которые

лучше образованы и информированы. Конкуренция с материальной нуждой указывает на

еще один признак: осознание опасности и готовность противодействовать ей получают развитие скорее там, где угроза непосредственному существованию ослаблена или снята, т. е. в обеспеченных слоях (и странах). Невидимость риска можно преодолеть и на основе собственного опыта, например, когда умирает любимое тобой дерево, когда вблизи планируют построить атомную электростанцию или происходит выброс ядовитых отходов производства, когда средства массовой информации сообщают о содержании ядовитых веществ в пище и т. д. Такого рода подверженность опасности не вызывает социальной сплоченности, которая бы ощущалась как пострадавшими, так и другими людьми. Не появляется ничего, что могло бы организовать их в социальный слой, группу или класс. Разница между ущемленностью в классовом обществе и ущемленностью в обществе риска весьма существенна. Говоря упрощенно, в классовом обществе бытие определяет сознание, а в обществе риска, наоборот,

сознание (знание) определяет бытие. Решающую роль в этом играет вид знания, а именно его независимость от собственного опыта, с одной стороны, и глубокая зависимость от знания, охватывающего все параметры грозящей опасности, с другой. Потенциал угрозы, который детерминирован классовой ситуацией, например потерей рабочего места, очевиден всякому, кого эта угроза коснулась. Для этого не нужны особые средства получения знаний — измерительные приборы, сбор статистических данных, их подтверждение, соображения касательно порога терпимости. Ущемленность очевидна и в этом смысле не нуждается в научном подтверждении.

В совсем иной ситуации оказывается тот, кто узнает, что чай, который он ежедневно употребляет, содержит ДДТ, а купленный недавно кухонный гарнитур — формальдегид. Опираясь на собственные знания и собственный опыт, он не в состоянии определить меру своей ущемленности. Уровень его научных знаний не позволяет узнать, содержится ли и в каком количестве ДДТ в его чае и формальдегид в кухонном гарнитуре, а также ответить на вопрос, каково краткосрочное и долгосрочное воздействие этих вредных веществ. То,

какой ответ будет дан на его вопросы, в той или иной мере скажется на его ущемленности. В том, что касается положительного или отрицательного ответа, степени, масштаба и форм проявления грозящей ему опасности, человек принципиально

зависим от чужого знания. Жертвы становятся

некомпетентными в деле, касающемся их собственной жизни. Они утрачивают значительную часть суверенного знания. Вредное, таящее в себе угрозу, враждебное притаилось повсюду, но судить о вредности или полезности сами они не в состоянии и потому вынуждены пользоваться гипотезами, методами и контрверсами чужих производителей знания. Соответственно в ситуациях риска предметы повседневного обихода могут, так сказать,

за одну ночь превратиться в «троянских коней», из которых выскочат опасности и в спорах друг с другом возвестят, чего следует опасаться, а чего нет. Жертвам даже не дано решать, обращаться ли им за советом к экспертам. Не жертвы ищут экспертов по рискам, а сами эксперты ищут себе жертв. Они могут появиться совершенно неожиданно. Ибо опасность можно предположить в любом предмете повседневного спроса. Она скрывается в них, невидимая, и все же слишком явная, и вызывает к экспертам-ответчикам, ставя перед ними тревожные вопросы. Ситуации риска в этом смысле суть

бурлящие источники вопросов, на которые жертвы не знают ответа.

С другой стороны, это означает, что все решения, которые принимаются в рамках накопления знаний о рисках и цивилизационных опасностях, не являются решениями только научного характера (постановка вопросов, гипотезы, способы измерения, методика, предельные величины и т. д.), в то же время это и решение о

вредных воздействиях, о радиусе действия и виде опасности, содержании угрозы, круге лиц, долговременных последствиях, мероприятиях, ответственных, притязаниях на возмещение ущерба. Если сегодня будет установлено, что формальдегид, ДДТ и т. д. в тех концентрациях, в которых они содержатся в предметах повседневного обихода и продуктах питания, наносят ущерб здоровью, то такая констатация может обернуться социальной катастрофой, так как указанные химические вещества присутствуют повсюду.

Отсюда ясно, что

возможности научного исследования потенциала угроз, которые несут в себе производительные силы, все больше сужаются. Признать сегодня, что при установлении предельных величин для использования пестицидов была допущена ошибка (в науке это нормальное явление), означало бы вызвать

политическую (или экономическую) катастрофу, следовательно, этого делать не следует. Деструктивные силы, с которыми ученые имеют сегодня дело во всех областях науки, навязывают им бесчеловечный

закон безошибочности, закон, который находится в резком противоречии с идеалами прогресса и критики; нарушать его — свойство человеческой натуры (см. с. 271 и сл. наст. изд.).

В отличие от сообщений о материальных потерях сообщения о содержании ядовитых веществ в продуктах питания, предметах повседневного пользования и т. д. несут в себе

двойной шок: к угрозе самой по себе добавляется утрата суверенного суждения об опасностях, которые вплотную окружают людей. Вся научная бюрократия с ее длинными коридорами, залами заседаний, некомпетентными, полуккомпетентными и совершенно невнятными суждениями и важничаньем ученых мужей предстает перед нами. Там есть передние входы, боковые входы, тайные выходы, намеки, информация и контринформация о том, как подходить к знанию, как его следует получать, но на деле это знание сначала перемешивается, потом упорядочивается, поворачивается то наружу, то внутрь и в конечном счете очищается так, что уже не поймешь, есть ли в нем смысл, а если таковой и находится, то лучше о нем промолчать. Все это не было бы столь драматично и не заслуживало бы внимания, если бы речь не шла о надвигающихся грозных опасностях.

С другой стороны, исследования рисков параллельно проходят на кухнях, в многочисленных кафе и винных погребах. Каждое из принятых там кардинальных решений заставляет уровень яда в крови населения, так сказать, резко скакать то вверх, то вниз. В отличие от классового общества в обществе риска

жизненные ситуации и выработка знаний непосредственно связаны и переплетены между собой.

Отсюда следует, что политическая социология и теория общества риска по своей сути есть социология знания, не научная социология, а именно социология всех ветвей знания, всех сплавов знания и его носителей в их взаимодействии и противодействии, в их основаниях, претензиях и ошибках, в их иррационализме, в их истинности и невозможности овладеть знанием, на которое они претендуют. Резюмируем: сегодня кризис будущего еще не просматривается; он — возможность на пути к действительному положению вещей. А возможность — это нечто такое, что может и

не сбыться. Лживость такого утверждения заключена в преднамеренности прогноза. Обнищание невидимо, а богатство и изобилие налицо. Обнищание охватывает весь мир при отсутствии политического субъекта. И все же это ясное и недвусмысленное

обнищение, если верно оценивать сходства и различия с XIX веком. Наряду со списками умерших, итогами нанесенного ущерба и статистикой несчастных случаев в пользу тезиса об обнищании говорят и другие факты.

Фаза латентности угроз риска подходит к концу. Невидимые опасности становятся

видимыми. Разрушение природы происходит уже не в недоступной собственному опыту людей сфере химических, физических и биологических цепей вредного воздействия, а прямо-таки бросается в глаза, бьет в нос и лезет в уши. Вот только самые очевидные феномены: стремительно прогрессирующее умирание лесов, покрытые грязной пеной внутренние водоемы и моря, измазанные нефтью трупы животных, смог, эрозия зданий и памятников искусства, вызванная действием вредных веществ, цепь аварий с выбросом ядов, скандалы и катастрофы, связанные с ядовитыми веществами, и сообщения средств массовой информации об этом. Колонки цифр при подсчетах содержания вредных и ядовитых веществ в продуктах питания и предметах обихода становятся все длиннее. Преграды для «предельных величин», кажется, больше соответствуют требованиям, предъявляемым к швейцарскому сыру (чем больше дыр, тем лучше), нежели к охране здоровья населения. Опровержения ответственных лиц становятся все более

громкими и все менее

аргументированными. Кое-что стало в этой книге

тезисом, нуждающимся в подтверждении аргументами. Но из списка точек зрения ясно, что конец фазы латентности имеет две стороны:

риск и его (общественное) восприятие. Невозможно понять, обострились ли риски сами по себе, или обострился наш

взгляд на них. Обе стороны совпадают, обуславливают друг друга, усиливаются и превращаются в нечто единое, поскольку риски — это риски

в знании.

К списку исчезнувших растений и животных добавляется обостренное осознание риска обществом, возросшая чувствительность к цивилизационным опасностям, которые, кстати, нельзя путать с враждебным отношением к технике и в этом качестве предавать их анафеме: именно

интересующиеся техникой молодые люди видят и называют эти опасности. Это обострившееся осознание риска четко просматривается в сравнительных результатах опросов населения в западных индустриальных странах, а также в возросшей ценности соответствующих сообщений в средствах массовой информации. Утрата латентности и растущее осознание цивилизационных рисков, что трудно было представить себе еще десятилетие назад и что сегодня стало первостепенным политическим фактором, — не результат всеобщего пробуждения от спячки, а итог

последовательного развития.

Во-первых, множатся попытки придать рискам

научное обоснование; а во-вторых, — одно обуславливает другое — вместе с риском растет и

бизнес. Неверно, будто вскрытие опасности и риска цивилизационного развития есть только

критика; данное вскрытие опасности — при всем оказываемом ему сопротивлении и

обрушивающихся на него проклятиях —

еще и первостепенный фактор экономического подъема . Это становится совершенно очевидным на примере развития соответствующих отраслей экономики, а также растущих ассигнований общества на охрану окружающей среды, борьбу с цивилизационными болезнями и т. д. Промышленная система извлекает барыши из неблагоприятных условий, которые она же и порождает, и барыши немалые.

Через производство рисков потребности окончательно освобождаются от своей остаточной прикрепленности к природным факторам и тем самым лишаются своей конечности, возможности удовлетворения. Голод можно утолить, потребности удовлетворить; риски — это «бездонная бочка потребностей», которую невозможно наполнить. В отличие от потребностей риски можно не только вызывать (с помощью рекламы и т. д.), в соответствии со сбытом продлевать их действие, короче, ими можно не только манипулировать. Благодаря меняющимся дефинициям рисков можно

создавать совершенно новые потребности, а значит, и рынки. Прежде всего это потребность избегать риска — открытая для интерпретации, конструируемая по законам причинно-следственных связей, бесконечно воссоздаваемая. Производство и потребление, таким образом, со становлением общества риска поднимается на совершенно новую ступень. Место заданных и манипулируемых потребностей в системе производства занимает

самовоспроизводящийся риск.

Если решиться на довольно смелое сравнение, то можно сказать, что развитой капитализм в производстве рисков поглотил, обобщил и сделал нормой разрушительную силу войны. Как и во время войны, осознаваемые цивилизационные риски «разрушают» способы производства (примеры: автомобили без нейтрализаторов выхлопных газов, избыток сельскохозяйственных продуктов), т. е. преодолевают кризис сбыта и создают новые расширяющиеся рынки. Производство рисков и распространители знания о них — цивилизационная критика, критика техники, экологическая критика, драматургия и исследование рисков в средствах массовой информации, — все это и есть нормальная, имманентно присущая системе форма революционизации потребностей. Риски делают экономику, по словам Лумана, «реферирующей самое себя», независимой от сферы удовлетворения человеческих потребностей.

Существенно в этом плане

симптоматичное и символическое «преодоление» рисков. Риски, так сказать, должны расти вместе с их преодолением. Их нельзя устранить вместе с причинами и источниками. Все должно происходить в рамках

косметической обработки рисков: упаковка, показательное уменьшение вредных веществ, установка очистительных фильтров при сохранении источников загрязнения. Иными словами, проводится не

превентивная, а символическая политика устранения рисков, на деле их умножающая. Создается соответствующая индустрия. «Делать вид» — вот что побеждает и становится программным. Для этого нужны «альтернативные крикуны», а также критически и технологически ориентированные ученые и антиученые. Все вместе они представляют собой частично самофинансируемые («самопомощь»), частично финансируемые обществом «забегающие вперед рекламные агентства», создающие новые рынки сбыта рисков.

Вы скажете, фикция? Полемический перегиб? Но тенденцию развития в этом направлении можно доказать уже сегодня. Если она претворится в жизнь, то это и будет

пиррова победа , ибо риски, несмотря на всю косметику, будут расти и превратятся в глобальную опасность для всех. Тогда возникнет общество, в котором взрывные силы рисков отобьют

у каждого желание гнаться за прибылью, основательно отравят ему это удовольствие. Именно такая возможность иллюстрирует нашу главную мысль: индустриальное общество, как капиталистическое, так, кстати, и социалистическое, систематически производит угрозу самому себе накоплением и экономическим использованием рисков. Общественно-историческая ситуация и ее динамика вполне сравнимы с ситуацией позднего феодализма в период перехода к индустриальному обществу: точно так же как феодальная знать жила за счет промышленной буржуазии (сдача в аренду права на торговлю и на получение доходов, промысловые налоги) и в собственных интересах способствовала ее развитию, невольно, но неизбежно создавая себе все более крепнущих наследников, все таки развитое индустриальное общество «кормится» рисками, которые оно производит, и таким образом создает опасные социальные ситуации и политические потенциалы, ставящие под сомнение основы проводившейся до сих пор модернизации.

2. Заблуждения, обманы, ошибки и истины: о конкуренции рациональностей

Где избыток рисков оставляет далеко позади избыток богатств, там возрастает значение внешне безобидного различия между рисками и их

восприятием ; одновременно это различие утрачивает свою правомочность. На нем держится и благодаря ему рушится монополия рациональности научной дефиниции рисков. Ибо из-за него утрачивается возможность специализированного, авторитетного и объективного определения рисков. Наука «фиксирует» риски, население их «воспринимает». Разница между тем и другим указывает на меру «иррационализма» и враждебности к технике. В делении мира на сведущих и невежественных отражается и образ общественности. «Иррационализм» «уклончивого» восприятия рисков обществом заключается в том, что в глазах технарей большинство населения ведет себя как студенты первого курса инженерного факультета или и того хуже. Они невежественны, но готовы к услугам, старательны, но ни о чем не подозревают. В этом образном сравнении население сплошь состоит из тех, кто хотел бы стать инженером, но не обладает для этого достаточными знаниями. Остается напичкать его техническими подробностями, и оно (население) присоединится к точке зрения и оценкам экспертов о технической управляемости и безопасности рисков. Протесты, страхи, критика, сопротивление общественности — это всего лишь

чисто информационная проблема . Если бы люди знали то, что знают технари, они успокоились бы — или впали в безнадежный иррационализм.

Это

ложная точка зрения. Даже в оформлении статистических данных, выведенных на основе высшей математики или изложенных технологическим языком, высказывания ученых являются высказываниями типа:

вот так мы хотели бы жить , т. е. это суждения, которые могут быть приняты только при перманентном нарушении границы между природой и техническими науками. Тем самым меняется тактика: неприятие научных определений риска — это совсем не то, что можно было бы поставить в упрек населению, пожурить его за «иррационализм», напротив, оно

говорит о

ложности культурных предпосылок приятия, содержащихся в научно-технических высказываниях. Технические эксперты по рискам

заблуждаются относительно эмпирической достоверности своих имплицитных оценочных предпосылок, а именно относительно предпосылок того, что представляется населению приемлемым, а что нет. Разговоры о «ложном, иррациональном» восприятии рисков населением венчают это заблуждение: ученые

заимствуют свои представления о культурной акцептации эмпирической критики, возводят эти свои

заемные представления в догму и, сидя на этом шатком троне, объявляют себя судьями, выносящими приговор «иррационализму» населения, представления которого они заимствуют и кладут в основу своей работы.

Иными словами, занимаясь рисками, естественные науки незаметно и невольно лишили себя части собственных полномочий, по

необходимости демократизировались. В своих имплицитных ценностных представлениях о жизни, достойной человека, суждения о рисках содержат

некоторое право общества на выражение собственного мнения, против чего научно-техническое восприятие рисков хотя и защищается (подобно тому как феодалы защищались от введения всеобщего права голоса), но одновременно на это право и опирается, противореча собственным притязаниям на эмпирическую истинность своих гипотез.

Различение между (рациональной) научной

констатацией рисков и (иррациональным) их

восприятием ставит с ног на голову роль научной и социальной рациональности в осмыслении цивилизационных рисков. Оно содержит в себе фальсификацию истории. Все то, что мы знаем сегодня о рисках и опасностях научно-технической цивилизации, утвердилось в борьбе с

массированным отрицанием угрозы, с нередко ожесточенным

сопротивлением «научно-технической рациональности», отмеченной самодовольно-ограниченной верой в прогресс. Научное исследование рисков повсюду тащится следом за критикой социальной среды, прогресса и культуры индустриальной системы. В этом смысле в научно-технических занятиях цивилизационными рисками кроется сегодня изрядная толика непризнанного

культурно-критического обращения в другую веру, и притязания технических наук на монополию рационализма в восприятии рисков напоминают претензии на непогрешимость папы Римского, перешедшего в евангелическую веру.

Осознание риска должно реконструироваться как борьба частью противоречивых, частью наслаивающихся друг на друга претензий на рациональность. Нельзя подменять иерархию вероятности иерархией рациональности, следует задаться вопросом, каким образом на примере восприятия рисков «рациональность» обретает

социальный характер, т. е. становится вероятной или спорной, определенной или неопределенной, достигнутой или утраченной. В этом направлении должны развиваться

логика и алогичность, столкновение и взаимопроникновение научного и социального восприятия и оценки цивилизационных рисков. При этом можно попытаться найти ответы на вопросы о том, какие систематические ошибки и источники заблуждений заложены в

научном осмыслении рисков, проявляющиеся только при их социальном восприятии? И наоборот: в какой мере социальное восприятие рисков зависит от научной рациональности даже там, где оно систематически отрицается, критикуется и грозит возрождением доцивилизационных религиозных движений?

Мой

тезис заключается в следующем: источник научно-технического скепсиса лежит не в «иррационализме» критиков, а в

несостоятельности научно-технической рациональности перед лицом растущих рисков и цивилизационных опасностей. Эта несостоятельность не есть нечто прошлое, она — актуальное настоящее и грозящее нам будущее. Постепенно она становится видна во всей своей масштабности. Это не несостоятельность отдельных ученых и дисциплин, она вытекает из системного институционально-методического подхода науки к рискам. Науки таковы, какими их делают. Ориентированные на узкую специализацию, отчужденно воздерживающиеся от проверки практикой, они совершенно

не в состоянии адекватно реагировать на цивилизационные риски, поскольку в высшей степени причастны к их возникновению и росту. Скорее, они становятся — частью с неотягощенной совестью «чистой наукой», частью с угрызениями совести —

легитимным прикрытием охватившего весь мир индустриального загрязнения и отравления воздуха, воды, продуктов питания и т. д., а также связанных с этим болезней и умирания растений, животных и человека.

Как это показать? Осознание рисков модернизации утвердилось,

преодолевая сопротивление научной рациональности. К нему ведет широкий след научных заблуждений, ложных оценок и попыток преуменьшить серьезность ситуации. История осознания и социального признания рисков совпадает с историей демистификации науки. Обратная сторона признания — преодоление научного «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не ощущаю, ничего не знаю».

Экономическая слепота по отношению к рискам

Главное заблуждение относительно технологического содержания риска следует искать в беспримерном непонимании и преуменьшении опасности атомных рисков. Читатель сегодня не верит своим глазам, когда читает, какие советы давались людям в одной официальной памятной записке федерального правительства в случае «воздушного нападения»:

«Ослепительно яркая вспышка света — первый признак взрыва атомной бомбы. Его тепловое воздействие вызывает ожоги. Поэтому необходимо... как можно быстрее прикрыть чувствительные части тела — глаза, лицо, затылок и руки!

Как можно быстрее спрячьтесь в углублении, яме или канаве!

Если вы едете в автомобиле, мгновенно пригнитесь ниже стекол, остановитесь, лягте на пол и, съежившись, прикройте лицо и руки!

По возможности укройтесь под прочной столешницей, письменным столом, верстаком, кроватью или другим предметом мебели!

В подвале у вас больше шансов выжить, чем на верхних этажах. Не каждое подвальное перекрытие обрушивается!

При обнаружении химических и бактериологических отравляющих веществ немедленно наденьте предохраняющую маску!

Если такой маски нет, дышите неглубоко, предохраняйте дыхательные пути, закрыв влажным платком нос и рот!

По возможности очистите себя от загрязнения радиоактивными элементами или отравляющими веществами!

Не впадайте в панику, остерегайтесь бездумной спешки, но действуйте!»

Апокалипсическая катастрофа преуменьшается, подлаживается под «приватное восприятие» человека. То, что при

любой атомной угрозе приходит «конец всяким сравнениям», совершенно замалчивается, представляется безобидным. Советы невольно воспринимаются в духе юмористической логики ужаса:

«Когда ты умрешь — будь осторожен! Промедление опасно!»

Это грехопадение атомной физики и технологии неслучайно. Оно не результат индивидуальной ошибки или «единичной производственной аварии» естественнонаучной дисциплины. Именно своим радикализмом оно указывает на основной источник заблуждения:

в стремлении поднять производительность труда не учитывались и не учитываются связанные с этим риски. Главный приоритет научно-технического интереса отдается производительности, и только потом, часто даже не во вторую очередь, думают о связанных с этим рисках.

Производство рисков и попытки не замечать их имеют своей основной причиной

«экономическую слепоту на один глаз» естественнонаучной и технической рациональности. Ее здоровый глаз направлен только на достижение производственной выгоды. Вместе с тем она поражена системно обусловленной

слепотой в отношении рисков. В то время как возможности экономической реализации заранее предусмотрены, испытаны, исследованы по всем правилам искусства, при изучении рисков приходится все время блуждать в темноте и потом испуганно заявлять об их «непредвиденных» или даже вовсе «не поддающихся предвидению» последствиях. Противоположное мнение, будто производственные выгоды как скрытые побочные действия сознательного контроля за рисками «незаметно» и «невольно» осознаются позже вопреки сопротивлению ориентированных на риски естественных наук, представляется совершенно абсурдным. Это еще раз показывает степень самоочевидности, с которой в развитии техники под присмотром естественных наук исторически проявляется, говоря словами Хабермаса,

повышающий производительность познавательный интерес, связанный с логикой производства богатств и являющийся ее частью.

То, что с одной стороны повышает производительность, с другой несет с собой

болезнь. Родители, дети которых страдают приступами ложного крупа, разбивают себе в кровь головы о стену невозможности научно объяснить существование модернизационных рисков. Все говорят о нескончаемом страхе, который они пережили, когда их ребенок заходился среди ночи лающим кашлем, лежа с расширившимися от ужаса глазами в своей кровати и задыхаясь от недостатка воздуха. С тех пор как им стало известно, что содержащиеся в воздухе вредные вещества поражают не только растения, почву и воду, но в первую очередь грудных и малолетних детей, они уже не воспринимают приступы кашля как удар судьбы. В 1984 году по всей ФРГ появилось более ста инициативных групп. Их требование: «Не болтать вздор, а удалять из воздуха серу!».

Им больше не нужно пассивно размышлять о своих проблемах. То, что для науки «скрытые побочные воздействия» и «недоказанные взаимосвязи», для них — их страдающие лающим кашлем дети, которые в сырую погоду синеют и с хрипом ловят ртом воздух. По их сторону забора «побочные воздействия» имеют

голоса, глаза, лица, слезы. Это расшатывает иррелевантные объяснения. Вопросы как бы сами собой адресуются другой стороне. И все же люди скоро узнают, что их собственные объяснения и их собственный опыт вообще ничего не значат, пока они имеют дело с ни о чем не подозревающей официальной наукой. Кухня в доме крестьянина рядом с недавно построенным химическим предприятием может пожелтеть, но о подлинной причине не может быть и речи, пока это не «доказано научно».

Им, следовательно, приходится самим быть антиэкспертами в деле модернизационных рисков. Риски для них не риски, а страдающие, жалобно кричащие, синеющие от удушья дети. Они борются за своих детей. Модернизационные риски в высокопрофессиональной системе, где у каждого есть свой сектор ответственности, но никто ни за что не отвечает, обретают своих

адвокатов: родители начинают собирать факты и аргументы. «Белые пятна» модернизационных рисков, которые для научной общественности остаются «невидимыми» и «недоказанными», при заинтересованном содействии родителей очень быстро заполняются. К примеру, именно родители обнаружили, что допустимые «потолки» для вредных веществ в ФРГ слишком высоки. Хотя исследования показали, что уже при кратковременном содержании в кубическом метре воздуха 200 микрограммов диоксида серы дети очень часто заболевают ложным крупом, в ФРГ допустимая величина в два раза выше и в четыре раза превышает уровень, установленный Всемирной организацией здравоохранения. Родители доказали, что результаты измерений только потому находятся в рамках «допустимого», что верхние показатели сильно загрязненных городских районов складываются с показателями благополучных районов, и затем выводится средняя величина. «Но наши дети, — говорят родители, — заболевают не от средних величин».

Обнаруженная жульническая практика ученых указывает на категориальные различия в восприятии рисков научной и общественной рациональностью.

Причины отрицания рисков

Прежде всего надо говорить

о разной подверженности рискам. Мы находимся по разные стороны одного забора. Если ученый допустил ошибку, в худшем случае это скажется на его репутации (а если ошибка кому-то понравится, его могут даже повысить в должности). На стороне подверженных риску это же обстоятельство проявляется совершенно по-иному. Ошибка в определении верхней границы означает здесь непоправимый урон печени, опасность заболевания раком. Соответственно здесь другая неотложность, другие временные горизонты и нормы, которыми измеряется степень ошибочности ложного допущения.

Ученые настаивают на «добротности» своей работы, держат на высоком уровне теоретико-методические стандарты, чтобы обеспечить себе карьеру и материальное существование. Именно отсюда вытекает своеобразная антилогика обращения с рисками. Умение настаивать на недоказанности причинных взаимосвязей вполне приличествует ученому и даже достойно похвалы. Но для подверженных риску такой подход оборачивается своей противоположностью: он

ведет к накоплению рисков. Ведь речь здесь идет об опасностях, которых нужно избегать, малейшая вероятность которых уже несет в себе угрозу. Если на основании «неясного» толкования факта отрицается само наличие риска, то это означает, что необходимые контрмеры не будут приняты и

опасность возрастет. Взвинчивание стандартов научности

сужает до минимума круг признанных, требующих активного вмешательства рисков, наука, таким образом, тайно выдает рискам

охранную грамоту, обеспечивающую их накопление. Настаивание на «чистоте» научного анализа ведет к загрязнению и отравлению воздуха, продуктов питания, воды и почвы, растений, животных и человека. Получается, что точные науки вступают в тайный союз с разрешенными и стимулируемыми

ими опасностями, угрожающими жизни.

Это не просто общая и потому абстрактная взаимосвязь. Для ее выяснения существуют конкретные познавательные инструменты. При этом ключевое значение имеет констатация содержащегося в модернизационных рисках предположения о причинной связи, доказать которую вследствие научно-теоретического характера трудно или почти невозможно. 1970). Здесь представляет интерес управляемость процессом признания рисков с помощью «рычага добротности», доказывающего наличие причинной связи: чем выше критерии доказательности, тем уже круг признанных и тем обширнее круг непризнанных рисков. Настаивание на «добротности», следовательно, — это узаконенная высокоэффективная конструкция, необходимая для сдерживания и канализации напора модернизационных рисков, но в нее встроено глухое окно, которое в обратной пропорции к достигнутому «непризнанию» рисков способствует их росту.

Либерализация доказательств причинности была бы в этих условиях равнозначна прорыву дамбы и бурному потоку рисков и угроз, которые, распространяясь, потрясли бы все социальное и политическое устройство Федеративной Республики Германии. Как и прежде, у нас все еще используется — в тесном взаимодействии науки и права — так называемый «принцип

причинности» как шлюз для признания или непризнания рисков, хотя известно, что модернизационные риски по своей структуре в целом не поддаются достоверной интерпретации на основе «принципа причинности». Чаще всего имеется не

один источник загрязнения, вредные вещества попадают в воздух из многих труб и соотносятся с неспецифическими недугами, в возникновении которых виновато множество «причин». Кто в этих условиях настаивает на

точном причинном доказательстве, тот увеличивает до максимума непризнание и уменьшает до минимума признание обусловленных промышленной деятельностью цивилизационных болезней и заражения окружающей среды. Блудя невинность «чистой» науки, исследователи рисков защищают «высокое искусство причинных доказательств», блокируют протесты общественности, душат их в зародыше, ссылаясь на «отсутствие» причинных доказательств; им кажется, что они избавляют промышленность от лишних расходов и прикрывают политиков с тыла, но на деле они открывают шлюзы, несущие угрозу жизни в целом.

Одновременно это наглядный пример превращения «рациональности» в «иррациональность» в зависимости от того, как рассматривается один и тот же образ мыслей и действий: применительно к производству богатств или к производству рисков. Настаивание на точном доказательстве причинности — ядро естественнонаучной рациональности. Быть в этой сфере точным и ничего никому «не дарить» — одно из главных качеств естественнонаучного этоса. Вместе с тем этот принцип родился из другого кружка проблем и, вероятно, в эпоху иного мышления. Во всяком случае, для модернизационных рисков он

принципиально неуместен. Там, где наносимый ядовитыми веществами ущерб можно понять и измерить только в международном масштабе и на базе соответствующих подсчетов, совершенно невозможно усматривать непосредственную причинную связь между отдельными производителями отдельных веществ и вполне определенными болезнями, возникновению которых нередко способствовали или играли в этом решающую роль и другие факторы. Это напоминает сравнение возможностей компьютера со счетом на пальцах. Кто на этом настаивает, тот отрицает реальность взаимосвязей, которые тем не менее продолжают существовать. Только оттого, что ученые не могут определить отдельные причины отдельных вредных воздействий, содержание отравляющих веществ в воздухе и продуктах питания не уменьшается, опухоли дыхательных путей, вызванные действием смога, не исчезают, смертность не снижается; если концентрация диоксида серы превышает 300 микрограммов на кубический метр воздуха, она заметно повышается.

В других странах для доказательства причин действуют совсем другие нормы. Нередко их приходилось устанавливать, когда возникали социальные конфликты. В связи с охватившим весь мир переплетением модернизационных угроз судьбы в Японии решили больше не толковать факт невозможности строгого естественнонаучного доказательства причинности рисков в пользу их производителей, т. е. в конечном счете в ущерб всем. Они признают причинную взаимосвязь только тогда, когда статистически доказана корреляция между содержанием вредных веществ и определенными заболеваниями. Те предприятия, которые выбрасывают в атмосферу отравляющие вещества в таком количестве, могут быть привлечены к судебной ответственности и приговорены к выплате соответствующего возмещения за причиненный ущерб. В Японии на этой основе целый ряд фирм был приговорен в показательных процессах к выплате пострадавшим громадных сумм.

Отрицание причин ущерба и заболеваний в ФРГ представляется чистейшим издевательством. Блокируя собранные и озвученные пострадавшими аргументы, ученые встают перед фактом реальной утраты научной рациональности и научной практики, при этом всегда отчужденно и равнодушно реагируя на ими же производимые риски и опасности.

Сплошной обман: предельные величины

Существуют и другие «познавательные шлюзы» для ядовитых веществ, роль рычагов в которых играют специалисты в области рисков. В их распоряжении безотказное волшебное заклинание: «Трах-тибидох-тибидох-тохтох!» В определенных районах это фиксируется как «танец кислотного дождя». Говоря понятным языком: они определяют допустимые величины или предписывают предельное количество. Что говорит о полном отсутствии у них понимания сути дела. Поскольку ученые всегда должны иметь представление о том, чем они занимаются, они маскируют свое незнание множеством слов, методик и цифр. Главное слово для выражения невежества в области рисков — «допустимая граница». Рассмотрим, что это значит.

Предельные уровни «допустимых» следов вредных и ядовитых веществ в воздухе, воде и продуктах питания имеют примерно то же значение для распределения рисков, что и принцип соизидания для неравномерного распределения богатства. Они допускают выбросы яда

и одновременно узаконивают их в ограниченном объеме. Кто ограничивает загрязнение, тот

уже согласился с его наличием. То, что сегодня еще возможно, посредством социальной дефиниции объявляется «безвредным» — какой бы вред это ни приносило. Предельные величины могут, правда, предотвратить наихудшее, но одновременно они являются разрешением на то, чтобы

немножко отравить человека и природу. Все дело в том, как велико может быть это «немножко». При определении допустимых величин встает вопрос, могут ли растения, животные или люди вынести маленькую или большую дозу яда, какова величина этой «дозы» и что значит «вынести». Такие вот восхитительно жуткие вопросы рождаются на цивилизационной кухне ядов и противоядий.

Не будем здесь разбираться по поводу того, что показатели, в том числе и допустимые, были когда-то делом

этики, а не химии. Мы, таким образом, имеем дело с «предписанием о допустимых величинах средств защиты растений и других средств борьбы с вредителями в или на продуктах питания и изделиях из табака» (так это звучит на неуклюжем канцелярском языке), с

биологически остаточной этикой развитой индустриальной цивилизации. Она, кстати, странным образом остается негативной. Она выражает некогда само собой разумеющийся принцип: не травить друг друга. Если точнее, то следовало бы сказать: не травить друг друга

до смерти. Забавным образом именно она делает возможной знаменитую и спорную «дозу». Речь, следовательно, в этом «предписании» идет не о

предотвращении отравления, а о

допустимой мере отравления. Это предписание не оставляет сомнений в том, что отравление допустимо. Допустимые величины в этом смысле представляют собой линии отступления цивилизации, в изобилии отравляющей себя вредными веществами и ядами.

Напрашивающееся требование запретить отравление этим предписанием отбрасывается

как утопическое.

Благодаря допустимым величинам определенная доза отравления становится

нормой. «Немножко» яда просто исчезает за допустимыми величинами. Эти величины делают возможным

долговременную дозу нормального коллективного отравления. Объявляя уже произошедшее

отравление безвредным, они делают то, что сами же допустили, как бы несуществующим. Если допустимые величины выдержаны, значит, отравления не произошло, сколько бы ядовитых веществ ни содержалось на самом деле в продуктах питания.

Если бы удалось достичь единства в отношении не совсем ложного принципа —

вообще не травить, не было бы никаких проблем. Не было бы и нужды в «предписании о допустимых величинах». Проблемы, таким образом, заключаются в пораженческой установке, в двойной морали, в да-нет «предписания о

допустимых величинах». При этом речь идет уже не об этике, а о том, до какой границы можно нарушать даже минимальные правила совместной жизни, а именно не травить себя. В конечном итоге речь идет о том, как долго отравление не считать отравлением и с какого момента его считать таковым. Это, без сомнения, важный вопрос, слишком важный, чтобы отдавать его на откуп одним только экспертам по ядовитым веществам. От ответа на него самым непосредственным образом зависит жизнь на этой земле. Если вступить однажды на скользкую покатую плоскость «допустимого отравления», вопрос о том, какое количество яда допустимо, приобретает смысл, сведенный некогда юным Гамлетом к альтернативе — «быть или не быть». Такой исход заложен и в «предписании о допустимых величинах» — весьма необычном документе нашей эпохи. Но речь сейчас не об этом. Давайте сами вступим на почву определения допустимых величин и поинтересуемся его логикой или алогичностью, т. е. зададимся вопросом, может ли вообще это определение знать, на знание чего оно претендует.

Когда допускают отравление, возникает нужда в допустимых величинах. Тогда то, чего в этом предписании нет, становится важнее того, что в нем есть. Ибо то, чего в нем нет, им не охвачено,

не считается ядом и может

свободно и беспрепятственно вводиться в обращение. Молчание предписания, его «белые пятна» — вот самое опасное содержание этого документа. Больше всего нам угрожает то, о чем в нем не говорится. Благодаря предписанию о допустимых величинах одним из первых направлений на пути к долгосрочному отравлению человека и природы становятся

дефиниции пестицидов и то, что из этих дефиниций исключается. Спор о дефинициях, пусть даже он и ведется на внутриакадемическом уровне, чреват ядовитыми последствиями для всех. Все, что противоречит понятийной систематизации, поскольку феномены еще недостаточно исследованы или настолько сложны, что выходят за рамки понятийной системы и нуждаются в дальнейшем изучении, тем не менее охватывается претензиями на дефиницию

и посредством неупоминания освобождается от подозрений на ядовитость. В основе «предписания о допустимых величинах», следовательно, лежит в высшей степени сомнительное, опасное и

ложное технократическое заключение: что еще не изучено или не поддается изучению, не ядовито. Эту мысль можно выразить и по-другому: пожалуйста, оберегайте яд от способного нанести ему вред человека.

Волею случая (!?) получилось так, что предписание о допустимых величинах в ФРГ содержит в сравнении с другими странами

огромные лакуны. В этом документе не названы целые семейства ядов, поскольку они не фигурируют в законе «о пестицидах». Продолжение списка вредных веществ по содержанию и по времени безнадежно отстают от производства и использования химических веществ.

Американское ведомство по защите окружающей среды много лет назад предостерегало от переоценки

изученных параметров вредных веществ относительно бесчисленного количества химикалиев, токсичность которых не выяснена, концентрация не определена и потенциальное действие которых не может быть уменьшено никакими предписаниями. Указывалось на целых четыре миллиона химических соединений, число которых постоянно растет. «Мы очень мало знаем о возможных последствиях для здоровья, вызванных действием этих новых соединений... но их количество, многообразие их применения и уже проявившийся негативный эффект от использования некоторых из них с нарастающей очевидностью доказывают, что вредные химические вещества в окружающей среде — заметный фактор для здоровья и жизненных ожиданий человека».

Если новые соединения и принимаются иногда во внимание, то длится это от трех до четырех лет. Все это время потенциально опасные вещества могут распространяться беспрепятственно.

Можно продолжать перечисление этих лакун умолчания. Как вообще можно

устанавливать допустимые величины на основе отдельных субстанций, остается тайной авторов предписания. Думается, что при исчислении предельно допустимых величин речь может идти о воображаемых границах переносимости ядов

человеком и природой. Но человек и природа

впитывают в себя все возможные вредные и ядовитые вещества из воздуха, воды, почвы, продуктов питания, мебели и т. д. Кто действительно хочет определить границы переносимости, должен все это

суммировать. Кто тем не менее устанавливает эти границы для отдельных веществ, тот исходит из вводящего в заблуждение предположения, что человек глотает только этот яд, или же из-за своего научно-исследовательского подхода вообще лишается возможности сколько-нибудь верно судить о допустимых величинах

для человека. Чем больше вредных веществ находится в обращении, чем больше допустимых величин установлено для отдельных веществ и чем либеральнее они фиксируются, тем бессмысленнее весь этот обман с предельно допустимыми уровнями, так как общая токсическая угроза населению растет, если просто предположить, что общее количество различных ядовитых веществ вызывает повышенную опасность отравления.

Точно также можно вполне обоснованно говорить и об

общем действии отдельных ядов. Допустим, я знаю, что тот или иной яд в той или иной концентрации вреден или безвреден, но если я совершенно ничего не знаю о том, какую реакцию вызывает общее действие всех этих остаточных ядов, то какая мне польза от моего знания? Из области медицины известно, что медикаменты, взаимодействуя, теряют или накапливают свои свойства. Не лишено смысла предположить, что нечто подобное происходит и с многочисленными частичными отравлениями, допускаемыми предельными величинами. Предписание не дает ответа и на этот центральный вопрос.

Логический сбой в том и другом случае неслучаен, он вытекает из проблем, которые возникают всякий раз, когда вступаешь на скользкую почву частичных отравлений. Это же просто издевательство и цинизм, когда, с одной стороны, определяют предельные величины и тем самым частично открывают дорогу отравлениям, а с другой стороны — вообще не дают себе труда задуматься над тем, каковы последствия

суммирования ядов

в их взаимодействии . Это похоже на то, как если бы многочисленная банда отравителей в присутствии жертв с невинной миной доказывала судьям, что каждый из них не перешагнул допустимую границу частичного отравления и потому подлежит оправданию!

Многие могут сказать: то, на чем вы настаиваете, прекрасно, но невыполнимо, принципиально невыполнимо. У нас имеется только одна специализированная область знания об отдельных вредных веществах. И она страшно отстает от промышленного распространения химических соединений. Нам недостает персонала, исследовательских кадров и т. д. и т. п. Но что значат подобные объяснения? Предлагаемые знания о допустимых величинах не становятся от этого ни на йоту лучше. Установление допустимых величин для отдельных веществ так и останется очковтирательством, если одновременно открывать дорогу тысячам вредных веществ, совершенно замалчивая их суммарное действие!

Если тут действительно ничего нельзя изменить, тогда нужно ни много ни мало заявить, что система высшей профессиональной специализации и ее официальные инстанции проявляют полную

несостоятельность перед лицом рисков, возникающих в результате промышленного развития. Она годится для развития производительности, но не для предотвращения опасности. Людям, которые поневоле оказываются в ситуациях риска, угрожают не отдельные вредные вещества, а их

совокупность . Отвечать населению на навязанный ему вопрос о

совокупной угрозе с помощью таблиц допустимых величин для отдельных вредных веществ равносильно коллективному издевательству с уже отнюдь не латентными убийственными последствиями. Такая ошибка была бы допустимой в эпоху всеобщей веры в прогресс. Но настаивать на ней сегодня, когда множатся протесты и угрожающе растет статистика заболеваний и смертей, причем под узаконенным прикрытием «допустимых величин», означает разрушать границы кризиса веры. Тут впору обращаться к прокурору.

Но оставим эти размышления в стороне. Рассмотрим научную структуру допустимой величины. Разумеется, чисто логически. Скажем коротко: в основе каждого определения допустимой величины лежат

по меньшей мере на ложных умозаключения. Во-первых,

ошибка происходит, когда результаты опытов над животными переносятся на человека . Возьмем яд Севезо ТХДД. Он появляется при производстве большого количества химических продуктов, например, средств защиты древесины, гербицидов и средств дезинфекции. Кроме того, он образуется при сжигании мусора, и чем ниже температура этого процесса, тем больше образуется яда. Доказано, что этот яд производит канцерогенное действие на два вида животных. Им давали эту мерзость. А теперь ключевой методологический вопрос из цивилизационной кухни ядов: сколько способен выдержать человек? Уже маленькие животные реагируют

по-разному . Морские свинки, например, в

десять-двадцать раз выносливее мышей и

от трех до пяти тысяч раз чувствительнее хомяков. Результаты опытов на львах еще не обнародованы, к слонам уже присматриваются...

До сих пор остается тайной жонглеров допустимыми величинами, каким образом на основании этих данных можно судить о переносимости ядов человеком. Не будем говорить о «человеке» вообще. Возьмем грудных малышей, детей, пенсионеров, эпилептиков, торговцев, беременных женщин, живущих вблизи и вдали от фабричных труб, альпийских крестьян и жителей Берлина, упакуем в один серый мешок и назовем «человеком». Предположим, что лабораторная мышь точно так же реагирует на яд, как и церковная. Тогда все еще остается вопрос: как добраться от пункта А до пункта Б, от крайне неодинаковых реакций до совершенно неизученных реакций человека?

Если хочешь сократить путь, нужно действовать

по принципу игры в лото — пометить крестиком и ждать. Как и при игре в лото, здесь тоже имеется свой «метод». При определении допустимых величин он называется

«фактором безопасности». Что такое фактор безопасности? Ответ на этот вопрос дает «практика». Итак, не только пометить крестиком, но и ждать. Но для этого не надо было мучить животных. Повторю еще раз: только люди с даром

ясновидения могут определить «допустимую» дозу яда для

человека вообще, опираясь на результаты экспериментов на животных, полученные в

искусственных условиях, способные дать ответ на

ограниченный круг вопросов и нередко выявляющие резкие колебания реакций. Те, кто определяет допустимые величины, — это ясновидящие, люди с «третьим глазом», позднеиндустриальные химические маги, болтающие о сериях опытов и коэффициентах. Даже при самом доброжелательном рассмотрении все это не что иное, как обстоятельный, многословный и обильно оснащенный цифрами способ сказать: мы тоже этого не знаем. Надо подождать. Практика покажет. Так мы подошли ко второму пункту.

Без сомнения, предельно допустимые величины выполняют функцию

символического обеззараживания. Одновременно это и успокоительные таблетки против множатых сообщений об отравлениях. Они сигнализируют о том, что кто-то трудится и бдит.

Фактически порог для опытов на человеке приходится устанавливать немного выше. Тогда уж наверняка не ошибешься.

Ведь выяснить, как действует яд, можно только в том случае, если он попадет в обращение. Именно здесь и кроется второе ошибочное умозаключение, которое уже можно считать скандальным. Действие яда на человека можно в конечном счете достоверно исследовать только на самом человеке. Не будем вдаваться в вопросы этики, а сосредоточим внимание на экспериментальной логике. Яд попадает к людям всеми мыслимыми путями: через воду, воздух, пищевые цепи, цепи промышленных товаров и т. д. И что из того? Где тут ложное умозаключение? Вот именно: его нет. Эксперимент на человеке, который вроде бы проводится, не проводится вовсе. Точнее, он все-таки проводится, так как люди и подопытные животные получают яд в определенных дозах. А не проводится он в том смысле, что допустимые для человека дозы систематически увеличиваются. Хотя то, как действуют яды на подопытных животных, для человека не имеет значения, результаты опытов тщательно протоколируются и соотносятся с другими подобными опытами. Реакции, вызываемые у человека, вообще не принимаются во внимание — разве что кто-нибудь сам придет к ученым и сможет доказать, что ему причиняет вред именно

этот яд! Опыты на человеке хотя и проводятся, но невидимо,

без систематического научного контроля,

без сбора данных,

без статистики, без анализа взаимосвязей, в условиях, когда жертвы ни о чем

не догадываются. А если догадываются, то в ход идут доказательства

обратного.

Дело ведь не в том, что

невозможно узнать, как действуют на человека яды в отдельности или совокупно, а в том, что этого

не хотят знать. Пусть люди выясняют это сами! Затеяно нечто вроде длительного эксперимента, в котором человек в роли подопытного животного вынужден сам собирать и использовать данные о своих симптомах отравления

вопреки экспертам, которые в ответ только недоверчиво морщат лоб. Даже уже собранные статистические данные о болезнях, умирании лесов и т. д., судя по всему, представляются магам допустимых величин не имеющими достаточной силы.

Речь, таким образом, идет о длительном масштабном эксперименте с обязательной повинностью подопытного человечества докладывать о своих симптомах отравления, которые уже потому не принимаются во внимание,

что существуют допустимые величины и эти величины не были нарушены! Предельные величины, которые можно было бы установить только на основе реакций человека, держатся на высоком уровне, чтобы не принимать во внимание страхи и болезни подопытных людей. И все это во имя «научной рациональности»! Проблема не в том, что акробаты допустимых величин этого не знают. Признание ими своего невежества было бы благом для всех. Самое неприятное и опасное заключается в том, что они этого не знают, но делают вид, будто знают, и догматически настаивают на своем сомнительном «знании» даже там, где они давно уже могли бы кое-что узнать.

Разрывы в научной рациональности

Осознание рисков в развитой индустриальной цивилизации отнюдь не славная страница в истории естественных наук. Оно возникло вопреки затяжному отрицанию наукой и по-прежнему ею подавляется; вплоть до сегодняшнего дня большинство ученых придерживается противоположной точки зрения. Наука стала

ревнительницей охватившего весь мир заражения человека и природы. Поэтому не будет преувеличением сказать, что своим отношением к цивилизационным рискам наука во многих отраслях знания пока что утратила свое историческое право на рациональность. «Пока что» означает, что о возвращении доверия науке можно будет говорить только тогда, когда она осознает свои теоретические и институциональные ошибки и недочеты в обращении с рисками и научится самокритично делать из них практические выводы (подробнее об этом см. главу VII).

Повышение производительности сопряжено с философией все более разветвленного разделения труда. Риски, напротив, характеризуются

объединяющим моментом. То, что разделено содержанием, временем и пространством, они приводят в непосредственную и опасную взаимосвязь. Они легко просеиваются через сито узкой специализации. Они суть то, что лежит

между специальностями. Преодоление рисков требует широкого обзора поверх всех тщательно установленных и охраняемых границ. Риски не признают разделения между теорией и практикой, между специальностями и дисциплинами, не признают узкоспециализированных компетенции и институциональной ответственности, различия между фактом и его оценкой (и тем самым между естественными науками и этикой), не признают кажущегося разграничения сфер политики, общественности, науки и экономики. Устранение дифференциации подсистем и функциональных сфер, создание новой сети специалистов, объединение усилий, направленных на локализацию угроз, становятся в обществе риска кардинальной системно-теоретической и организационной проблемой.

В то же время беспрепятственное производство рисков подрывает изнутри авторитет предприятий с высокой производительностью труда, на которые ориентируется научная рациональность.

«Традиционная, подавляющая симптомы и заботящаяся только о производстве политика защиты окружающей среды не в состоянии длительное время соответствовать

как экологическим,

так и экономическим масштабам риска. С экологической точки зрения она все время плетется в хвосте отравляющей окружающую среду производственного процесса; с точки зрения экономики встает проблема растущих расходов на санацию со все менее заметными экологическими результатами. В чем причина этой двойной неэффективности?

Основная причина состоит, вероятно, в том, что традиционная политика защиты экологии приступает к делу в конце производственного процесса, а не в его начале, т. е. при выборе технологий, сырья, вспомогательных материалов, топлива и конечного продукта... Речь идет об экспостсанации с применением технологий, т. е. установок на конце фабричной трубы. Делается попытка до определенной степени избежать распространения вредных веществ и отходов производства с помощью уже имеющихся вредных для окружающей среды технологий. Благодаря установке специальных приспособлений в конце производственного процесса потенциальные выбросы задерживаются и накапливаются в концентрированной форме на предприятии. Типичными примерами этого являются фильтрующие установки для улавливания вредных веществ (серы, вызывающих удушье газов) перед их попаданием во внешнюю среду, установки для устранения отходов производства, отстойники, а также катализаторы для выхлопных труб автомобилей, о чем сегодня ведутся горячие дискуссии...

Применительно к почти всем сферам окружающей среды можно говорить о том, что расходы по очистке (в смысле улавливания и накопления вредных веществ) растут

непропорционально быстро в сравнении с

повышением уровня очистки, что, кстати, касается и рециркуляции как способа производства. А это означает: с общеэкономической точки зрения при продолжающемся промышленном росте для обеспечения заданного уровня эмиссии

без глубокой реструктуризации производства и технологий будет расходоваться постоянно растущая доля народнохозяйственных ресурсов, которую уже нельзя будет использовать в сфере потребления. В этом заключается опасность контрпродуктивного в целом развития индустриальной системы».

Технические науки все очевиднее встают перед

исторической цезурой : или они продолжают мыслить и действовать на проторенных тропах XIX века, и тогда они не смогут отличить проблемные ситуации общества риска от ситуаций классического индустриального общества; или же они посвятят себя подлинному, превентивному преодолению рисков, и тогда им придется по-новому осмыслить и изменить собственные представления о рациональности, о познании и практике, а также соответствующие институциональные структуры (см. об этом главу VII).

3. Общественное сознание рисков: отсутствующий опыт из вторых рук

Для научно-критического цивилизационного сознания имеет силу обратное утверждение: опираться в конечном счете приходится на то, против чего приводятся аргументы, откуда черпает свое оправдание научная рациональность. Скорее раньше, чем позже, приходится сталкиваться с жесткой закономерностью: поскольку риски не признаны наукой,

они как бы не существуют — во всяком случае, в правовом, медицинском, технологическом и социальном плане, — следовательно, с ними не борются, ими не занимаются, их не обезвреживают. Тут не помогут никакие коллективные вопли и стоны. Помочь может только наука. Монополия на истину научного суждения вынуждает жертв использовать для осуществления своих претензий все средства и методы научного анализа. И одновременно их

модифицировать . Проводимая ими демистификация научной рациональности имеет в этом смысле в высшей степени амбивалентное значение именно для критиков индустриализма: с одной стороны, необходимо сделать менее строгими научные притязания на истину, чтобы иметь возможность изложить собственную точку зрения. Люди знакомятся с рычагами научной аргументации и учатся устанавливать стрелки, благодаря которым можно отправлять поезд то в направлении уменьшения, то в сторону преувеличения опасности. С другой стороны, вместе с сомнительностью научного суждения растет и зона страха перед предполагаемыми, хотя и не признанными наукой опасностями. Раз все равно нельзя установить однозначные и окончательные причинные связи, раз наука маскирует свои ошибки, которые рано или поздно вскроются, раз «anything goes»[2], откуда же появится право верить в одни риски и не верить в другие? Именно кризис научного авторитета может способствовать общему

затемнению вопроса о рисках . В деле признания рисков критика науки тоже контрпродуктивна.

Соответственно осознание риска жертвами, которое заявляет о себе движением в защиту окружающей среды, выступлениями против индустриального общества, заключений экспертов, современной цивилизации, содержит в себе чаще всего и

критику науки, и

веру в нее. Солидный фон веры в науку — парадоксальная составляющая критики модернизации. Тем самым сознание риска нельзя считать ни традиционным, ни любительским, оно в значительной мере определяется наукой и ориентируется на нее. Чтобы воспринимать риски именно как риски и делать это частью своего образа мыслей и действий, нужно

верить в существование скрытой связи между далеко отстоящими друг от друга в деловом, пространственном и временном отношении условиями и более или менее спекулятивными предположениями, нужно вырабатывать иммунитет против возможных контраргументов. Но

это означает, что незримое, более того, принципиально не поддающееся восприятию, доступное лишь теоретическому осмыслению

становится в кризисном цивилизационном сознании лишенным какой бы то ни было проблематичности свойством личного мышления, восприятия и переживания. Основанная на опыте логика обыденного мышления оборачивается своей противоположностью. Путь больше не ведет от собственных переживаний к обобщенным выводам, наоборот, не подкрепленное собственным опытом обобщенное знание становится определяющим центром собственного опыта. Чтобы можно было пойти против рисков на баррикады, химические формулы и реакции, невидимые вредные вещества, биологические круговороты и цепи реакций должны подчинить себе зрение и мышление. В этом смысле речь при осознании рисков идет уже не об «опыте из вторых рук», а о

«невозможности получения опыта из вторых рук». Более того: в конце концов

никто не может знать о рисках, пока знание будет добываться опытным путем.

Спекулятивный век

Эта основная теоретическая черта кризисного сознания имеет

антропологическое значение: цивилизационные угрозы ведут к возникновению своеобразного «царства теней», сравнимого с богами и демонами на заре человечества, царства, которое таится за видимым миром и угрожает жизни человека на этой земле. Сегодня мы имеем дело не с «духами», которые прячутся в вещах, мы подвергаемся «облучению», глотаем «токсические соединения», нас наяву и во сне преследует страх перед «атомным холокостом». Место антропоморфного толкования природы и окружающей среды заняло современное цивилизационное сознание риска с его не воспринимаемой органами чувств и тем не менее присутствующей во всем латентной причинностью. За безобидным фасадом скрываются опасные, враждебные человеку вещества. Все должно восприниматься в двойном свете и может быть понято и оценено только в этом двойном освещении. Видимый мир нужно пристрастно исследовать на скрытое присутствие в нем второй действительности. Масштабы оценки следует искать не в видимой, а в этой второй действительности. Кто просто потребляет вещи, принимает их такими, какими они кажутся, не задаваясь вопросом об их скрытой токсичности, тот не просто наивен — он недооценивает грозящую ему опасность и, оставаясь незащищенным, рискует своим здоровьем. Непосредственному наслаждению радостями жизни, простому существованию пришел конец. Всюду корчат рожи вредные и ядовитые вещества, бесчинствуя, словно черти в средневековье. Люди перед ними почти полностью беззащитны. Дышать, есть, пить, одеваться — значит повсюду сталкиваться с ними. Можно куда-нибудь уехать, но и это поможет, как мертвому припарка. Они поджидают тебя и там, куда ты направил свои стопы, их можно обнаружить даже в этой самой припарке. Подобно ежу, который соревновался с зайцем в беге, они всегда уже там. Их невидимость не означает, что они не существуют, наоборот, она предоставляет их бесчинствам неограниченные возможности, так как их мир находится в области невидимого.

Вместе с критическим сознанием риска на сцену мировой истории во всех сферах повседневной жизни вступает теоретически определенное сознание действительности. Взгляд подверженного вредным воздействиям современника направлен, подобно взгляду экзорциста, на незримое. С обществом риска начинается

спекулятивный век обыденного восприятия и мышления. Спор о противоположных интерпретациях действительности шел всегда. При этом в философии и научной теории

действительность все в большей степени подвергалась теоретической интерпретации. Сегодня, однако, происходит нечто иное. В метафоре пещеры у

Платона видимый мир — всего лишь тень, отблеск истины, которая принципиально недоступна возможностям человеческого познания. Тем самым видимый мир в целом обесценивается, но не исчезает из системы наших отношений. Нечто подобное можно сказать и о суждении

Канта , что «вещи в себе»

принципиально непознаваемы. Это направлено против «наивного реализма», который собственное восприятие удваивает и делает «вещью для себя». Но это ничего не меняет в том, что мир в наших глазах так или иначе все равно существует. Яблоко, которое я держу в руках, даже если оно только «вещь для меня», не становится менее румяным, круглым, отравленным, сочным и т. д.

Только когда предпринимаются шаги в сторону осознания цивилизационных рисков, обыденное мышление и воображение

освобождается от сцепления с миром видимого . В споре о модернизационных рисках речь уже не идет о познавательной-теоретической ценности того, что нам дается в ощущениях. Скорее, подвергается сомнению реальное содержание того, чего обыденное сознание

не замечает и не воспринимает (радиоактивность, вредные вещества, угрозы для будущего). Эта теория, лишенная опоры на конкретный человеческий опыт, вынуждает спор о цивилизационных рисках балансировать на острие ножа и грозит превратиться в подобие «современного заклинания духов», манипулирующего средствами (антинаучного анализа).

Роль духов берут на себя невидимые, но вездесущие вредные и ядовитые вещества. Каждое из них имеет свои собственные отношения вражды со специальными противоядиями, свои ритуалы уклонения, формулы заклинания, свои предчувствия и уверенность в своих возможностях.

Стоит только впустить незримое, и в скором времени мышление и жизнь людей будут определять уже не только духи вредных веществ . Все это можно оспорить, развести по полюсам или свести воедино. Возникают новые общности и противостоящие им сообщества, чьи взгляды на мир, нормы поведения и действия группируются вокруг центров невидимых опасностей.

Солидарность живых существ

В основе этой солидарности —

страх . Что это за страх? Как он действует на образование тех или иных групп? На каком мировоззрении он основан? Впечатлительность и мораль, рациональность и ответственность, которые в процессе осознания рисков то нарушаются, то формируются снова, уже нельзя понять, основываясь на переплетении рыночных интересов, как это было в буржуазном и индустриальном обществе. Здесь отчетливо проявляются не ориентированные на конкуренцию собственные интересы, которые затем «невидимой рукой» рынка (Адам Смит) направляются на всеобщее благо. В основе этого страха и политических форм его проявления уже не лежит мысль о выгоде. Слишком легко и просто было бы видеть в нем и претензии самоутверждающегося разума, которые по-новому и непосредственно выражаются

в нарушении естественных и гуманных основ жизни.

В сведенном воедино сознании жертв, которое находит самое общее воплощение в движении в защиту окружающей среды и в защиту мира, а также в экологической критике индустриальной системы дают себя знать совершенно новые слои опыта: там, где вырубают деревья и уничтожают целые виды животных, люди в некотором смысле тоже чувствуют себя затронутыми бедой, «пострадавшими». Угроза жизни, которую несет с собой развитие цивилизации, касается обобщенного опыта всей органической жизни, связывающего жизненные потребности человека с потребностями растений и животных. Когда умирают леса, человек ощущает себя «естественным существом с моральными притязаниями», подвижной, ранимой вещью среди других вещей, естественной частицей находящегося в опасности природного

целого, за которое он в ответе. Затрагиваются и пробуждаются слои

гуманного сознания природы, которые снимают, устраняют дуализм между телом и духом, природой и человеком. В состоянии опасности человек узнает, что он дышит, подобно растению, и не может жить без воды, подобно рыбе. Угроза отравления вынуждает его почувствовать, что он и его тело сопричастны другим вещам, что он представляет собой «процесс обмена веществ, наделенный сознанием и моралью», и может разрушаться от кислотного дождя, как разрушаются камни и деревья. Становится ощутимой общность между почвой, растениями, животными и человеком, «солидарность живых существ», которая в опасной ситуации в одинаковой мере затрагивает всё и всех.

«Общество козлов отпущения»

Подверженность опасности отнюдь не всегда выливается в осознание риска, она может спровоцировать нечто прямо противоположное —

отрицание опасности из страха перед ней. Благодаря этой возможности самостоятельно вытеснять мысль об опасности отличаются друг от друга и переплетаются распределение богатств и распределение рисков. Голод нельзя утолить утверждением, что ты сыт; опасность, напротив, можно интерпретировать так, будто ее не существует (пока она не проявит себя). Когда испытываешь материальную нужду, реальная подверженность опасности и субъективное восприятие, переживание ее составляют нераздельное целое. Иное дело риск. Для него характерно то, что именно подверженность опасности

может обусловить нежелание ее осознавать. С ростом опасности

растет и вероятность ее непризнания, преуменьшения серьезности ситуации. На это есть свои причины. Риски появляются благодаря знанию и поэтому могут быть преуменьшены, преувеличены или просто вытеснены с поверхности сознания. То, что для голода пища, для осознания риска — его устранение

или интерпретация, ведущая к вытеснению из сознания. Поскольку устранить риск (для себя) никто не может, растет значение ложной интерпретации. Процесс осознания рисков, таким образом, всегда

обратим. За тревожными временами и озабоченными поколениями следуют другие, для которых страх, вызванный разговорами об опасности, — основной сдерживающий фактор их мыслей и переживаний. Опасности загоняют в огороженную знанием клетку (всегда лабильного) «несуществования», и потомки могут потешаться над тем, что так волновало их

«предков». Угроза атомного оружия с его чудовищной разрушительной силой тут ничего не меняет. 1 Восприятие этой опасности резко колеблется то в одну, то в другую сторону. Люди десятилетиями учатся «жить с бомбой». Потом вдруг какая-то сила выводит миллионы людей на улицу. Беспокойство и успокоение могут иметь

одну и ту же причину: невозможности представить масштабы опасности, с которой приходится жить.

В отличие от голода и нужды в случае с рисками возникающие страхи и тревогу легче переводить в другое русло. Здесь обнаруживается то, что не может быть преодолено, от чего можно только тем или иным способом отвлечься, искать и находить символические места, объекты и личности для подавления своего страха. В осознании рисков распространены и пользуются особым спросом

смещенные мысли и действия,

смещенные социальные конфликты. С ростом опасности и при одновременном политическом бездействии в обществе риска появляется имманентная тенденция стать «обществом козлов отпущения»: не опасности виноваты, а те, кто их вскрывает и сеет в обществе беспокойство. Разве очевидное изобилие не опровергает существование невидимых опасностей? Разве весь этот шум — не выдумки интеллектуалов, не утка, слетевшая с письменного стола умствующих бандитов и драматургов риска? Не скрываются ли за всем этим шпионы ГДР, коммунисты, евреи, арабы, женщины, мужчины, турки, обитатели ночлежек? Именно неуловимость угрозы и беспомощность перед ней способствуют распространению радикальных и фанатичных настроений и политических течений, которые делают социальные стереотипы и подверженные им группы населения «громоотводами» опасностей, скрытых от непосредственного восприятия и воздействия.

Как обходиться с неуверенностью: ключевая биографическая и политическая квалификация

Для выживания в старом индустриальном обществе главную роль играет способность справиться с материальной нуждой, избежать социального краха. Мысли и действия направлены на достижение коллективной цели «классовой солидарности», а также индивидуальных целей в получении образования и делании карьеры. В обществе риска наряду с этими жизненно необходимы и другие способности. Существенное значение приобретает способность

предвосхищать опасности, переносить их, обращаться с ними на биографическом и политическом уровне. Страх перед снижением социального уровня, классовое сознание или ориентация на успех, с чем мы более или менее научились обходиться, уступают место другим центральным вопросам. Как вести себя перед лицом

предуготованной нам судьбы с ее страхами и тревогами? Как преодолеть страх, если мы не в силах справиться с причиной этого страха? Как жить на цивилизационном вулкане, не забывая об опасности и не задохнувшись от страха, а не только от выделяемых этим вулканом вредных испарений? Теряют свое значение традиционные институциональные формы преодоления страха и неуверенности в семье, браке, во взаимоотношениях между полами, в классовом сознании и связанных с ними политических партиях и организациях. В то же время субъекты должны научиться преодолевать страх и неуверенность. Из этого нарастающего принуждения к

самостоятельному преодолению неуверенности раньше или позже должны возникнуть новые

требования к общественным институтам в сфере образования, терапии и политики (см. об этом часть вторую). Таким образом, в обществе риска обхождение со страхом и неуверенностью становится в биографическом и политическом плане

ключевой цивилизационной квалификацией, а выработка соответствующих способностей — существенной задачей педагогических учреждений.

4. Политическая динамика признанных модернизационных рисков

Умирание лесов с самого начала показало: там, где модернизационные риски успешно прошли процесс социального осознания и признания,

меняется миропорядок — даже если первоначально на деле предпринимается еще очень немного. Рушатся рамки специализированных компетенции. Общественность вмешивается в технические детали. Предприятия, которые долгое время в полном согласии с рыночными отношениями, благодаря своим налоговым благодеяниям и предоставлению людям рабочих мест пользовались всеобщей любовью, вдруг обнаруживают себя на скамье подсудимых, точнее, приговоренными обществом к позорному столбу и вынужденными отвечать на примерно те же вопросы, что и схваченные раньше на месте преступления отравители.

Вот если бы так все и было. На деле обрушиваются рынки, растут расходы, множатся разного рода запреты, судебные преследования, возникает острая необходимость коренного переустройства производственной системы — а избиратели бегут неизвестно куда. Все вдруг заговорили о том, что, казалось, входило в компетенцию посвященных, — о технических, экологических и юридических деталях, оперируя при этом отнюдь не схожими или сравнимыми аргументами, а выступая в защиту совершенно новой системы отношений: экономические и технологические подробности освещаются с точки зрения

новой экологической морали. Кто объявил крестовый поход против вредных веществ, тот должен подходить к предприятиям с морально-экологической лупой. В первую очередь те, кто осуществляет контроль за производством, точнее, должен осуществлять, а потом уже и те, кто получает выгоду от систематически допускаемых в этой сфере ошибок.

Где модернизационные риски «признаны» — а для этого нужно многое, не просто знание, а

коллективное знание о них, вера в их существование, а также политическое освещение связанных с ними последствий и причинных цепей, — там возникает беспримерная политическая динамика. Риски лишаются всего — латентности, отвлекающей «структуры побочных последствий», неотвратимости. Вдруг оказывается, что возникающие проблемы не подлежат оправданию, что они требуют немедленных и решительных действий. За условиями производства, за производственной необходимостью проступают конкретные личности,

инициаторы, вынужденные давать объяснения. «Побочные последствия» заявляют о себе, предстают перед судом, добиваются признания, не позволяют от себя отмахиваться. И мир преображается.

То, что пришло в движение, можно, разумеется, задержать, препятствуя признанию рисков. Это еще раз проливает свет на то, что, собственно, поставлено на карту. В процессе признания модернизационных рисков решающую роль играют не (или не только) последствия для здоровья, для жизни растений, животных и людей, а

социальные, экономические и политические побочные последствия этих побочных последствий : обвал рынков, обесценение капитала, скрытое отчуждение, новое распределение ответственности, изменения, в структуре рынка, признание претензий на возмещение ущерба, гигантские расходы, судебные процессы, потеря лица.

Экологические и медицинские последствия могут быть гипотетическими, их можно по желанию оправдывать, представлять в безобидном свете или драматизировать. Там, где в них

поверили , они будут иметь названные выше социальные, экономические и политические результаты. Иными словами, если люди воспринимают риски как реальность, они расшатывают социальную, политическую и экономическую структуру компетенции. С признанием модернизационных рисков под воздействием растущей опасности образуется своеобразный политический воспламенитель. То, что было возможным еще вчера, сегодня сталкивается с преградами. Кто нынче преуменьшает серьезность умирания лесов, должен считаться с тем, что его публично упрекнул в цинизме. «Приемлемая нагрузка» превращается в «недопустимые источники опасности». Что еще недавно находилось вне сферы влияния политики, сегодня в эту сферу попадает. Становится очевидной

относительность предельно допустимых величин и

политически недоступных переменных . По-новому обозначаются значения и границы политического и неполитического, необходимого и возможного, заданного и подлежащего оформлению. Прочные технико-экономические «константы» — например, эмиссия вредных веществ, «невозможность отказа» от ядерной энергии — превращаются в политически подвижные переменные величины.

При этом речь идет уже не только о традиционных инструментах политики — политико-экономическом регулировании рынка, перераспределении доходов, социальных гарантиях, но и об инструментах

неполитических . Устранение причин опасности модернизационного процесса

само приобретает политический характер . Вопросы, относящиеся к сфере компетенции производственного менеджмента (состав выпускаемого продукта, способ производства, вид используемой энергии, устранение отходов), превращаются сегодня в горячие проблемы

правительственной политики , которые в глазах избирателей конкурируют с проблемой массовой безработицы. С ростом опасности прежние неотложные необходимости тают, а параллельно возрастает роль

направляющей политики чрезвычайного положения , которая черпает из угрожающей ситуации новые компетенции и возможности вмешательства. Там, где опасность стала нормой, она надолго приобретает институциональный характер. Так модернизационные риски готовят плацдарм для перераспределения власти — иногда с сохранением формальных компетенции, иногда с их кардинальным изменением. Чем быстрее растут модернизационные риски, тем очевиднее появляется угроза основным ценностям человеческого сообщества, и чем яснее это осознается людьми, тем глубже потрясается отлаженная, базирующаяся на разделении труда структура власти и компетенции в ее отношениях с экономикой, политикой и общественностью, тем очевиднее становится, что под воздействием растущей опасности должна по-новому распределяться ответственность, а все детали модернизационного процесса должны подвергаться бюрократическому контролю и планированию.

Постепенные системные изменения осуществляются

в действии , в процессе признания модернизационных рисков и нарастания содержащейся в них опасности. Происходит это не в форме открытой, а в форме «тихой революции», как следствие изменений в сознании

всех , как переворот

без субъекта,

без смены элит, при сохранении старого порядка.

При необузданном развитии цивилизации создаются условия для квазиреволюционных ситуаций. Они возникают как обусловленная модернизацией «цивилизационная

судьба» , т. е., с одной стороны, под прикрытием «стандартов» и, с другой стороны, вместе с ростом

чреватого катастрофами потенциала , который вполне может достичь политического радиуса революционной ситуации и превзойти его. Общество риска, следовательно, не революционное общество, а нечто худшее —

общество катастроф . В нем

чрезвычайное положение грозит стать

нормой жизни.

Из немецкой истории этого века мы слишком хорошо знаем, что случившаяся или возможная катастрофа — отнюдь не лучший учитель в деле укрепления демократии. Насколько противоречивой и взрывоопасной может быть возникшая ситуация, невольно и поучительно проявилось в экспертном заключении «мудрых защитников окружающей среды». Правдоподобность обрисованных в этом заключении опасностей для жизни растений, животных и человека как бы «уполномочивает» авторов с чистой совестью экологической морали прибегать к языку, который прямо-таки кишит выражениями типа «контроль», «официальное разрешение», «под правительственным надзором». Примечательно, что в зависимости от тяжести нагрузки на окружающую среду этот документ требует соответственно далеко идущих возможностей и прав вмешательства, планирования и регулирования. В нем речь идет о расширении системы информации в «сельском хозяйстве», в нем выдвигаются требования «широкого ландшафтного планирования» с «биотопной картографией» и «концепциями по защите территорий»; эти требования базируются на «точных, научно обоснованных данных по мелким земельным участкам» и должны осуществляться в борьбе «с конкурирующими притязаниями на использование угодий». Ради проведения в жизнь своей политики «ре-природизации» совет рекомендует «лишить собственников права использовать... наиболее ценные территории в хозяйственных интересах» Фермеров необходимо «за плату... побуждать к отказу от определенных форм использования земли или к проведению необходимых природоохранных мероприятий». В нем говорится о получении «разрешений на внесение удобрений», о «соответствующем определении вида удобрений, масштабов и сроков их внесения». Это «плановое внесение удобрений» требует, как и другие «природоохранные мероприятия», дифференцированной системы контроля на производственном, региональном и надрегиональном уровне, а также «коррекции и дальнейшего развития типовых юридических условий». Короче говоря, в нем набрасывается панорама

научно-бюрократического авторитаризма.

Образ крестьянина, столетиями считавшегося «кормильцем» и добывавшего из земли «плоды», от которых зависела жизнь всех людей и ее продолжение, начинает превращаться

в свою противоположность. Сельскому хозяйству угрожает перспектива превратиться в место кругооборота ядов, угрожающих жизни растений, животных и людей. Чтобы избежать надвигающейся опасности, на достигнутом высоком уровне сельскохозяйственного производства требуется отчуждение собственности и/или вникающее во все детали планирование и контроль под протекторатом науки. Поражают не только эти требования (и даже не безапелляционность, с которой они провозглашаются). Поражает то, что они обосновываются

логикой защиты от опасности ; ввиду нарастания опасности будет очень трудно найти им

политическую альтернативу , которая смогла бы действительно сделать то, на что претендует диктатура опасности.

Именно с ростом опасности в обществе риска возникают совершенно новые

требования к демократии . Общество риска с целью защиты от опасности несет в себе тенденцию к «легитимному» тоталитаризму, который, чтобы избежать худшего, давно известным способом творит наихудшее. Политические «побочные последствия» «побочных» цивилизационных «действий» угрожают самой сути политико-демократической системы. Она оказывается перед худым выбором: или оказаться несостоятельной перед лицом систематически производимых опасностей, или под натиском авторитарных дисциплинарно-государственных «опорных точек» аннулировать основные демократические принципы. Разрушить эту альтернативу — одна из важнейших задач демократического образа мыслей и действий в наступающем будущем общества риска (см. главу VIII).

5. Виды на будущее: природа и общество на исходе XX века

С индустриально форсированным разрушением экологических и природных основ жизни освобождается не знающая аналогов в истории, до сих пор совершенно не изученная общественная и политическая динамика, которая, последовательно развиваясь, побуждает к переосмыслению отношений между природой и обществом. Этот тезис нуждается в обобщающем теоретическом объяснении. Чтобы заглянуть в будущее, попытаемся в заключение наметить несколько направляющих вех и указателей.

Предыдущие размышления в их совокупности означают

конец противопоставления природы и общества . Это значит, что природа уже не может быть понята

без общества, а общество

без природы. Общественные теории XIX века (и их модификации в XX веке) мыслили природу в основном как нечто заданное, навязанное, долженствующее подчиняться человеку, иными словами, как нечто противостоящее обществу, чуждое ему, как

не-общество . Процесс индустриализации не только устранил это подчинение, но и

исторически фальсифицировал его. В конце XX века природа уже

не нечто заданное и навязанное, она превратилась в продукт истории, стала в процессе естественной репродукции разрушенной или находящейся под угрозой разрушения декорацией цивилизованного мира. Но это означает, что разрушение природы, интегрированное в универсальную циркуляцию промышленного производства, перестало

быть

просто разрушением природы, а превратилось в интегральную составляющую общественной, экономической и политической динамики. Незамеченным побочным эффектом обобществления природы стало

обобществление разрушения природы и нанесения ей ущерба, превращение ее в экономические, социальные и политические противоречия и конфликты: нарушение естественных условий жизни оборачивается глобальными медицинскими, социальными и экономическими угрозами для человека — с совершенно новыми требованиями к социальным и политическим институтам высокоиндустриализированного мирового сообщества.

Именно это превращение цивилизационных угроз природе в угрозы социальной, экономической и политической системе является реальным вызовом настоящему и будущему, который оправдывает понятие общества риска. В то время как понятие классического индустриального общества базируется на противопоставлении природы и общества (в духе XIX века), понятие (индустриального) общества риска исходит из «природы», интегрированной в цивилизацию, при этом следует постоянно иметь в виду метаморфозу нанесения ей ущерба отдельными общественными системами. То, что называется «нанесением ущерба», подлежит в условиях индустриализированной второй природы, как было показано выше, научным, антинаучным и социальным дефинициям. Эта контроверза была прослежена нами на примере возникновения и осознания

модернизационных рисков. Это означает, что «модернизационные риски» являются тем понятийным оформлением, категориальным обрамлением, в котором общество воспринимает разрушение имманентной цивилизации природы, делает выводы о значении и необходимости этого разрушения, а также выносит решение о вытеснении и/или обработке этих рисков. Они суть подкрепленная наукой «вторая мораль», в рамках которой на принципах общественной «легитимности», т. е. с претензией на деятельный выход из затруднительного положения, ведутся переговоры о нанесении ущерба опустошенной промышленностью природе, которая и природой-то больше не является.

Центральный вывод: общество со всеми его системами — экономической, политической, семейной, культурной — в современном мире уже нельзя воспринимать как нечто «автономное», независимое от природы. Экологические проблемы — это не проблемы окружающей среды, а в своем генезисе и последствиях целиком

общественные проблемы, проблемы человека, его истории, условий его жизни, его отношения к миру и реальной действительности, его экономических, культурных и политических воззрений. Индустриально преобразованную «внутреннюю природу» цивилизованного мира следует воспринимать не как

окружающую среду, а как

внутреннюю среду, относительно которой наши возможности листания и разграничения проявляют свою

несостоятельность. На исходе XX века становится ясно, что природа — это общество, а общество — и «природа» тоже. Кто воспринимает сегодня природу вне общества, тот пользуется категориями другого столетия, которые на нашу действительность уже не распространяются.

Сегодня мы повсюду имеем дело с чрезвычайно сложным искусственным продуктом, с искусственной «природой». В ней не осталось абсолютно ничего от «естественного», если под «естественным» понимать состояние, когда природа предоставлена самой себе. К

артефакту «природа», который естествоиспытатели изучают с профессиональным терпением, они тоже относятся отнюдь не только как ученые. В своих действиях и выводах они —

эзекюторы притязаний общества на овладение природой. Когда они в одиночку или в просторных лабораториях склоняются над объектом своего исследования, через плечо им в известном смысле заглядывают все. Когда они что-то делают руками, это руки учреждения и в известной мере и наши руки. И то, что исследуется ими как «природа», — это внутренняя, включенная в цивилизационный процесс «вторая природа», и как таковая она основательно нагружена и перегружена далекими от «естественности» функциями и значениями. Что бы в этих условиях ученые ни делали, измеряя, расспрашивая, предполагая, проверяя, они способствуют

укреплению или, наоборот,

ослаблению здоровья, экономических интересов, имущественных прав, компетенции и властных полномочий. Иными словами, природа, поскольку она циркулирует и используется внутри системы, в умелых руках естествоиспытателей тоже обретает

политический характер. Результаты исследований, к которым не примешано ни одно оценочное слово, ни один, даже совсем маленький нормативный восклицательный знак, которые предельно деловито копошатся в пустыне сплошной цифири, которым от души порадовался бы Макс Вебер, могут обретать политическую взрывную силу, абсолютно недостижимую с помощью апокалипсических формулировок социологов, философов и этиков.

Поскольку предмет их науки несет на себе такую общественную «нагрузку», естествоиспытатели работают в

сильном политическом, экономическом и культурном магнитном поле. Они это чувствуют и реагируют на это в своей работе — в определении методов измерения, выводах относительно переносимости, наблюдении за причинными гипотезами и т. д. Их пером вполне могут водить силовые линии этого магнитного поля. Они обращают внимание только на те следы, которые поддаются объяснению. Эти силовые линии могут быть также тем источником, из которого берут энергию вспыхивающие — при определенной направленности аргументации — красным светом лампочки, препятствующие карьерному росту. Это всего лишь симптомы того, как в условиях обобществленной природы общественные и технические науки, внешне сохраняя объективность, становятся под прикрытием цифр филиалами политики, этики, экономики и права (см. об этом главу VII).

Тем самым естественные науки оказываются в ситуации, которая давно уже знакома общественным наукам с их и без того политизированным «предметом» изучения. Одновременно происходит сближение этих наук, причем по иронии судьбы оно связано с политизацией предмета, а не с соединением общественно-научной полунаучности и естественнонаучной объективности, как можно было бы предположить. В будущем центральным для роли всех наук станет понимание необходимости

институционально усиленного и защищенного костяка, иначе вообще нельзя будет заниматься серьезными исследованиями, и ученые не смогут брать на себя ответственность и выдерживать давление политических импликаций. Содержательное качество и политическое значение научной работы могут когда-нибудь совпасть только в том случае, если в обратной пропорции к расширяющимся вследствие политического приспособленчества табуированным зонам будет расти официально поддерживаемая готовность компетентно и безоговорочно разрушать эти зоны и таким образом обнажать ставшие привычными научно опосредованные методы и ритуалы затемнения истины

относительно уровня цивилизационных рисков.

В этих условиях научно зафиксированная опасность модернизационного процесса, осуществляемого и управляемого на промышленно-технологической основе, может придать новое качество общественной критике там, где она выставлена на всеобщее обозрение вопреки табуированным зонам, возникающим в процессе политизации природы. Химические, биологические, физические, медицинские формулы опасности превращаются таким образом в «объективные предпосылки» для критического анализа состояния общества. Отсюда вытекает вопрос о соотношении критики рисков и социологической критики культуры.

Социокультурная критика модерна вынуждена постоянно бороться с (социологической) азбучной истиной, будто унаследованные нормы нарушаются в процессе развития модерна. Противоречия между установившимися нормами и общественным развитием — ядро самой что ни на есть повседневности. Острые общественно-научной критики культуры всегда ломалось под воздействием общественных наук. Надо

к тому же быть плохим социологом, чтобы постоянно сталкивать полезные намерения, которые, как известно, сводятся к разумности разума, с вредностью модерна.

Несколько по-иному обстоит дело с утверждениями социологов, что нарушаются интересы групп, обостряется социальное неравенство, один за другим следуют экономические кризисы. В этом есть своя злободневность, особенно если учитывать организованность защитников подобных утверждений. Однако и здесь имеется параллель, связывающая эти ходы мысли с названными выше и отличающая их от естественнонаучного протоколирования: нарушения предельных величин

избирательны и могут длиться долгое время

признаваться официально. Это же можно сказать и о социальном неравенстве. Но не о последствиях модернизации, несущих угрозу

самой жизни. Они — следствие основного универсального признака — признака эгалитаризма. Их институционализация, вполне, как мы видели, возможная, наносит непоправимый ущерб здоровью всех. «Здоровье» само по себе имеет высокую культурную ценность, но оно сверх того еще и предпосылка жизни и выживания. Универсализация угроз здоровью всегда и везде создает постоянную опасность, которая пронизывает насквозь экономическую и политическую систему. Здесь нарушаются не только социальные и культурные предпосылки, с чем, как показывает вопреки пролитым по этому поводу слезам путь модерна, вполне можно жить. Здесь, по крайней мере, в глубинном измерении, которому наносится урон, ставится вопрос о том, как долго еще можно ограничивать красные списки вымирающих растений и животных. Может статься, что мы находимся в начале исторического процесса привыкания. Может статься, что уже следующие поколения будут так же мало удивляться снимкам только что появившихся на свет уродцев среди пораженных опухолями рыб и птиц, как это сегодня происходит с нарушениями предельных величин, новой нищетой и неизменно высоким уровнем безработицы. Уже не первый раз вместе с ростом опасности утрачивается представление о ее масштабах. Еще остается обоснованная надежда, что этого не случится, что вместе с индустриализацией природы ее разрушение будет восприниматься как индустриальное саморазрушение. (По поводу чего даже в интересах профессионализации критики не может быть никакого ликования.)

Для отвыкшего от формул уха социолога это может звучать парадоксально. Но обращение к химическим, биологическим и медицинским формулам, независимо оттого, обоснованы они научно, антинаучно или еще как-нибудь, может придать общественно-научному анализу нормативные критические предпосылки. И наоборот: их скрытое содержание станет явным только в результате сопряжения с общественно-политической сферой. Само собой

разумеется, это означает также, что ученые-общественники, как и их коллеги в других областях знания, будут зависеть от

контролируемого непрофессионалами «отсутствия опыта из вторых рук» — со всеми проблемами, которые будет порождать отсутствие профессиональной автономии. С этим вряд ли может конкурировать то, что могут предложить общественные науки, опираясь на собственные возможности.

Часть вторая

Индивидуализация социального неравенства. К вопросу о детрадиционализации индустриально-общественных форм жизни

Логика распределения модернизационных рисков, как она была изложена в предыдущей главе, является существенным, но всего лишь

одним признаком общества риска. Возникающие таким образом глобальные угрозы и содержащаяся в них социально-политическая конфликтная динамика развития — явления новые и значительные, однако на них напластовываются общественные, биографические и культурные риски и опасности, которые в развитом модерне истончают и рафинируют внутреннюю социальную структуру общества риска — социальные классы, формы семейной жизни, брака, родственных и профессиональных отношений — и связанный с ними привычный образ жизни. Эта вторая сторона занимает теперь центральное место. Обе стороны вместе, сумма рисков и тревог, их взаимное обострение и нейтрализация и составляют социальную и политическую динамику общества риска. Теоретическое предположение, из которого вытекают обе перспективы, в общем виде можно сформулировать так: развернувшийся на пороге XXI века процесс модернизации не только обусловил подчинение природы обществу, но и сделал уязвимой внутриобщественную систему координат индустриального общества, а именно понимание роли науки и техники; семью и профессию — стержни, на которых держится жизнь человека; распределение и разделение демократически узаконенной политики и субполитики (с точки зрения экономики, техники, науки).

Амбивалентности: освобождение индивидов в условиях развитых рыночных отношений

Центральная мысль этой главы заключается в том, что мы являемся свидетелями метаморфозы общества в рамках модерна, в ходе которой люди

освобождаются от социальных форм индустриального общества — от деления на классы и слои, от традиционных семейных отношений и отношений между полами, точно так же как в ходе Реформации они освобождались от господства церкви и переходили к формам жизни светского общества. Предварительно аргументацию можно изложить в семи тезисах:

(1) Во всех богатых западных индустриальных странах, особенно в ФРГ, в процессе общественно полезной модернизации после второй мировой войны произошел

общественный сдвиг доселе невиданного размаха и динамизма

в сторону индивидуализации (причем при сохранившихся в значительной мере отношениях

неравенства). Это означает, что на фоне относительно высокого материального уровня жизни и развитой системы социальных гарантий, в ходе исторического разрыва с устоявшимися формами жизни, люди освобождаются от классово окрашенных отношений и форм жизнеобеспечения в семье и начинают в большей мере зависеть от самих себя и своей индивидуальной судьбы на рынке труда с ее рисками, шансами и противоречиями.

Процесс индивидуализации до сих пор касался преимущественно развивающейся буржуазии. Но в другой форме он присущ и «свободному наемному рабочему» современного капитализма, и динамике процессов на рынке труда в условиях демократического государственного устройства. Вступлением рынок труда сопряжено с освобождением от все новых и новых форм отношений в семье, с соседями, с коллегами по профессии, а также от привязанности к региональной культуре и ландшафту. Эти сдвиги в сторону индивидуализации конкурируют с опытом коллективной судьбы на рынке труда (массовая безработица, утрата квалификации и т. п.). Но в общественно-государственных условиях, сложившихся в ФРГ, они ведут к

высвобождению индивида из социальных классовых связей и устоявшихся отношений между мужчинами и женщинами.

(2) В отношении интерпретации

социального неравенства возникает двойственная ситуация. Для марксистских теоретиков классового общества, как и для исследователей расслоения, вполне вероятно, в принципе ничего не изменилось. Различия в иерархии доходов и фундаментальные установления о наемном труде остались без изменений. С другой стороны, применительно к действиям людей связь с социальными классами отступает на задний план. Сложившиеся по сословному признаку социальные круги и классовые формы культуры и жизни утрачивают свое значение. Возникает тенденция к индивидуализированным формам и ситуациям существования, которые вынуждают людей ради собственного материального выживания ставить

себя в центр планирования и осуществления собственной жизни. Индивидуализация в этом плане направлена на ликвидацию жизненных основ мышления в традиционных категориях крупных общественных групп — социальных классов, сословий или слоев.

В марксистских теориях классовый антагонизм раз и навсегда намертво связывался с «сутью» индустриального капитализма. Этот застрявший в историческом опыте образ мыслей может быть сформулирован как тезис об

исключенном третьем варианте общественно-индустриального развития. Капитализм

или уходит через открытую для него дверь (обострение классовой борьбы и «революционный взрыв») со сцены мировой истории и возвращается с изменившимися отношениями собственности через заднюю дверь в новом обличье социалистического общества,

или классы продолжают бороться, бороться и бороться. Тезис индивидуализации выдвигает ранее исключенный третий вариант: динамика утвердившегося в социально-государственном плане рынка труда размывает или ликвидирует классы

в капитализме. Мысля в марксистских категориях, мы во все большей степени сталкиваемся с (пока еще не осмысленным) феноменом капитализма без классов со всеми связанными структурами и проблемами социального неравенства.

(3) Эта тенденция «бесклассового характера» социального неравенства особенно ясно просматривается в распределении массовой безработицы. С одной стороны, нарастает доля потерявших работу на длительное время, а также число тех, кто оказался отлученным от

рынка труда и уже никогда больше не найдет работы. С другой стороны, постоянству общего числа безработных — свыше двух миллионов — не соответствует такое же количество зарегистрированных случаев и пострадавших от безработицы лиц. С 1974 по 1983 годы ровно двенадцать с половиной миллионов, или

каждый третий трудоспособный, один или несколько раз оказывались без работы. Одновременно растут серые зоны между зарегистрированной и незарегистрированной безработицей (домашние хозяйки, молодежь, лица, преждевременно вышедшие на пенсию), а также между полной и неполной занятостью (гибкий рабочий день, скользящие графики занятости). Широкое распространение более или менее кратких периодов безработицы совпадает с растущим числом тех, кто лишился работы надолго, и с новыми смешанными формами соотношения между безработицей и занятостью. Этому нет соответствия в классово-культурных взаимосвязях жизни. Обострение

и индивидуализация социального неравенства переплетаются. Вследствие этого системные проблемы оборачиваются невозможностью их решения в личном плане и политически упраздняются. В процессе разрыва с традиционными формами жизни возникает

новая непосредственность индивида и общества, непосредственность кризиса и болезни в том смысле, что общественные кризисы проявляются как индивидуальные, и их общественный характер может восприниматься лишь очень условно и опосредованно. (4) Это освобождение по отношению к сословно сложившимся социальным классам наслаивается на освобождение по отношению к

положению мужчины и женщины. Это находит существенное отражение в изменившемся положении

женщин. Новейшие данные ясно говорят о том, что не отсутствие образования и не социальное происхождение, а

развод становится тем люком, через который они проваливаются в «новую бедность». В этом выражается степень освобождения от брачных обязанностей и домашней работы, освобождения, которое уже необратимо. Тем самым спираль индивидуализации проникает и

внутри семьи: рынок труда, сфера образования, подвижность — все теперь удваивается и утраивается. Семья превращается в затяжное жонглирование многочисленными устремленными в разные стороны амбициями, касающимися профессии, образования, воспитания детей и одинакового участия в ведении домашнего хозяйства. Рождается тип «договорной семьи на время», когда уже сложившиеся индивидуальности вступают во временный противоречивый союз с целью регуляции эмоционального обмена. (5) То, что облечено в частную форму «проблемы взаимоотношений», с точки зрения общественной теории представляет собой

противоречия разделенного надвое современного индустриального мира, который сразу после рождения человека у одного пола отнимал, а другому предоставлял неделимые принципы модерна — индивидуальную свободу и равенство вне зависимости оттого, кем родится человек. Индустриальное общество никогда не было и не является

только индустриальным обществом, оно всегда оставалось наполовину индустриальным, наполовину сословным, причем сословная сторона — не традиционный реликт, а

продукт и фундамент индустриального общества. Победа индустриального общества означала устранение семейной морали, разделение судеб мужчин и женщин, отмену брачных, родительских и сексуальных табу, она означала сведение воедино работы по дому и труда ради заработка. (6) Это проясняет особенности современного индустриализационного сдвига (в сравнении со сходными или несходными сдвигами в эпоху Возрождения или ранней

индустриализации). Новое необходимо искать в следствиях. Говоря упрощенно, место сословий занимают уже не социальные классы, а место социальных классов — не стабильные рамки семейных отношений.

Мужчина и женщина по отдельности становятся жизненно важной единицей воспроизводства социальных отношений. Иными словами, индивиды внутри и вне семьи становятся основными действующими лицами в обеспечении своего определяемого рынком существования и связанного с этим планирования и организации собственной биографии.

Эта дифференциация индивидуальных ситуаций в развитом рыночном обществе не может быть приравнена к осуществленной эмансипации. Не означает индивидуализация и начало нового сотворения мира из воскресшего индивида. Скорее, она связана с тенденциями

институционализации и стандартизации жизненных ситуаций. Свободные индивиды становятся зависимыми от рынка и

тем самым от системы образования, потребления, социально-правового регулирования и обеспечения, от планирования коммуникаций, предложения потребительских товаров, от возможностей и модных течений в медицинском, психологическом и педагогическом обслуживании. Все это указывает на особую контролирующую структуру «институционально зависимых индивидуальных ситуаций», которые вместе с тем открываются для (имплицитного) политического воздействия и регулирования. (7) В соответствии с этим индивидуализация понимается нами как исторически противоречивый

процесс обобществления. Правда, коллективизм и стандартизация в возникающих индивидуализированных ситуациях просматриваются с трудом. И все же именно это есть прорыв и осознание противоречивости, которые могут привести к возникновению новых социокультурных общностей. Модернизационные риски и опасные ситуации приводят к появлению гражданских инициатив и социальных движений. Но бывает и так, что в ходе индивидуализации систематически пробуждается желание отвоевать для себя «немножко собственной жизни» (в материальном, пространственном, временном отношении или при формировании социальных взаимосвязей). Но в процессе возникновения эти ожидания сталкиваются с общественными и политическими ограничениями и противодействиями. На этом пути рождаются

новые направления поисков, которые частично используют экспериментальные формы обращения с социальными условиями, с различными формами альтернативной и молодежной субкультуры. Общности не в последнюю очередь об разуются в протестных формах и проявлениях, которые возникают при административном и индустриальном вмешательстве в частную сферу, в «личную жизнь» и демонстрируют свою агрессивность. В этом плане новые социальные движения (окружающая среда, проблемы мира и женской эмансипации) являются, с одной стороны, выражением новых опасных ситуаций в обществе риска и обострившихся противоречий между полами; с другой стороны, формы политизации и проблемы стабилизации вытекают из процессов

складывания социальной идентичности в освободившемся от традиций, индивидуализированном жизненном пространстве.

Глава III

По ту сторону классов и слоев

Кто задает сегодня наивный вопрос о реальном существовании классов и слоев в ФРГ[3] и других развитых странах, тот сталкивается с внешне противоречивым положением вещей: с одной стороны, структура социального неравенства в развитых странах демонстрирует поразительную

стабильность. Результаты соответствующих исследований говорят, что все технические и экономические преобразования, все реформы последних трех десятилетий существенно не изменили

отношения неравенства между крупными группами нашего общества, если не считать отдельных сдвигов вплоть до 70-х и в 80-е годы в ходе массовой безработицы.

С другой стороны, в этот же период вопросы социального неравенства утратили свою остроту. Даже еще несколько лет тому назад вызывавшее тревогу количество безработных, далеко перевалившее за два миллиона, так до сих пор и не вылилось в протестные движения. Правда, в последние годы вопросы неравенства снова приобрели повышенное значение (дискуссии о «новой бедности») и возникают в других ситуациях и провокационных вариантах (борьба за права женщин, гражданские инициативы, направленные против строительства атомных электростанций, неравенство между поколениями, региональные и религиозные конфликты). Но если общественные и политические дискуссии принять за существенный показатель реального развития, то напрашивается вывод: несмотря на сохраняющиеся и возникающие новые отношения неравенства, мы живем сегодня в Федеративной Республике Германии уже по ту сторону классового общества; образ классового общества сохраняется только в связи с отсутствием лучшей альтернативы. Это противоречие можно разрешить, если задаться вопросом, в какой мере изменилось за прошедшие три десятилетия

социальное значение неравенства. Вот мой тезис: с одной стороны, отношения социального неравенства в послевоенной ФРГ остались в значительной степени

константными. С другой стороны, радикально изменились жизненные условия населения. Особенностью социально-структурного развития в ФРГ является

«эффект лифта»: «классовое общество» целиком поднялось на этаж выше. При всех намечающихся заново или сохранившихся проявлениях неравенства произошло

коллективное увеличение доходов, увеличились шансы получить образование, возможности путешествовать, возросло правовое, научное обеспечение и обеспечение товарами массового спроса. В результате истончаются и аннулируются субкультурные классовые идентичности и связи. Одновременно начинается процесс индивидуализации и диверсификации ситуаций и стилей жизни, который подтачивает иерархическую модель социальных классов и слоев и ставит под сомнение ее реальное содержание.

1. Культурная эволюция форм жизни

Таким образом, социальный классовый характер условий и форм жизни при неизменившихся структурах неравенства может быть утрачен через изменение уровня жизни. Благодаря повышению этого уровня в ходе перестройки в 50-е годы и расширению сферы образования в 60-е и 70-е широкие круги населения действительно пережили изменение и улучшение условий своей жизни, которые в плане собственного опыта значили больше, чем все еще сохраняющееся неравенство относительно других социальных групп. В первую очередь это касается групп, занимающих нижние уровни иерархической системы. Если средняя реальная

заработная плата работников промышленности с 1880 по 1970 год более чем

утроилась (причем самый большой скачок произошел после 1950 года), то постоянное напоминание о сохранившейся разнице в доходах рабочих и служащих мало что говорит о реальных условиях жизни самих рабочих.

Последствия этого «социально-исторического революционного повышения доходов» можно проследить на деталях условий жизни в рабочей среде. Только в 50-е, а еще заметнее в 60-е годы трудящиеся сбросили с себя ярмо «пролетарской нищеты», которая до тех пор определяла их жизнь. До 1950 года питание, одежда и жилье съедали три четверти семейного бюджета, тогда как эта доля — при повышении качества жизни — опустилась в 1973 году до 60 %. Одновременно произошла своего рода «демократизация» в приобретении престижных товаров — радио, телевизора, долго подвергавшегося насмешкам холодильника, автомобиля. Квартиры стали более просторными и лучше обставленными. Из жилой комнаты исчезла пролетарская кухня. Излишек денег открыл новые возможности для путешествий. Некогда доступные только состоятельному бюргеру поездки в отпуск и на отдых стали теперь возможны по меньшей мере для каждого второго рабочего. Некоторые даже стали приобретать собственные владения. При неизменившейся разнице в доходах сравнительно с другими большими группами населения рабочие избавляются от статуса «пролетарского бедняка»: квота накоплений (доля сбережений относительно полученного чистого дохода) поднялась с 1–2 % в 1907 году до 5,6 % в 1955-м и удвоилась в 1974-м, дойдя до 12,5 %. При этом речь уже не шла о «копейке на черный день», деньги копились на приобретение ценных потребительских товаров, для многих даже стало доступно осуществление «мечты» — покупка дома или квартиры. Если в 1950 году только 6 % рабочих семей могли осуществить желание поселиться в собственном жилище, то в 1968-м их число возросло до 32 %, а в 1977-м до 39 %.

Подъем материального уровня жизни — лишь одна из многих возможностей изменить условия жизни человека при (статистически фиксируемом) неизменном социальном неравенстве. Только во взаимодействии целого ряда компонентов происходит индивидуализационный сдвиг, который освобождает людей от традиционных классовых привязанностей и превращает их — во имя их же выживания — в активных творцов собственной, обусловленной рынком труда биографии.

«Эффект лифта»

Продолжительность жизни, активная трудовая жизнь, заработная плата — эти три компонента в процессе развития ФРГ сдвинулись в сторону расширения жизненных возможностей[4]. Средняя продолжительность жизни

намного увеличилась (за прошедшие сто лет у мужчин на 10 лет, у женщин даже на 13), время активного труда уменьшилось в среднем

более чем на четверть (не считая более позднего — на два года — вступления в трудовую жизнь и более раннего — на три года — выхода на пенсию), одновременно

в несколько раз увеличилась заработная плата. Благодаря мощному историческому рывку жизнь людей в обществе наемного труда в значительной мере освободилась от ярма наемного труда (при его интенсификации). В целом большая продолжительность жизни, меньший срок активного труда и возросшие финансовые возможности — вот точки опоры, которые обеспечили «эффект лифта» в жизненном укладе людей. При сохранении социального неравенства произошел переворот в отношениях между трудом и жизнью.

Удлинился срок жизни, свободный от зарабатывания денег, человек в этот период стал значительно обеспеченнее в материальном отношении, правда, при условии, что он участвовал в производительном труде. Речь, таким образом, идет об освобождении не в период трудовой активности, а

за пределами этого периода. Новые материальные возможности и увеличившееся время досуга совпали с соблазнами массового потребительского рынка и размыли контуры традиционных форм жизни и социальной среды.

Излишек денег, как и излишек свободного от зарабатывания денег времени сталкиваются с традиционными табуированными зонами жизни, строящейся в соответствии с классовыми пристрастиями и семейными устоями.

Деньги по-новому смешивают социальные группы и в то же время размывают их контуры в обществе массового потребления. Как и прежде, существуют места, где встречаются «одни» и не встречаются «другие». Но зоны пересечения растут, и границы между объединениями и ресторанами, молодежными клубами и домами престарелых, которые еще в кайзеровской Германии и Веймарской республике заметно делили жизнь в нерабочее время на «классовые ареалы», становятся невидимыми и исчезают совсем. Их место занимают

неодинаковые стили потребления (в обстановке, одежде, средствах массовой информации, планировании жизни и т. д.), но и они — при всех различиях между ними — отказались от классово-культурных атрибутов. Дифференциация индивидуальных ситуаций видна на следующих двух компонентах рынка труда:

а)

мобильности и

б)

образовании.

Мобильность

При сравнении двух столетий бросается в глаза, что многократно цитируемая «индустриальная революция» — по крайней мере, в отношении вызванных ею потоков социальной мобильности — отнюдь не была такой революционной, как можно было бы предположить по ее названию. Так, в Пруссии доля индустриальных рабочих выросла с 1822 по 1861 год только с 3 до 7 %. Подлинный скачок в социальной мобильности произошел только в послевоенный период. Благодаря расширению сектора услуг в 60-е и 70-е годы шансы на социальный подъем в нижней трети социальной иерархии при сохранении различий с группами служащих и чиновников значительно увеличились. Прежде всего молодые люди и девушки из рабочих семей воспользовались экспансией сферы услуги сопряженными с ней подвижками в профессиональных структурах. В 1971 году армия служащих и чиновников среднего и низшего звена пополнилась ровно наполовину выходцами из рабочих семей (с 1920 по 1936 год рождения), а состав высшего чиновничества — почти на треть, причем 15 % из них — это дети неграмотных, а 23 % — дети обученных рабочих, 31 % — дети квалифицированных рабочих и 45 % — дети бригадиров и мастеров.

Социальная мобильность, как, кстати, и мобильность географическая, даже повседневная мобильность между домом и рабочим местом, перемешивают жизненные пути и ситуации

людей. Со всеми этими видами мобильности, особенно с их совокупностью связаны сдвиги в индивидуализации применительно к семейным, соседским, дружеским, профессиональным и производственным отношениям, а также привязанности к определенной региональной культуре и ландшафту. Жизненные пути людей обретают самостоятельность относительно условий и связей, из которых они вышли или в которые входят заново, и наделяются собственной реальностью, которая переживается людьми

как личная судьба.

В излишке денег, используемом для личного домашнего хозяйства, заключена изрядная толика

возросшего объема женского труда. Хотя чисто внешне доля женщин в общем количестве работающих в течение ста лет оставалась на удивление неизменной и составляла примерно 36 %. Но женщины в значительной части отказались от сомнительного статуса «оплачиваемых помощниц» сильного пола и благодаря наемному труду, при сохранении брачных отношений, обрели, так сказать, «самостоятельность». С 1950 по 1980 год доля «помощниц» из числа состоящих в браке женщин падает с 15 до 4 %, соответственно квота самостоятельно зарабатывающих деньги женщин, состоящих в браке, выросла с 9 до 36 % (параллельно все время растет число женщин, сохраняющих трудоспособность в браке даже в период материнства).

«Самостоятельно заработанные деньги» имеют не только материальную, но также социальную и символическую ценность.

Они меняют соотношение сил в браке и семье. Разумеется, это сопровождается и новым принуждением со стороны наемного труда. Но даже с этим смиряются перед лицом угрозы расторжения в домашней работе. «Собственные» деньги обнаруживают свою социальную взрывную силу именно там, где они, при условии их общественной значимости, избавляют женщину от почти феодального подчинения в семье и браке. Качество социальных отношений, консервируемое благодаря этому подчинению, во многом определялось тем, что у женщин не было собственных денег. Об этом свидетельствуют многочисленные интервью с работающими женщинами, которые благодаря самостоятельно заработанным деньгам смогли ослабить свою зависимость от семейных и брачных отношений, а то и вообще впервые открыто высказать то, что они думают о собственном положении в семье.

Эта тенденция усиливается еще и потому, что вместе с уменьшением срока трудоспособности и увеличением доли участия женщин и матерей в оплачиваемом труде роковое и несокрушимое нежелание мужчины заниматься домашней работой превращается в событие политического значения. «Собственные деньги», благодаря которым женщине удастся избавиться от статуса «умеющей говорить кухонной мебели», в свою очередь побуждают ее к получению образования, к мобильности, к осознанию собственных интересов и тем самым определяют масштабы индивидуализационного сдвига и в семейных отношениях.

При традиционном распределении ролей можно было бы исходить из того, что профессиональная мобильность мужчины и семейная мобильность будут совпадать. На деле же связанное с рынком труда требование мобильности оказывается тем

ядом, который разъедает семью. В конечном счете в семейные отношения вбивается клин: или оба, в соответствии с требованиями рынка труда, полностью мобильны, и тогда им грозит судьба «разорванной семьи» (и детское отделение в железнодорожном экспрессе). Или же одна половина — известно, какая — остается и дальше «ограниченной в передвижении вследствие брачных отношений» со всеми вытекающими отсюда тяготами и обидами. Именно здесь можно увидеть, как последовательное развитие индустриального общества

разрушает или даже уничтожает его собственную жизненную основу — в нашем случае «супружеское» неравенство полов в малой семье.

Образование

Относительно

образования вырисовывается та же картина: стабильные классовые отношения вплоть до послевоенного развития, потом, с экспансией образования в 60-е и 70-е годы, резкие изменения, не только подъем общего образовательного уровня, но и заметные сдвиги в отношениях неравенства. На протяжении всего XIX века был только один, хотя и драматический, скачок в развитии: ликвидация неграмотности. А в остальном противоречия между крохотным «образованным» меньшинством и большинством «необразованных» оставались в значительной степени стабильными (с несущественными различиями между образованием на уровне народной школы и дополнительным профессиональным обучением в рабочей среде). Эффект «революции в образовании» отражается, например, в количественной утрате значения начальной, народной школы и возрастании роли таких форм обучения, которые обеспечивают дальнейшее получение образования. В то время как в 1950 году ровно 81 % девочек и 78 % мальчиков в возрасте тринадцати лет завершили свое образование, пройдя курс народной школы, в 1981-м эти показатели составили соответственно только 35 % и 42 %. Это означает, что за три десятилетия число тех, кто получил более высокое образование (закончил реальную школу, гимназию или общеобразовательную среднюю школу), у девочек почти утроилось, а у мальчиков

почти удвоилось.

Точно такие же результаты дают изменения и на другой стороне образовательной пирамиды, в высшей школе. Так, в ходе экспансии образования при абсолютно растущем уровне доля поступивших в высшие учебные заведения детей рабочих увеличилась в

несколько раз. В 1928 году их было 2,1 %, в 1951-м — 4 %, в 1967-м уже 9,2 % и, наконец, в 1981-м — 17,3 %. Одновременно учащиеся женщины почти сравнялись по количеству с мужчинами. В то время как в гимназическом образовании с середины 70-х годов девочки даже немного опередили мальчиков, доля поступивших в высшие учебные заведения особ женского пола составила в 1983 году ровно 43 % (в 1960-м только 25 %, в 1975-м уже 34 %). Отсюда ясно видно, что экспансия образования в значительной своей части была и экспансией образования для женщин. Во всяком случае, шаг в сторону расширения образования можно считать удавшимся. Это почти не поколебало «привязанность к своему дому» и не устранило неуверенность и неравенство в профессиональной интеграции. Возникает вопрос: каким образом эта открывшаяся из-за крайней неосторожности мужчин возможность

феминизации образования вообще могла осуществиться в 60-е годы (при отсутствии активного женского движения)?

В этом смысле массовое использование высшего образования — независимо от того, обещает ли оно профессиональную отдачу — обусловило

разрыв между поколениями послевоенной Германии, который широко и глубоко сказался на взаимоотношениях между полами, на отношении родителей к воспитанию, на политической культуре (новые социальные движения). Так был сделан еще один шаг в освобождении от классово-культурных связей и от зависимости, обусловленной средой происхождения. С

удлинением сроков школьного обучения традиционные ориентации, образ мыслей и стиль жизни ставятся под сомнение или вытесняются универсализацией условий обучения и учебы, содержания знаний и языковых форм. Образование — в зависимости от его сроков и содержания — содействует хотя бы минимальному процессу самоосмысления и самоосуществления. Сверх того, образование связано с

селекцией и потому требует индивидуальной карьерной ориентации, которая сохраняет свою действенность даже там, где «продвижение благодаря образованию» всего лишь иллюзия, а образование обесценивается и превращается в необходимое средство против падения уровня жизни (о том, что случилось в процессе экспансии образования, см. с. 223 слл. наст. изд.). В конце концов формализованный образовательный процесс можно закончить, только пройдя через «индивидуализирующее игольное ушко» экзаменов, контрольных работ и тестов, которые в свою очередь открывают выход к получению индивидуального свидетельства об образовании и к карьере на рынке труда.

Применительно к пролетарской классовой среде в том виде, в котором она существовала вплоть до 30-х годов с ее членением по принципу социал-демократического, католического, евангелического и прочих «мировоззрений», это означает разрыв в поступательном развитии, который постепенно дает о себе знать в смене поколений. Раньше вращение в рабочее движение было для отдельного человека преимущественно «естественным процессом», который строился на основе семейного опыта и отражавшейся в нем «классовой судьбы» и потом через посредство соседей, спортивных союзов и т. п. вплоть до производственной социализации

опять-таки предначертанным путем вливался в политические движения своего времени. Сегодня этот широкий конвейер обретения опыта и осуществления контроля в оформленной по классовым стандартам социальной среде во многих местах разорван, и отдельный человек, предоставленный самому себе, вынужден открывать элементы «классовой судьбы» в своей собственной жизни.

У женщин в связи с уравниванием в области образования возникла сложная ситуация. Путь вперед, к профессии, из-за стабильной массовой безработицы (и больших «резервов рационализации» на специфически женских рабочих местах) в той же мере затруднителен, как и путь назад — к браку и семье (не в последнюю очередь из-за растущего числа разводов). Возможно все — и невозможно ничего. Одни могут принимать одно решение, другие другое. Неравенство между мужчинами и женщинами

отныне проявляется с непреложной очевидностью. Предположим, многие женщины вытесняются с рынка труда обратно в семью. Тогда людям с (почти)

одинаковым уровнем образования придется работать в прежних

крайне неравных условиях и с прежней нагрузкой; зная об этом, они вынуждены терпеть данное очевидное противоречие, обращенное в сферу частной, личной жизни. Образование еще ничего не гарантирует. Равное образование вовсе не избавит мужчин и женщин от неравенства их положения в семье и на работе. Аргумент «они этого

не могут» давно известен. Они этого не могут, и им этого не позволят! Неравенство обрело личный, повседневный, нелегитимный, а потому

политический (в традиционном и частном смысле слова) характер. Феминизация образования уже изменила мир семьи и труда, потому что она заставила осознать неравенство и превратила его в несправедливость. Отныне всегда будут говорить: при равном образовании...

Круг замыкается. При сохраняющихся условиях неравенства фаза подъема в государстве

всеобщего благоденствия вызвала культурную эрозию и эволюцию условий жизни, которые в конечном счете привели к выявлению неравенства между мужчиной и женщиной. Такова динамика процесса индивидуализации, который при взаимодействии всех названных компонентов — излишка свободного времени, излишка денег, мобильности, образования и т. д. — стал интенсивно изменять структуры и разрушать жизненные взаимосвязи между классом

и семьей.

2. Индивидуализация и образование классов:

Карл Маркс и Макс Вебер

«Индивидуализация социального неравенства» — разве в связи с этим не все забыто, отринуту, проигнорировано — классовый характер, системность, массовое общество, переплетение капитала, идеологическая кажимость, отчуждение, антропологические константы и дифференциация социально-исторической действительности? Разве понятие индивидуализирующего процесса не означает преждевременной смерти идеологии, похоронного звона по ней?

Это побуждает к теоретическим уточнениям: чем отличаются эти явления от возникновения буржуазного индивидуализма в XVII и XIX веках? Буржуазная индивидуализация базировалась в основном на владении капиталом и развивала свою социальную и политическую идентичность в борьбе с господством феодального правопорядка. В ФРГ, напротив, заявляет о себе

«индивидуализация рынка труда»; как было показано, она проявляется в повышении уровня жизни, образования, мобильности и т. д. Почему и в каком, собственно, смысле произошла

индивидуализация рынка труда? Продажа рабочей силы считалась и считается многими до сих пор тем

моментом, который определяет противоречие между классами при капитализме. Почему и как движущая сила, приводившая к образованию классов, оборачивается теперь

индивидуализацией социальных классов?

Различие заключается в том новом, которое зарождается вместе с развитием ФРГ, — в усилиях государства, направленных на социальную и правовую интенсификацию наемного труда в обществе благоденствия. Это же в типичных условиях XIX и первой половины XX века вызывало к жизни прямо противоположные тенденции. Сегодня люди под давлением нужды и переживаемого ими отчуждения труда уже не сбиваются в пролетарских кварталах нищеты в социально-политические «классы», как это было в XIX веке. Наоборот, благодаря завоеванным правам они, скорее, освобождаются от классовых взаимосвязей и при добывании средств к существованию в значительной мере оказываются предоставленными самим себе. В обществе всеобщего благоденствия расширение сферы наемного труда оборачивается

индивидуализацией социальных классов. Такое развитие не было подарком милосердных самаритян-капиталистов обнищавшему рабочему классу. Оно завоевано, оно продукт борьбы и в этом качестве выражение силы рабочего движения, которое, однако,

благодаря своим успехам изменило собственные условия жизни. Это было претворением в

жизни определенных (и существенных) целей рабочего движения, которое изменило предпосылки своего успеха и, вероятно, нанесло им урон по меньшей мере как базе «рабочего» движения.

Карл Маркс: «обособленный одиночка»

Именно Маркса можно без особого насилия над ним рассматривать как одного из самых решительных «теоретиков индивидуализации», который, однако, раньше времени отказался от своей аргументации в пользу этого явления, хотя его аргументы в тогдашней историке-политической перспективе были весьма последовательными. Во многих местах своих произведений Маркс неизменно утверждал, что распространение современного индустриального капитализма вызовет невиданный в истории

процесс освобождения. Освобождение от феодальных взаимосвязей и зависимостей есть не только предпосылка дальнейшего утверждения капиталистических производственных отношений. В капитализме люди

тоже раз за разом освобождаются от традиционных семейных, соседских, профессиональных и культурных связей; их жизненные пути все более запутываются.

Однако намеченный здесь вариант развития общества, вступившего на путь индивидуализации, Маркс не стал исследовать дальше. Для него этот перманентный процесс обособления и освобождения в системе капитализма всякий раз заканчивается

коллективным опытом обнищания и вызванной им

динамикой классовой борьбы. Если я не ошибаюсь, Маркс приводил следующие рассуждения: именно потому, что процесс освобождения протекает как массовое явление и сопряжен с постоянным ухудшением положения рабочих при капитализме, процесс этот ведет не к раздроблению, а к солидарности и к организационному объединению рабочего класса. Таким образом, через коллективное переживание обнищания в рабочее время и вне его разобщение преодолевается: «класс в себе» преобразуется в «класс для себя». Вытекающий из его же собственных аргументов вопрос, каким образом при переплетении жизненных путей, которое постоянно происходит при капитализме, возможно образование стабильных солидарных связей, для Маркса не существует, так как он все время растворяет процессы индивидуализации в процессах образования классов на базе совместно переживаемого обнищания и отчуждения труда. По-видимому, по сей день на этой позиции продолжают стоять многие теоретики классового общества.

Теория индивидуализации поддается более точному определению в сопоставлении с аргументами Маркса. Процессы индивидуализации в том смысле, как мы их понимаем, набирают силу только тогда и в такой мере, когда и в какой

преодолеваются условия образования классов по причине обнищания и отчуждения, как это предсказал Маркс. Появление тенденции индивидуализации связано с

типовыми общественными условиями — социальными, экономическими, правовыми и политическими, — которые были созданы лишь в очень немногих странах и только на позднем этапе развития. Сюда, как уже было сказано, относятся общее экономическое процветание и связанная с этим занятость, расширение социальных гарантий, институционализация профсоюзного представительства интересов, экспансия образования, расширение сектора услуг и открывающиеся в связи с этим возможности передвижения,

сокращение рабочего времени и т. д.

Возьмем, к примеру,

право на труд . Само собой разумеется, с введением тарифной автономии «укрошенная» классовая борьба была закреплена в нем как коллективная программа действий. Отдельный человек может осуществлять эти действия по примеру больших групп, соизмеряя их с содержимым своего кошелька. Индивидуализации, следовательно, поставлены очевидные границы. В то же время вместе с правовым обеспечением интересов трудящихся возникли и многочисленные

индивидуальные права — на защиту от увольнения, на пособие по безработице, на переобучение и т. д., которые теперь отдельный человек должен осуществлять лично, путем бесконечного хождения на биржу труда или, если возникает необходимость, в судебные инстанции. Рабочее движение благодаря приданию ему правового статуса было, так сказать,

переведено с улицы в коридоры учреждений осуществляется в них методом бесконечного ожидания, сидения, сочинения запросов, консультаций с частично компетентными или вовсе некомпетентными чиновниками, которые преобразуют прежнюю «классовую судьбу» в индивидуализирующие правовые категории «частного случая».

Отсюда следуют два вывода. С одной стороны, говоря упрощенно, вместе с осуществлением наемного труда в условиях государства благоденствия

происходит распад традиционного классового общества. В самом деле, и в ФРГ растет привлечение людей (женщин, молодежи) к наемному труду. Так, в период с 1950 по 1976 год доля мелких предпринимателей понизилась с 14,5 до 9 %, в то время как доля работающих по найму выросла за этот же период с 71 до 86 %. Вовлечение людей в рынок труда осуществляется, однако, в заданных условиях как

обобщение индивидуализации, во всяком случае —

пока . С другой стороны, такая ликвидация классов связана с определенными типичными условиями и может быть в свою очередь аннулирована вместе с изменением этих условий. То, что индивидуализировало классы вчера и делает это сегодня, завтра или послезавтра в других условиях, например при резко обострившемся неравенстве (массовая безработица, автоматизация предприятий), может обернуться новыми, понимаемыми уже не в традиционном смысле, опирающимися на достигнутый уровень индивидуализации «процессами

образования классов». «Капитализм

без классов» означает: без сложившихся на базе сословий и сохранявшихся в XIX и XX веках классов, в том числе и

без «рабочего класса»; но это, в свою очередь, означает, что не исключена возможность появления новых,

нетрадиционных процессов образования «классов», не признающих социальных границ и протекающих в условиях систематически обостряющегося кризиса на рынке труда. Воистину, третьего никогда не следует исключать.

Макс Вебер: социальная среда, сложившаяся под влиянием рынка

Самим временем, в которое жил Макс Вебер, он, как никто другой, был предназначен для того, чтобы осмыслить начавшееся в пору модерна освобождение людей от традиционных форм жизни во всем его эпохальном значении. Центральной проблемой на пороге XX века для него был разрыв с традиционным миром религиозных связей, в котором еще были сплавлены в единое целое посюсторонние и потусторонние силы. Он видел, что с утратой освященной церковью потусторонности этот мир погрузился в нескончаемый усердный труд. В отторгнутости от Бога, загадочности, обезбоженности своего существования люди оказались перед лицом бесконечного одиночества, предоставленными самим себе. Им остался только один предначертанный религией путь — снова постичь скрывшегося от них непостижимого Бога. Им нужно было возродить в себе то, что они утратили, побороть обнажившуюся неопределенность созданием уверенности на земле. Им нужно было осмыслить мир, преобразовать его, лишить «таинственности», «модернизировать», активным использованием заложенных в человеке сил освободить скрытые сокровища этого мира, аккумулировать их в виде капитала, чтобы найти в этом покоренном, присвоенном ими мире защиту от своей богооставленности. Осуществление этой попытки он видел в неустанной активности индустриального капитализма XIX и XX веков, который благодаря превосходству в области производительности преобразовывал все унаследованное, традиционное, снимая с него флер загадочности. Признание самостоятельности прогресса, его ничем не сдерживаемого развития поверх голов тех, кто его создал, есть не что иное, как превратившаяся в систему попытка положить на земную чашу весов как можно больше созданной людьми, рационально испытанной, материализованной уверенности, чтобы уравновесить пустоту другой чаши, компенсировать то, что было навсегда утрачено вместе со знанием о тщете всяких усилий.

Макс Вебер был аналитиком и критиком модерна, приход и совершенствование которого он предвидел. Он и модерн поставил на рельсы индустриального общества. На этих рельсах модерну по силам любые преобразования. Однако сами рельсы, т. е. господство бюрократической рациональности, профессиональная этика, семья, меняющееся разнообразие классов, остаются не затронутыми динамикой преобразований. В этом отношении он мыслил модерн в формах и структурах индустриального общества, которые возникали или утверждали себя на его глазах. Заложенная в его трудах мысль о возможности

саморефлексии модерна, в котором современные феллахи современного всемирного Египта потряхнут с себя наросшую скорлупу зависимости, возникшую в результате их собственной деятельности, или хотя бы ослабят ее давление, мелькает разве что в позднейших дополнениях. То, что люди, как и на исходе средневековья, когда они вырвались из цепких уз церкви и оказались жертвами чрезмерного усердия индустриального капитализма, в ходе дальнейшего поворота этого же движения освободятся от форм и связей индустриального общества и будут снова отброшены к формам постиндустриального одиночества, содержится в его книгах на уровне мысли, но нигде четко не сформулировано.

Веберу ясна неутомимость динамики обновления. Но в производимых на свет формах исчисляемости она и сама остается исчисляемой. Она не содействует обновлению обновления; не обновляет то, что считается «исчисляемым». Применительно к сфере социального неравенства это означает, что Макс Вебер, в отличие от Маркса, видит многообразную дифференциацию социальной структуры. Его тонкие понятийные определения отражают надвигающийся плюрализм и пытаются осмыслить его категориально. Но верна и противоположная мысль. Тенденции парцеллирования в его понимании растворялись в

непрерывности и значимости сословных традиций и субкультур. В системе индустриального капиталистического общества они сливались с властными полномочиями и рыночными шансами, превращаясь в неразличимые на деле «социальные классовые ситуации».

Тем самым у Макса Вебера уже заложено то, что в конце 60-х годов было детально продемонстрировано вдохновленными марксистской общественной теорией историками рабочего движения, а именно что мирские нормы, ценностные ориентации и стили жизни, характерные для развивающегося индустриального капитализма, по своему происхождению в меньшей мере продукт индустриального образования классов (в марксистском смысле). Они, скорее,

реликт докапиталистических, (индустриальных традиций. «Капитализм как культура» в этом плане не столько самостоятельное явление, сколько «позднесословная» культура, которая была «модернизирована» и «потреблена» системой индустриального капитализма. «Демистификация» системы не распространяется на саму эту культуру, а остается демистификацией несовременных, традиционных стилей жизни и форм общения, которые постоянно обновляются, сохраняются и служат пищей для демистификации, лишения таинственности стилей и форм жизни в бесконечном процессе их свершения. Многообразные формы проявления индивидуализации все время улавливаются и сдерживаются регенерирующими тенденциями индустриального общества в образе сословно окрашенных социальных классов, сохраняющихся благодаря существованию рынка.

И в самом деле еще в первой половине нашего века многие симптомы говорили

в пользу веберовской интерпретации социальной структуры: несмотря на все потрясения, непрерывность «социально-моральной среды» и традиционных стилей и ориентиров жизни в первой половине XX века остается в значительной степени стабильной. То же можно сказать и о действенности, сложившейся на сословной основе межгенеративных барьеров мобильности и связанного с этим специфического «коллективного опыта», гомогенности контактных сетей, отношений между соседями, кругом выбора супруги или супруга и т. д.

Все это относится к развитию до 50-х годов, но

не имеет отношения к последующему развитию вплоть до наших дней. С этого момента сложное, неустойчивое единство сословно оформленных, «опосредованных рынком общностей», которые Макс Вебер обобщил в понятии «социальные классы», начинает распадаться. Его элементы — изменившееся благодаря специфическим рыночным отношениям материальное положение, действенность «поздне-сословных» стилей жизни, а также живое осознание этого единства в коллективах и контактных сетях — благодаря растущей зависимости от образования, неизбежной и возможной мобильности, расширению конкурентных отношений и т. д. аннулируются или изменяются до неузнаваемости.

Традиционная внутренняя дифференциация и «социально-моральная среда», типичные для рабочего класса кайзеровской Германии и Веймарской республики, с 50-х годов постепенно сходят на нет (в том случае, если они не были целенаправленно уничтожены еще в годы нацизма). Различия между индустриальными рабочими города и жителями деревни были устранены (возьмем, к примеру, все еще широко распространенный смешанный «промышленно-крестьянский» способ жизни). Параллельно с начавшейся реформой образования повсюду возрастает зависимость от образовательного уровня. Все новые группы втягиваются в образовательный процесс. В ходе этой растущей зависимости от образования возникают новые

внутренние дифференциации, которые хотя и продолжают старые, традиционные, определяемые средой, но значительно отличаются от них своей обусловленностью уровнем образования. Так складываются новые социальные «внутренние иерархии», значение которых для образа жизни и перспектив людей все еще по-настоящему не осмыслено, поскольку они не затрагивают границ, определяющих интересы крупных групп населения, или перешагивают через эти границы.

Это развитие не останавливается перед преградами, разделяющими социальные классы, а идет дальше, проникает в личную и семейную жизнь. В то же время традиционные жилищные условия и структуры поведения все больше и больше заменяются новыми «урбанистическими» поселками городского типа. Место охватывающих семейные кланы, в значительной мере ориентированных на коммунальные формы жизни поселений занимают современные поселки по типу больших или малых городов с их смешанным социальным составом и сильно ослабленными связями между соседями и знакомыми. Прежние связи между соседями рвутся, возникающие социальные отношения и контактные сети образуются по

индивидуальному выбору и в таком виде продолжают существовать. Это может означать отсутствие связей, социальную изоляцию, но также и другое: самостоятельно выбранные и выстроенные

системы отношений с соседями, знакомыми и друзьями. В переходный период от одного поколения к другому могут возникать и новые формы расселения,

новый поворот к соседству по коммунальному типу с открывающимися шансами испытать новые возможности социального общежития.

В периоды относительного социального спокойствия и «отказа от традиций» открывается многослойное и многоликое историческое

пространство для изменений в сфере частной жизни. Сюда относится и резкий переход жизненных притязаний в сферу политики, так сказать, новый феномен

«политического приватизма». А это означает внутренне последовательное, внешне безнравственное расширение исторически возникающих сфер частной жизни за пределы содержащихся в них социальных и правовых ограничений и опробование новых социальных отношений и форм жизни на наличие в них нервных узлов «разрешенного и запрещенного» со всеми вытекающими отсюда эффектами (политического) раскачивания вплоть до деления на культуру и антикультуру, на общество и «альтернативное общество». Волнообразные проявления этого деления мы наблюдаем последние двадцать лет.

Только в 80-е годы на фоне экспансии образования и постоянной массовой безработицы стали заметные новые тенденции в духе Макса Вебера: ввиду превышения предложения над спросом и сокращения количества рабочих мест происходит

парадоксальное понижение и повышение ценности свидетельства об образовании. Без документа об образовании шансы получить работу на рынке труда сводятся к нулю. С документом можно получить право на участие в конкурсе, но не само рабочее место. С одной стороны, документа об образовании все чаще оказывается

недостаточно, чтобы обеспечить профессиональное существование, в этом смысле его ценность снижена. С другой стороны, он

все более необходим для участия в конкурсе на получение рабочего места, и в этом смысле ценность его повышена. Если в начале существования ФРГ был отмечен

коллективный подъем, то в 80-е годы можно говорить о

коллективном спаде: те же самые документы (свидетельство о среднем или профессиональном образовании, диплом высшей школы), которые вплоть до 70-х годов давали их владельцам шанс преуспеть на рынке труда, теперь не дают гарантии на получение рабочего места, хотя бы обеспечивающего прожиточный минимум. Этот «эффект лифта», идущего вниз, придает новое значение прежним, «сословным» критериям выбора.

Получения образования уже недостаточно; требуется «умение держаться», «связи», «способность к языкам», «лояльность», т. е. выходящие за пределы функциональной необходимости критерии принадлежности к «социальным кругам», которые экспансия образования должна была бы преодолеть (см. с. 229 наст. изд.).

И все же в годы послевоенного развития в ФРГ получила выход социально-структурная динамика, которая не может быть в достаточной мере понята ни в традиции «образования классов» Карла Маркса, ни в заложенной Максом Вебером традиции образования сословно-рыночных ассоциаций внутри социальных классов. Две большие «плотины», призванные, по Марксу и Веберу, сдерживать в развитом рыночном обществе тенденции распада классов и обособления людей — образование классов по причине обнищания и возникновение объединений по сословному признаку, — не выдерживают напора развития в «обществе благоденствия». Отсюда вывод: мышление и исследование в традиционных категориях больших общественных групп — сословий, классов и социальных слоев — становится проблематичным.

3. Конец традиционного общества больших социальных групп?

В понятии классов и социальных слоев странным образом переплетаются описание и прогноз, теория и политика. Это придает выбору понятий скрытый драматизм, который трудно держать под контролем с помощью эмпирических и теоретических ссылок. Если мы ставим под сомнение реальное социальное содержание парадигмы деления на классы

и слои, то в основе этого лежит определенное понимание ситуации. О «классах» мы говорим применительно к XIX и началу XX века, т. е. применительно к историческому опыту, которому это понятие обязано своим социальным и политическим содержанием.

В центре наших рассуждений — сословная структура и социальное (само восприятие классов в смысле проявления в их жизни и действиях взаимосвязанности больших социальных групп, которые, образуя круг контактов, взаимной помощи и брачных отношений, защищают себя от воздействия извне и в процессе взаимной идентификации с другими крупными группами постоянно ищут и определяют свою осознанную, жизненно важную специфику. Таким образом, имеется в виду классовое понятие, центральный признак которого состоит в том, что в принципе им нельзя пользоваться только как научным понятием, направленным

против самоопределения общества. Напротив, подразумевается такое состояние, в котором о классах можно говорить только в плане научного

и социального

удвоения. Общество самоопределяется и делит себя на классы, социологическое понятие принимает это деление к сведению, отражает его в себе, критикует содержащиеся в нем предположения. Это ни в коем случае не может и не должно быть конгруэнтным. Там же, где понятие класса само утрачивает свою социальную идентичность, оно оказывается в полном

одиночестве. Ему приходится нести бремя имплицитно приписываемого содержания в одиночку, даже

вопреки той реальности, к которой оно имеет отношение. Более того, посредством перевыполнения теоретического задания на абстрактном уровне оно к тому же должно регулярно воспроизводить свое собственное содержание. Чрезвычайно трудная для понятия задача — призывать ускользнувшую от него действительность вернуться назад. Это

означает, что общество, которое больше не функционирует в социально различных классовых категориях, находится в поиске иной социальной структуры и не может безнаказанно, ценой опасной утраты действительности и релевантности, снова и снова насильно отбрасываться в категорию класса.

Понятие расслоения в этом смысле есть

либерализированное классовое понятие

в час расставания, есть переходное понятие, у которого классовая социальная реальность ускользает из рук, но которое пока не осмеливается признаться в собственной беспомощности и позволяет делать с собой то, что очень любят делать ученые, когда становятся беспомощными, — чистить свои инструменты. Ну разве не смешно! Действительность Должна приспосабливаться к понятию! Понятия делают округлее, мягче, открытое для всего того, чего они больше не в состоянии охватить, но что, без сомнения, имеет к ним отношение. Аморфная масса с первоклассной операционной оснащенностью — это и есть «современное» понятие расслоения. В нем видно огромное количество данных, которые оно так или иначе — как «верхний слой нижней прослойки» или как «нижний слой средней прослойки» — должно переработать и вместить в себя при постоянном расширении связей с реальностью. Такое не может не впечатлять! Тут уж остается только одно: отделить данные от реальной действительности.

Как-нибудь их рассортировать. И назвать новыми «слоями». Охранную грамоту на это дает официальная наука, которая во все времена умела подолгу обсасывать свои проблемы. Здесь в роли такой грамоты выступает

классификация. Последний шаг из класса через слои в действительную ирреальность «чистой» классификации, которая еще содержит в себе понятие «класса», но которая позволяет науке распоряжаться ею по собственному усмотрению. Классификации по приговору суда научной теории не могут быть в собственном деле ни истинными, ни ложными.

«Слои», — следовательно, суть не определившаяся переходная стадия между классом и классификацией. Это в конечном счете всего лишь классификации, с еще не вытравленной претензией на охват действительности извне, но уже сами отказавшиеся понять ее изнутри. Действительность, которую потеряли лежащие в основе классификации категории, необходимо снова обрести с помощью огромной массы данных. Масса создает действительность (масса в массовом обществе имеет вес). Второй сетью перехвата служат оперативные анализы. Совершенствуя их, пытаются, так сказать, «вторично залатать» ирреальность категорий расслоения...

На это всегда можно возразить, что фундамент мышления в категориях классов и слоев в результате развития ФРГ

не был разрушен. Разница между большими группами населения в своих существенных измерениях сохранилась; остается в силе и происхождение как важный фактор при распределении социальных шансов. Для публичной и научной дискуссии о социально-структурном развитии ФРГ характерно это колебание между

постоянством отношений социального неравенства и сдвигами в его уровне. Уже в 60-е годы это привело к контрверзам относительно

«обуржуазивания рабочего класса» или к полемике по поводу «уравнивания среднего сословия», образование которого Гельмут Шельски обнаружил в ФРГ. Для размежевания с этими концепциями и контрверзами можно еще точнее изложить тезис об индивидуализации социального неравенства.

Мышление в категориях больших социальных групп — классов или слоев — сталкивается с особыми трудностями при осмыслении «эффекта лифта» в развитии ФРГ. С одной стороны, необходимо принимать во внимание общие изменения в уровне жизни целой эпохи. С другой стороны, в рамках указанного мышления это удастся лишь тогда, когда изменения соотносятся с моделью жизни большой социальной группы и затем интерпретируются как тенденция к

выравниванию условий жизни одного класса с другим. Однако это противоречит постоянству отношений. Как может рабочий класс приблизиться к уровню жизни буржуазии, если статистика утверждает прямо противоположное: различия между рабочими и буржуазией остались прежними, а в некоторых отношениях даже возросли. Исторический перелом, правда,

определенным образом изменил положение народа, но явно не применительно к «классам» или слоям: старые различия снова восстанавливаются на новом уровне.

Мышление в категориях классов и слоев стягивает воедино то, что тезис об индивидуализации социального неравенства разъединяет: вопрос о

различиях между соподчиненными большими группами как аспект отношения социального неравенства, с одной стороны, и вопрос о

классовом характере социальной структуры, с другой. В соответствии с этим легко сделать ложный шаг и в неизменности соотношения увидеть неизменность социальных классов и слоев (или наоборот: интерпретировать повышение уровня жизни как сближение между классами). В противоположность этому мы полагаем, что соотношение социального неравенства и его социальный классовый характер могут изменяться независимо друг от друга: при неизменных различиях в доходах и т. д. в ходе процессов индивидуализации социальные классы оказываются вырванными из традиции или аннулированными. И наоборот: ликвидация социальных классов (слоев) может в иных условиях (например, при массовой безработице) вызвать

обострение социального неравенства. Этот «эффект лифта», идущего

вниз, начиная с 80-х годов приобретает все большее значение.

4. Индивидуализация, массовая безработица и новая бедность

Разве «конец общества больших групп» еще вчера ничего не значил и ничего не значит сегодня? Разве с распространением массовой безработицы и новой бедности мы не переживаем на собственном опыте будущее классового общества,

после того как был провозглашен его конец?

В самом деле, массовая безработица снова нарастает в пугающих масштабах. Цифры Федерального статистического управления показывают, что уже с 1975 года, а еще яснее в 80-е годы доходы мелких предпринимателей и предприятий (особенно в электронной промышленности будущего) резко пошли вверх. Доходы чиновников, служащих, рабочих и пенсионеров, сохраняя между собой определенные различия, движутся параллельно со средними показателями. Снижаются доходы тех, кто получает пособие по безработице или единовременную социальную помощь. При всем многообразии вариантов подсчета различаются два направления в получении доходов: общее расхождение между мелкими и

крупными предпринимателями, с одной стороны, и наемными работниками всех категорий, с другой. Это происходит с одновременной защитой части населения, которое прочно интегрировано в сокращающийся в целом рынок труда, и растущего уже больше не меньшинства, которое обретается в опасной зоне неполной занятости, занятости на короткое время и продолжительной безработицы и существует за счет час от часу скудеющих общественных средств или перебивается «неформальной» работой (надомным трудом, работой «по-черному»). Данные по этой последней группе, живущей социальной помощью и на грани нищеты, сильно расходятся (иначе и быть не может по причине условий обеспечения). Они колеблются от двух до более чем

пяти миллионов человек. К тому же эта группа постоянно растет, как показывает подскочившее на треть число безработных (2,2 миллиона осенью 1985 года), которые вообще не получают пособия по безработице. Значение «альтернативных» трудовых взаимосвязей, вопреки громкому публицистическому резонансу, дает в плане занятости не очень высокий количественный показатель. При подсчетах исходят из того, что в ФРГ имеется в общей сложности около 30 000 активных групп, в которых занято от 300 до 600 тысяч человек (преимущественно молодых людей). Индивидуализация не противоречит своеобычности этой «новой бедности», а

объясняет ее. Массовая безработица в условиях индивидуализации обрушивается на человека как личная судьба. Она поражает людей не в социально видимой форме, как членов коллектива, а в специфические периоды их жизни. Жертвы безработицы должны в одиночку выносить то, для чего в привычных к бедности, сложившихся на классовой основе условиях жизни существуют и передаются по наследству компенсационные противодействия, формы защиты и поддержки. Коллективная судьба свободных от классовой принадлежности, индивидуализированных жизненных ситуаций стала

личной судьбой, судьбой

отдельного человека со статистически фиксируемым, но не воспринимаемым в жизни социальным измерением, и только потом, после дробления на личные уделы, должна сложиться в новую коллективную судьбу. Пораженная безработицей и нищетой общественная единица уже не группа, не класс и не слой, а порожденный рынком и существующий в специфических условиях

индивид. Полным ходом идет деление нашего общества на убывающее большинство обладателей рабочих мест и растущее меньшинство безработных, преждевременно вышедших на пенсию, перебивающихся случайными заработками и тех, кому уже вообще вряд ли удастся найти доступ к рынку труда. Это хорошо видно на примере структуризации безработицы и растущих опасных зон между зарегистрированной и незарегистрированной безработицей

Доля тех, кто продолжительное время остается без работы, постоянно растет. В 1983 году был 21 %, а в 1984-м даже 28 % безработных, больше года не имевших работы, и ровно 10 % тех, кто оставался без работы более двух лет. Это проявляется также и в резком перераспределении между теми, кто получает пособие по безработице единовременную социальную помощь. Еще десять лет назад из 76 % безработных, получавших выплаты от государства, 61 % составляли получатели пособий и 15 % получатели социальной помощи. В 1985 году это соотношение драматически ухудшилось. Только 65 % зарегистрированных безработных получают поддержку от государства, из них только 38 % получают пособие и теперь уже только 27 % — страховку по безработице.

Несмотря на широкий разброс, безработица

концентрируется в группах населения, и без того находящихся в невыгодных условиях. Риск

остаться без работы повышается для людей с низкой квалификацией или вообще не имеющих профессионального образования, для женщин, пожилых иностранных рабочих, а также для лиц, страдающих разного рода заболеваниями, и для молодежи. Ключевую роль при этом играет

продолжительность занятости на предприятии. Этим объясняется высокий уровень безработицы среди молодежи. Еще сильнее, чем продолжительность рабочего дня, риск снова остаться без работы повышают частая смена места работы и особенно

предшествующая безработица. И наоборот, в сложившихся условиях на рынке труда высокие шансы снова получить работу имеют «молодые квалифицированные рабочие, уволенные по личным, а не по производственным мотивам».

Одновременно

растут серые зоны незарегистрированной безработицы. Это видно на примере скачкообразно растущего числа лиц, которые после потери рабочего места:

а) вытесняются в «тихий резерв» (1971 — 31 000, 1982 — 322 000);

б) временно становятся участниками мероприятий по дальнейшему обучению, переучиванию и подготовке кадров (1970 — 8 000, 1982 — 130 000);

в) уходят в «другие сферы деятельности, не приносящие дохода», большей частью в работу (женскую) по домашнему хозяйству (1970 — 6 000, 1982 — 121 000);

г) «экспортируются» за границу (1970—6000, 1982 — 171000).

Эта четкая и постоянно ужесточающаяся

социальная структуризация безработицы сопровождается ее

широким разбросом, который давно уже объективно снял с нее печать «классового опыта» и превратил в «норму».

Постоянному числу безработных (их число превышает два миллиона)

противостоит значительно большее число затронутых безработицей. Так, с 1974 по 1983 год ровно 12,5 миллионов человек один или несколько раз лишались работы. Иными словами, каждый третий трудоспособный по меньшей мере один раз за это время испытал на себе, что значит быть безработным.

Ни одна квалификационная или профессиональная группа

не дает гарантий от безработицы. Призрак безработицы угнездился даже там, где его трудно было бы представить. По данным Федерального ведомства занятости, безработица среди квалифицированных рабочих тоже возросла (1970 — 108 000, 1985 — 386 000), так же как среди инженеров (машиностроение, автомобилестроение, электропромышленность и т. д.: 1980 — 7 600, 1985 — 20 900) или врачей (1980 — 1 434, 1985 — 4 119).

Однако это не следует понимать так, будто все затронуты безработицей

в одинаковой мере. Несмотря на специфическое распределение по группам в тот же период времени

две трети трудоспособных

ни разу не лишались работы. Из 33 миллионов работающих теряли работу «только» 12,5

миллионов человек — а это значит, что каждый пострадавший был безработным в среднем 1,6 раза.

Особая примета массовой безработицы — ее

двузначность : с одной стороны, риск остаться без работы грозит

и без того ущемленным группам населения (трудоспособные женщины, матери, лица без профессии, молодые рабочие низкой квалификации). Их растущее число статистикой не регистрируется. Этим факторам риска — как бы настойчиво ни выражался в них признак социального происхождения —

все же не соответствуют никакие социальные обстоятельства жизни , часто не соответствует и «культура бедности». Безработица здесь (и следующая за ней бедность) все больше и больше совпадает с лишенной классовых примет

индивидуализацией . С другой стороны, неменяющееся количество безработных, которое вот уже много лет значительно превышает два миллиона и имеет стабильную перспективу вплоть до 90-х годов, создает обманчивое впечатление, что безработица не роковая неизбежность. Она входит в жизнь незаметно и на время, приходит и снова уходит, чтобы когда-нибудь прийти и осесть, угнездиться в душе человека тяжестью неодолимого

разочарования.

Эту ситуацию образно описал Шумпетер: автобус массовой безработицы заняла группа постоянных безработных, они оккупировали сидячие места. Другие пассажиры все время входят и выходят. Одни входят, другие выходят. В этом движении при наблюдении извне, например с высоты птичьего полета, из сопровождающего автобус вертолета, можно выделить некоторые особенности и соответствующие группы. Непосредственные участники видят собравшуюся на некоторое время вместе толпу одиночек, ждущих, когда им выходить. Это как в метро. Проезжаешь несколько остановок и снова выходишь на поверхность. Садясь в вагон, уже думаешь, где будешь выходить. Люди ведут себя скованно. Желание выйти, которое каждый несет в себе, и история о том, как он сюда попал, не располагают к общению. И только ночью, когда поезд стоит, те, что в толчее не сумели пробраться к автоматически закрывающимся дверям и выйти (это те самые, что, как неутешительным тоном сообщает наблюдатель, просто «статистически» не могут этого сделать по причине своей высокой численности), начинают с осторожно протянутыми сквозь решетки самообвинений руками сближаться друг с другом и разговаривать.

Подавляющее большинство безработных пока еще в собственных глазах и в глазах окружения остается в

серой зоне потери рабочего места и его нового обретения . Классовая судьба расщепилась на свои самые малые составляющие — на

«преходящие периоды жизни» . Она дырявит, разрывает на фрагменты биографии, возникает то тут, то там, нарушает границы, которые прежде были для нее священными, снова уходит и приходит, остается на продолжительное время, ожесточается, но в этом дроблении на «фазы жизни» становится почти нормальным промежуточным состоянием стандартной профессиональной биографии целого поколения, Массовая безработица в условиях индивидуализации ведет в соответствии с фазами жизни кочевое существование (с ощутимой тенденцией к обретению оседлости), при этом индивидуализация допускает возможность сосуществования противоречий: массовости

и обособленности «судьбы», чисел головокружительной высоты и постоянства, которые тем не менее каким-то образом искривляются, измельчаются, в своей жестокой неотвратимости

судьба как бы поворачивается внутрь себя, утаивает от одиночки, что она настигает многие миллионы, и заставляет его страдать от чувства собственной неполноценности.

Применительно к статистике безработицы это значит, что зарегистрированные на бирже труда

случаи безработицы не позволяют

судить об отдельных лицах. С одной стороны, временной безработицей может быть затронуто значительно большее количество людей, чем отражено в постоянстве чисел. С другой — одни и те же лица могут через некоторое время многократно заявлять о потере рабочего места. Возвращаясь к примеру с метро, можно сказать, что количество сидячих и стоячих мест не совпадает с количеством входящих и выходящих пассажиров. Однако при входе и выходе нередко выстраиваются одни и те же давно знакомые лица, так что подсчет потоков еще ничего не говорит о количестве пострадавших от безработицы:

случаи регулярной и случайной потери рабочего места при распределении в соответствии со специфическими фазами жизни не совпадают. Соответственно высок и эффект массового распространения. Безработица, распределенная по отдельным судьбам, уже не является судьбой классов или маргинальных групп, это обобщенная судьба, ставшая нормой жизни.

Специфическое распределение по фазам жизни характерно и для

новой бедности. Становится понятной двусмысленность, с которой бедность распространяется, усугубляется, но применительно к частной жизни каждого остается скрытой. При этом временное лишение работы оказывается отнюдь не временным, для все большего числа людей оно становится постоянным, но вначале

воспринимается как временное явление. Особенно сильно бедность угрожает

женщинам. Причем не по недостатку образования или особенностям происхождения. Решающим фактором, скорее, выступает

развод, который отбрасывает их — особенно женщин с детьми — за черту прожиточного минимума. Но и в этом случае многие живут не так, как диктуют стереотипы жизни низших слоев населения. Бедность они нередко воспринимают как

временное явление. Им кажется (нередко так оно и бывает), что стоит только выйти замуж — и с бедностью будет покончено. Но если это не удастся, тем беспощаднее к ним бедность, так как им неведомы возможности культуры, позволяющей жить в нищете и скрывать ее.

Быть бедным в ФРГ — просто скандал, поэтому нищету старательно скрывают. Неизвестно, что хуже — признаться в бедности или скрыть ее, получать помощь от государства или продолжать терпеть лишения. Цифры — вот они, перед нами. Но неизвестно, где скрывающиеся за ними люди. Остаются следы. Отключенный телефон. Неожиданный выход из клуба. Но все это говорит о чем-то на первый взгляд временном; новая бедность хочет казаться временной даже там, где она обосновалась окончательно.

Это развитие настолько обоюдоострое, что о нем можно говорить только в двояком смысле, каждый раз добавляя к сказанному нечто противоположное. Скандалная ситуация с постоянной массовой безработицей, поразившей на длительное время более двух миллионов человек, таким образом теряет свою остроту. Массовая безработица, разложенная на (вроде бы) преходящие фазы жизни, загоняется в рамки нормы. Безработица большой группы населения распадается по индивидуальным «случаям» и не вызывает политических протестов. Она напоминает «выдохшийся порох», взрывная сила которого тем не менее сохранилась и может неожиданно вырваться наружу.

В условиях скандальной массовой безработицы такая форма распределения имеет и свои смягчающие моменты. Там, где безработица и впрямь остается временным явлением, она, будучи распределенной среди множества лиц, не обрушивается со всей жестокостью на один класс, а определенным образом демократизируется. Даже «те наверху» от нее теперь не застрахованы. Необходимо еще раз подчеркнуть, что в этом кроется опасность, связывающая и парализующая политические силы. Иначе говоря, в этой частичной демократизации массовой безработицы кроется и частичное

перераспределение бедности, выравнивание шансов сверху

вниз.

Этому соответствует определенный биографический образчик распределения. То, что раньше было групповой судьбой, сегодня — с многими оговорками — распределяется, так сказать, по

биографическому принципу. Говоря упрощенно, противоречия социального неравенства всплывают как противоречия между разными этапами

одной биографии. Утрируя наблюдаемую тенденцию, можно утверждать, что индивидуализация делает биографии людей разностороннее, антагонистичнее, уязвимее, неопределеннее, беззащитнее перед лицом катастроф, но и ярче, многообразнее, противоречивее — вплоть до факта, что все большее количество населения, по крайней мере «временно», бывает подвержено безработице (и нищете).

Обратная сторона временного проявления безработицы —

превращение внешних причин во внутреннюю вину, в системную проблему личной несостоятельности. Преходящая безработица, которая после многих попыток ее преодоления превращается в долговременную и непреходящую, — это

крестный путь самопознания. В постоянном исключении возможного безработица как нечто внешнее шаг за шагом внедряется в человека, становится свойством его характера. Новая бедность — это прежде всего материальная проблема, но не только. Она в то же время и безропотно принимаемое саморазрушение личности, которое протекает в тщетных ритуальных попытках уклониться от неизбежного; если присмотреться, массовая судьба полнится такими саморазрушениями.

Данная взаимосвязь, вероятно, смягчается знанием причин и статистических данных о массовом характере безработицы, но на деле не вскрывается. Ссылка на «общественную обусловленность» остается ссылкой, не находящей соответствия в обстоятельствах жизни.

Цифры и жизнь дрейфуют в разные стороны. Случаи — это еще не люди. Цифры говорят о жизни, которую они уже не могут интерпретировать применительно к определенному месту. Цифры указывают на

потерянную уверенность в завтрашнем дне, на распространение нищеты, но не сводят факты воедино, не выводят их из изоляции. Они напоминают фиксацию следов, оставленных коллективом одиночек. Тем самым они превращаются в абстрактный знаменатель, благодаря которому одиночки узнают о своем коллективе, точнее, могут услышать о нем. Цифры

подменяют социальную действительность, которая не в состоянии познать самое себя. Они — остаточная «оболочка классов», которые сохраняются благодаря абстрактной статистике. То, что кроется за цифрами, в процессе индивидуализации исчезает за оградой отдельного случая, и выманить это оттуда становится все труднее.

В конце концов попытки вырваться из клишеобразного деления ролей на «женские» и «мужские» и придать собственной жизни немного самоопределения даже создают фон, на котором опасность безработицы может превратиться в

шанс. То, что в XIX веке называлось «пролетаризацией», обретает

блеск социального продвижения в «другое общество». Возникающее новое социальное неравенство частично преломляется в ином социально-культурном горизонте ожидания, который уже не верит несокрушимо в самоочевидность ориентированной на жизненный статус и доход идеи подъема по социальной лестнице, лежащей в основе социального неравенства. Здесь конкурируют содержательные притязания на «смысл работы», на социальную пользу, на то, что называют «полнотой жизни», с ценностями экономической безопасности и представлениями о статусе. В крайнем случае в борьбе с «бездуховностью», ориентированной на доход и успех работы в промышленности или чиновничьем аппарате, можно даже использовать частицу осмысленного, одухотворенного труда, отвоєванного у превосходящих сил обстоятельств. Как результат в социокультурном сдвиге стилей и форм жизни и связанной с этим текучести масштабов неравенство несколько снижается. В конечном счете неясно, где больше отчуждения — в экономически и социально обеспеченном существовании или в ненадежной с экономической точки зрения борьбе за новые формы жизни. Именно этот культурный сдвиг и

расплывчатость масштабов распределения, служившие в прошедшие столетия оружием критики социального неравенства, стали теперь той завесой, за которой теряет четкие очертания даже обостряющееся неравенство и которая, поглощая сопротивление, в свою очередь способствует обострению этого неравенства.

5. Сценарии будущего развития

Что же, собственно, произойдет, если в ходе исторического развития жизненная идентичность социальных классов исчезнет

и одновременно обострятся социальные противоречия? Вот вопрос, который становится главным. Если связанные с наемным трудом риски будут распространяться не по моделям больших групп «пролетаризации», а делиться на маленькие, временные, а потом отнюдь не временные периоды безработицы, неполной занятости, бедности? Станет ли это

концом классов или

началом новой, нетрадиционной модели образования классов? Позволит ли состояние неравенства социальных структур в процессе индивидуализации вообще осмыслять себя в иерархической модели социального неравенства? Способствует ли индивидуализация (например, через посредство СМИ) образованию новых групп, живущих в совершенно ином ритме, но имеющих и другой радиус действия? В каком направлении будут идти вызванные индивидуализацией поиски новой социальной идентичности, новых форм жизни и политической активности, в какие конфликты и противоречия они будут вовлечены?

Сопоставим три ни в коей мере не исключających друг друга варианта:

1. Конец традиционного классового общества станет началом освобождения классов от региональных и партикулярных ограничений. Откроется новая глава в истории классов, которую еще нужно будет написать и осмыслить. Разрыв классов с традициями в ориентированном на достижения всеобщего благоденствия капиталистическом обществе мог

бы соответствовать модернизации образования классов, которая будет опираться на уже достигнутый уровень индивидуализации, переосмыслять его социальное и политическое значение.

2. В ходе намеченного развития предприятия и рабочие места утратят свое значение узла, где возникают конфликты и складывается идентичность, и появится новый узел складывания социальных взаимосвязей и конфликтов — там, где

оформляются частные, социальные отношения, формы жизни и труда ; соответственно с этим сложатся новые социальные структуры, идентичности и движения.

3. Будет происходить все более заметное отделение системы полной занятости от системы гибкой, множественной, индивидуализированной неполной занятости. Обостряющееся неравенство будет задерживаться в серой зоне. Центр тяжести жизни переместится с рабочего места и предприятия в сторону образования и испытания новых форм и стилей жизни. На передний план выдвинутся противоречия между мужчинами и женщинами, возникающие в ходе ломки семейных отношений.

Возникновение внесловной классовой солидарности

Новая бедность затаивается в молчании и растет в нем. Это столь же скандальное, сколь и затруднительное состояние, которое срочно нуждается в организационной и политической защите. В противном случае сам факт так и останется без самоосмысления и выявления. Однако бедность, которая образуется в социально-структурных резервуарах классов и их политических организаций, скрывается и обостряется в индивидуализации,

от этого отнюдь не исчезает . Напротив, она становится выражением

массовой лабилизации условий жизни при современном капитализме, действенная политическая сила которой столь же нова, сколь непредсказуема и глобальна. На чем основывается впечатление «безобидности» такого развития? Оно подвешено на двух шелковых нитях: на приходе и уходе массовой безработицы для миллионов людей и на совпадении безработицы с исторически заданной социокультурной фазой испытания, в которой жизненные судьбы становятся уязвимыми и должны заново «переживаться» (в активном значении этого слова). Но и то и другое может обернуться своей противоположностью: по меньшей мере одной трети активно трудоспособного населения безработица не только угрожает; эта треть хотя бы раз в жизни на собственной шкуре узнает, что это такое. Цифры зарегистрированной продолжительной безработицы демонстрируют внушительную тенденцию к росту. К глубокой неуверенности в основополагающих аспектах жизни (отношения между полами, брак, семья, цивилизационные угрозы) добавляется глобальная материальная неуверенность в образе жизни; зарегистрированная безработица двух с половиной миллионов человек — лишь верхушка айсберга. Тревожит не только снижение материального уровня жизни, выражающееся в росте числа получателей социальной помощи и празднующихся. Сюда следует добавить и глобальный шок, вызванный нестабильностью материального положения среди тех, кто за благополучным фасадом ведет нормальную жизнь — вплоть до наилучшим образом интегрированных в систему, хорошо зарабатывающих квалифицированных рабочих и семей высокопоставленных чиновников. Этот эффект расширения и отзвука массовой безработицы четко проявляется в резком несоответствии между зарегистрированными «случаями» (более двух с половиной миллионов) и фактически затронутыми этой бедой (значительно больше четырнадцати миллионов человек). Обратная сторона массовой безработицы — это ее

экспорт в некогда абсолютно благополучные сферы занятости. Исчезает надежда, что

«уж меня-то» безработица обойдет стороной. Ее призрак бродит (почти) везде и уже начинает творить свое черное дело в благополучных кварталах и летних особняках. И наоборот: страх нельзя прогнать, успокаивая себя мыслью, что будешь получать социальную помощь, о которой среднестатистический индус может только мечтать. Страх гнездится и в попавшем в аварию «мерседесе», и в стареньком «фольксвагене». Буравящий мозг страх, а не утешение, что люди третьего мира могут только мечтать о подобной помощи, — вот политический фактор, определяющий будущее

в (бывшей) стране экономического чуда Федеративной Республике Германии.

На этом фоне дискуссии в традиционных классовых категориях не становятся содержательнее. Спор о рабочем классе и рабочем движении во второй половине XX века отмечен печатью

ложной альтернативы. С одной стороны, приводятся все новые и новые многочисленные аргументы, указывающие на то, что положение рабочего класса при капитализме значительно улучшилось (материальное благосостояние, открывающиеся возможности получить образование, профсоюзная и политическая организованность и завоеванные права на социальные гарантии). С другой стороны, утверждается, что, несмотря на все улучшения, классовая ситуация, т. е. отношение к наемному труду и связанные с этим зависимость, отчуждение и риски остаются неизменными, более того, они даже получили широкое распространение и обострились (массовая безработица, потеря квалификации и т. п.). Цель аргументации в первом случае — доказать, что рабочий

класс распадается, во втором — что он

продолжает существовать; соответственно этим явлениям даются разные политические оценки.

В том и другом случае не осознается главное направление развития, а именно:

исторический симбиоз сословия и класса разлагается, причем таким образом, что, с одной стороны, сословные субкультуры исчезают, а с другой — генерализируются основополагающие признаки классового характера. Вследствие разрыва социальных классов с унаследованным опытом становится все труднее соотносить возникновение солидарности между группами и

рабочими коллективами с историческим прообразом «пролетария-производственника». Разговор о «рабочем классе», «классе служащих» и т. д. теряет конкретность, в результате чего отпадает основание и предмет бесконечного обмена аргументами на тему, «обуржуазивается» ли пролетариат или «опролетариваются» служащие. В то же время динамика рынка труда охватывает все более широкие круги населения; группа тех, кто не зависит от заработной платы, становится все меньше, а группа тех, кто стремится выйти на рынок труда (женщины!), все больше. При всех различиях растут также и общности, особенно

общность риска, стирается разница в доходах, в уровне образования.

В результате, с одной стороны, значительно

расширяется потенциальная и реальная клиентура профсоюзов, но с другой стороны — она же подвергается и новым опасностям: в образе пролетаризации уже содержится мысль об объединении пострадавших перед лицом очевидного материального обнищания и переживаемого отчуждения. Напротив, риски, связанные с наемным трудом, сами по себе

не создают общностей. Для их преодоления требуются социально-политические и правовые мероприятия, которые в свою очередь влияют на индивидуализацию социальных претензий; трудовые риски вообще могут осознаваться только в их коллективности — в противовес индивидуально-терапевтическим формам обращения с ними. Таким образом, профсоюзные и политические формы воздействия вступают в конкуренцию с индивидуализирующими правовыми, медицинскими и психотерапевтическими формами обслуживания и компенсации, которые в зависимости от обстоятельств бывают много конкретнее и лучше помогают пострадавшим справляться с возникающими невзгодами и тяготами.

От приватизма семейного к приватизму политическому

Многие социальные исследования в 50-е и 60-е годы показали, что в западных индустриальных странах отношение людей к работе можно понять только исходя из сочетания семейной жизни и трудового процесса. Становится очевидным, что для индустриальных рабочих главное в жизни семья, а не наемный труд.

Это весьма противоречивое, стимулируемое индустрией культуры и досуга развитие частной сферы — не просто идеология, а

реальный процесс и

реальный шанс самостоятельного создания условий жизни для себя. Этот процесс начинается с семейного приватизма, характерного для 50-х и 60-х годов. Но он может, как со всей очевидностью выявилось позднее, принимать разнообразные формы и развивать собственную динамику, которая в конечном счете придает приватизму внутреннюю политическую силу и размывает границы между частной и общественной сферами. Это проявления не только в смене значения семьи и сексуальности, брака и отцовства (материнства), но и в быстрой смене альтернативных культур. Совершенно новым и, вероятно, более глубоким, чем в ходе политических реформ, образом общественно-политическое устройство по причине перманентной эрозии и эволюции социокультурных форм жизни подвергается давлению постоянной практики изменения и приспособлений в «малом». В этом смысле разрыв с традициями, обозначившийся в последние десятилетия, освободил дорогу процессу обучения новому, результатов исторического воздействия которого (к примеру, на воспитание и взаимоотношения полов) мы с нетерпением ожидаем.

В 50-е и 60-е годы на вопрос, какую цель они преследуют, люди четко и ясно отвечали в категориях «счастливой» семейной жизни: построить собственный домик, купить автомобиль, дать детям хорошее образование, повысить уровень своей жизни. Сегодня многие говорят на другом языке, по необходимости неопределенном — о «самоосуществлении», «поисках собственной идентичности», «развитии личных способностей» и о том, что нужно «постоянно двигаться вперед». Это не относится в одинаковой мере ко всем категориям населения. Тяга к переменам, к получению лучшего образования и более высоких доходов — в значительной мере продукт младшего поколения, тогда как старшие поколения, более бедные и менее образованные слои населения, явно придерживаются ценностей 50-х годов. Общепринятые символы успеха (доход, карьера, статус) для многих уже не несут удовлетворения проснувшейся потребности обретения себя, самоутверждения, не утоляют голод по «полноценной жизни».

В результате люди все чаще попадают в лабиринт неуверенности в своих силах, самовыспрашивания и самоубеждения. Постоянное возвращение к вопросам типа «счастливы ли я на самом деле?», «действительно ли я живу полноценной жизнью?», «кто на самом деле

тот, кто говорит во мне „я“ и задает эти вопросы?» ведет к все новым и новым модам на ответы, которые разными способами перечеканиваются в рынках экспертов, индустрии и религиозных движений. В поисках самоосуществления люди, пользуясь каталогами туристических бюро, объезжают все уголки мира. Они разрушают самые прочные браки и вступают во все новые кратковременные связи. Меняют профессии. Постыются. Увлекаются йогой. Переходят из одной психотерапевтической группы в другую. Одержимые идеей самоосуществления, они отрывают себя от земли, чтобы убедиться, что у них действительно здоровые корни.

Эта ценностная система индивидуализации содержит в себе начало новых этик, базирующихся на принципе «обязанностей по отношению к самому себе». Это сталкивает традиционную этику с трудностями, поскольку обязанности неизбежно носят социальный характер, согласовывают и переплетают поступки каждого с жизнью всего общественного организма. Поэтому новые ценностные ориентации ложно понимаются как выражение эгоизма и нарциссизма. При этом не осознается ядро нового, которое здесь проявляется. Оно направлено на само объяснение и самоосвобождение как деятельный, жизненно важный процесс, включающий в себя и поиски новых социальных связей в семье, труде и политике.

Политическая сила рабочего и профсоюзного движения основана на организованном (забастовка) отказе от работы. Политический потенциал развивающейся частной сферы лежит, напротив, в осознании возможностей самоосуществления, в том, чтобы через непосредственные усилия по изменению привычного ослабить и преодолеть глубоко укоренившиеся в культуре самоочевидные вещи. Проиллюстрируем это на примере. «Сила» женского движения

тоже связана с перестройкой повседневных, само собой разумеющихся привычек, которые простираются от семейного быта через все сферы формального труда и правовой системы до жизненно важных центров и с помощью политики булавочных уколов требуют от основанного на «сословном» принципе, закрытого мужского мира болезненных изменений. Говоря обобщенно, подвергающиеся риску осознанно воспринимаемые и постоянно расширяющиеся сферы частных поступков и решений таят в себе искру, из которой может возгореться (по-иному, нежели в классовом обществе) пламя социальных конфликтов и движений.

Индивидуализированное «общество несамостоятельных»

Мотор индивидуализации работает на высоких оборотах, и до сих пор неясно, каким образом будут учреждаться новые прочные социальные взаимосвязи, сравнимые с глубинной структурой социальных классов. Напротив, в ближайшие годы для преодоления безработицы и стимулирования экономики должны быть пущены в ход социальные и технологические новшества, которые откроют новые горизонты процессам индивидуализации. Это касается гибкости отношений на рынке труда и особенно введения нового регулирования рабочего времени; но это касается также и внедрения новых информационных и коммуникативных средств. Если это предположение подтвердится, то возникнет своеобразная переходная стадия, в которой сохранившееся или обострившееся неравенство придет в столкновение с индивидуализированным «постклассовым» обществом, которое порвало с традициями и больше не имеет ничего общего с бесклассовым обществом, каким оно виделось Марксу.

(1) Общественные институты — политические партии, профсоюзы, правительства, социальные учреждения и т. д. — превращаются в охранителей социальной действительности, обреченной на быстрое исчезновение. В то время как образ жизни класса,

семьи, женщины, мужчины будет терять реальное содержание и устремленность в будущее, его станут консервировать в «охранительных учреждениях» и использовать в борьбе

против «отклонений» в развитии ориентации. Недостающее классовое сознание будет прививаться на курсах партийной учебы. Политически «неустойчивый» электорат будет возвращаться в прежнее русло заклинания-, ми о «демократии настроений». Новое общественное устройство будет отделяться от законсервированного индустриального общества, утратившего связь с действительностью. Перефразируя Брехта, можно было бы сказать: мы окажемся в ситуации, когда правительства будут вынуждены выбирать себе народ, а союзы встанут перед необходимостью исключать своих членов.

(2) Социальные классовые различия утрачивают свою идентичность,

заодно теряет привлекательность идея социальной мобильности в смысле движения индивидов из одной большой группы населения в другую, идея, которая вплоть до нашего времени играла большую социальную и политическую роль в формировании идентичности. Но неравенство не устраняется, а только переносится в область

индивидуализации социальных рисков. В итоге общественные проблемы тут же оборачиваются психическими предрасположенностями: неудовлетворенностью собой, чувством вины, страхами, конфликтами и неврозами. Возникает — довольно парадоксальным образом —

новая непосредственность индивида и общества, непосредственность кризиса и болезни в том смысле, что общественные кризисы кажутся индивидуальными и больше не воспринимаются в их общественной содержательности или воспринимаются крайне опосредованно. Здесь следует искать корни нынешней «волны психозов». В той же степени возрастает значение ориентации на индивидуальный успех; можно сказать, что ориентированное на успех общество с его возможностями (кажущейся) легитимизации социального неравенства в будущем проявит себя во всей своей проблематичности.

(3) Для преодоления проблемных общественных ситуаций люди вынуждены объединяться в социальные и политические коалиции. Однако эти коалиции будут создаваться уже не по определенной схеме, например классовой. Изоляция осознавших свою самостоятельность индивидов может быть преодолена на самых разных путях общественно-политического развития. Соответственно коалиции будут возникать и распадаться по ситуационным и тематическим признакам, в них будут перемешаны представители самых разных групп и различного общественного положения. Например, для борьбы с шумом, создаваемым самолетами вблизи аэропорта, в гражданскую инициативную группу вместе со своими соседями может войти член профсоюза металлистов, голосующий за правый блок. Коалиции в этом смысле суть возникающие в определенных ситуациях и с определенной целью союзы личностей в их индивидуальной борьбе за существование на самых разных общественных аренах. На этом примере видно, как в ходе индивидуализационных процессов конфликтные линии и темы претерпевают своеобразную плюрализацию. В индивидуализированном обществе готовится почва для новых, разнообразных, взрывающих прежние схемы конфликтов, идеологий и коалиций — более или менее тематически связанных, отнюдь не единых, возникших в определенных ситуациях усилиями отдельных людей. Возникающая социальная структура становится восприимчивой к

пропагандируемым средствами массовой информации модным темам и конфликтным модам.

(4) Устойчивые конфликтные линии все чаще возникают на основе «врожденных» признаков — расы, цвета кожи, пола, этнической принадлежности (иностранцы рабочие), возраста, телесных изъянов. Подобное социальное неравенство, как бы predetermined самой

природой, в условиях развитой индивидуализации получит особые организационные и политические шансы на основе его неизбежности, протяженности во времени, его противоречивого отношения к принципу успеха, его конкретности и непосредственной воспринимаемости, а также на основе обусловленных всем этим процессов идентификации. На передний план выступают две эпохальные темы: угроза, которую несет в себе (мировое) общество риска (см. часть первую), и противоречия между мужчинами и женщинами, до сих пор не выходящие за пределы семьи.

Глава IV

«Я» это «я»: взаимоотношения полов внутри и вне семьи-врозь, вместе и против друг друга

Языковые барометры предвещают бурю:

«Война в семье»,

«Битва полов», «Кошмар задушевности». Характеризуя взаимоотношения полов, все чаще обращаются к весьма немиролюбивому словарю. Тот, кто принимает язык за реальность, поневоле делает вывод, что любовь и задушевность обернулись своей противоположностью. Конечно, вей это суть языковые преувеличения в конкурентной борьбе за общественное внимание, но вместе с тем и знаки глубокой нестабильности, уязвимости и «вооруженной растерянности» мужчин и женщин, противостоящих друг другу в буднях брака и семьи (и того, что от них осталось).

Если б речь шла только о семье и браке. На деле ситуация гораздо сложнее. Привязывая взаимоотношения полов лишь к тому, чем они представляются на первый взгляд: к межполовым отношениям, т. е. к темам сексуальности, нежности, брака, родительства и т. д., — мы упускаем из виду, что одним этим они не исчерпываются, а включают в себя и многое, многое другое — работу, профессию, неравенство, политику, экономику. Именно такое беспорядочное переплетение всего, причем до крайности противоречивого, необычайно усложняет положение вещей. Говоря о семье, приходится говорить о работе и о деньгах, говоря о браке специальном образовании, профессии, мобильности, а точнее: о неравномерных распределениях при (в целом) равных ныне образовательных предпосылках.

1. Положение мужчин и женщин

Можно ли утверждать, что за последние одно-два десятилетия всеобъемлющая многомерность неравенства между мужчиной и женщиной в ФРГ вправду сдвинулась с мертвой точки? Данные весьма неоднозначны. С одной стороны, произошли эпохальные перемены — особенно в сексуальной, правовой и образовательной сфере. Но (если отвлечься от сексуальности) в сумме это, скорее, перемены в

сознании и на

бумаге. С другой стороны, им противостоит

константность в поведении и положении мужчин и женщин (особенно на рынке труда, но также и в социальном обеспечении). Отсюда — якобы парадоксальный — результат, что большее равенство заставляет еще четче осознать по-прежнему существующее и

обостряющееся неравенство.

Такая исторически возникшая смесь нового сознания и давних положений вдвойне чревата взрывом: молодые женщины — имея ныне равное образование и вполне осознавая свое положение — ожидают большего равенства и партнерства в профессиональной деятельности и в семье, однако эти ожидания наталкиваются на

противоположные развития на рынке труда и в поведении мужчин. Мужчины же, напротив, изрядно наторели в

риторике равноправия, не претворяя свои слова в дела. По обе стороны лед иллюзий истончился: при уравнивании предпосылок (в образовании и праве) положение мужчин и женщин становится

все более неравным,

все более осознанным и

все менее легитимным. Противоречия между женскими ожиданиями равноправия и неравноправной реальностью, между мужскими словесами об общности и цеплянием за прежние каноны обостряются и всем противоречивым многообразием своих будничных форм в частной и политической жизни определяют будущее развитие. Стало быть, мы — со всеми нашими противопоставлениями, противоречиями, шансами — стоим лишь

на пороге высвобождения из «сословных» канонов пола. Сознание опередило обстоятельства. И едва ли можно заставить часы сознания идти вспять. Многое говорит о том, что

конфликт будет долгим: противостояние полов определит грядущие годы. Этот тезис мы поясним прежде всего эмпирически, на основе данных касательно «всеобъемлющей многомерности» положения мужчин и женщин, а затем обоснуем теоретически.

Брак и сексуальность

Во всех промышленно развитых странах Запада отмечается

рост числа разводов. Хотя в ФРГ — скажем, по сравнению с США — эти цифры не слишком высоки, в настоящее время и у нас распадается едва ли не каждый

третий брак (в крупных городах едва ли не каждый второй, в мелких городах и на селе — примерно каждый четвертый), и данные показатели имеют тенденцию к увеличению. До 1984 года количество разводов более или менее уравнивалось количеством повторных браков. Теперь же разведенные супруги все реже решаются вступить в новый брак. Это связано с общей тенденцией к уменьшению числа браков. Зато показатель разводов для пар, повторно вступивших в брак, возрастает так же, как показатель разводов для родителей с детьми. Соответственно густеют джунгли родительских взаимоотношений: мои, твои, наши дети и связанные с этим различные урегулирования, щекотливые ситуации и конфликтные зоны для всех участников.

Реальность

скачкообразно возросшего числа «незарегистрированных браков» (вероятно) далеко превосходит данные официальной статистики браков и разводов. По оценкам, в ФРГ ныне

живут в незарегистрированном браке примерно 1–1,5 млн человек. Но разводы в таких браках никакая статистика не учитывает. А ведь за истекшее десятилетие не просто во много раз увеличилась доля этой формы совместного проживания. Удивительна также и естественность, с какой общество полностью принимает теперь это «сожитительство», которое еще в 60-е годы вызывало бурные споры и неприятие. Нынешнее квазиузаконивание внеправовых и вне-семейных форм совместного проживания, пожалуй, еще больше, чем сам феномен, свидетельствует о темпах трансформации.

Еще в 60-е годы семья, брак и профессия как соединение жизненных планов, положений и биографий были во многом обязательны. Теперь же по всем позициям выявились возможности и принуждения выбора. Уже нет ясности, вступает ли человек в брак и когда он это делает, живут ли люди вместе, не вступая в брак, или не живут вместе, состоя в браке, зачинают ли и воспитывают ребенка в семье или вне семьи, с тем, с кем вместе живут, или с тем, кого любят, но кто живет с другой женщиной, до или после профессиональной карьеры или в разгар ее. Как все это краткосрочно, долгосрочно или временно увязывается с принуждениями или амбициями обеспечения, карьеры, профессиональной деятельности всех участников. Подобные планы и договоренности в принципе расторгимы, а тем самым, что касается более или менее неравных нагрузок, которые в них содержатся, зависят от легитимации. Это можно истолковать

как разъединение и расчленение элементов жизни и поведения, сосредоточенных (некогда) в семье и браке. В итоге становится все труднее сопрягать понятие и реальность. Единство и постоянство понятий «семья», «брак», «родители», «мать», «отец» и т. д. замалчивает и маскирует

растущее многообразие положений и обстоятельств, которые за всем этим кроются (например, разведенные отцы, отцы отдельных детей, отцы-одиночки, внебрачные отцы, отцы-иностранцы, отчимы, отцы-безработные, отцы-«домохозяйки», отцы в совместно проживающих группах, отцы «по уик-эндам», отцы в семьях с работающими женами и т. д.; ср.: М. Кеггсп, 1986, 8. 44).

О направленности развития здесь свидетельствует состав домашнего хозяйства:

все больше людей живут одни. В ФРГ доля домашних хозяйств из одного человека составляет ныне

более четверти (30 %). В 1900 году приблизительно 44 % всех частных домашних хозяйств включали по 5 и более человек. В 1981-м соответствующая цифра составляла лишь около 9 %. Зато доля домашних хозяйств из двух человек возросла от 15% в 1900 году до 29 % в 1981-м. Уже в начале 80-х годов в ФРГ около 7,7 млн человек (примерно 12,5 % населения) жили одиноко, и эта цифра имела тенденцию к возрастанию. Впрочем, здесь речь лишь отчасти идет о лицах, соответствующих стереотипу «одиночки», т. е. о молодых неженатых и незамужних работающих людях; в большинстве, напротив, о людях пожилых, овдовевших, преимущественно женщинах.

Однако эти тенденции развития не следует истолковывать прямолинейно, в

смысле растущей анархии и уклонения от прочных связей в отношениях между мужчинами и женщинами. Существует и противоположный тренд. Выросшему до трети числу разводов как-никак противостоят

две трети нераспавшихся браков и семей (что бы ни скрывалось за этими цифрами). В пределах одного поколения — особенно у девушек — безусловно произошли заметные изменения в сексуальном поведении. Так, раньше только молодым мужчинам — опять-таки лишь неофициально и с фамильярным намеком — разрешалось накапливать сексуальный опыт. Ныне много больше половины всех девушек (61 %) открыто выступают за то, что для

женщин важно накопить сексуальный опыт. Так или иначе, каждая вторая усматривает некую прелесть в том, чтобы иметь одновременно двух друзей. Но не стоит обманываться: свободное сексуальное поведение тоже строго нормировано. Молодые люди, даже ставя под сомнение существующие образцы брака и семьи как таковые, в большинстве не стремятся

к жизни, свободной от прочных уз. По сей день на первом плане находится идеал стабильного партнерства и «практическая верность зачастую представляется совершенно естественной — только без официальных легитимации и принуждений государственного права и церковной морали». Стало быть, развитие носит двусмысленный характер. На набивший оскомину вопрос, принадлежат ли брак и семья уходящей эпохе, можно со всей серьезностью ответить:

и да, и нет.

Образование, рынок труда и занятость

Юридическое равноправие женщины закреплено в Конституции Федеративной Республики Германии. Однако существенные неравенства в правовом статусе были устранены лишь в 1977 году с принятием нового кодекса брачного и семейного права. Никакие правовые нормы, диктующие разное обращение с мужчиной и женщиной, на бумаге теперь не действуют. Женщинам предоставлена возможность сохранять девичью фамилию. Ответственность женщины за работу по уходу за домом и семьей, закрепленная до тех пор

законодательно, отменена, и теперь решение о ведении хозяйства принимают сами супруги. Точно также они оба вправе иметь самостоятельный заработок. Родительские заботы о детях возложены на отца и мать, которые в случае разногласий — так сказано в законе — «должны попытаться прийти к единому мнению».

Наряду с этим широким правовым уравниванием мужчин и женщин крупнейшим событием в развитии ФРГ является поистине

революционное выравнивание возможностей получить образование (об этом и о развитии профессиональной занятости женщин см. с. 116 наст. изд.): еще в начале 60-х годов ущемление интересов девушек в сфере образования было очевидным (как ни удивительно, в средних слоях населения оно было значительно больше, чем во всех остальных). В 1983 году девушки даже опередили юношей по некоторым позициям (например, больше девушек, чем юношей, стремятся закончить гимназию и получить аттестат зрелости; а среди выпускников основной школы преобладают юноши). Хотя наблюдаются и обратные тенденции. Так, сопоставление данных о профессиональном образовании по-прежнему демонстрирует большой разрыв (к началу 80-х годов 40 % работающих женщин и только 21 % мужчин не заканчивают профессиональных учебных заведений). У абитуриентов готовность учиться за последние 10 лет также снизилась с 80 % до 63 % (у абитуриентов — с 90 % до 73 %). Как и прежде, в определенных специальностях преобладают студентки (более 70 % выбирают философские, лингвистические и педагогические дисциплины), преимущественно женщины становятся также и учителями школ «нижних» ступеней.

Тем не менее — в сравнении с исходным положением вещей не будет преувеличением говорить о

феминизации образования в 60–70-е годы. Но за этой образовательной революцией не последовало революции на рынке труда и в системе занятости. Напротив, двери, открывшиеся в сфере образования, «на рынке занятости и; труда... вновь захлопываются».

Незначительному приросту девушек в «мужских профессиях» противостоит массовое вытеснение девушек во всех прочих сферах. «Интеграция женщины в профессию», которой требовали (и которую поощряли) в 70-е годы, упорно следует

«сословно-половой закономерности» обратной иерархии : чем «более центральной» для общества принято считать ту или иную сферу, чем «больше власти» имеет та или иная группа, тем меньше там представлены женщины; и наоборот: чем «периферийнее» та или иная группа, тем больше вероятность, что в этой сфере женщины добились возможностей занятости. Об этом свидетельствуют соответствующие данные по всем областям — политике, экономике, высшей школе, средствам массовой информации (СМИ) и т. д.

В

политике женщины на ведущих ролях по сей день составляют исключение. С одной стороны, начиная с 1970 года представительство женщин в политических органах, которые полномочны принимать решения, постоянно увеличивалось; с другой стороны, по мере приближения к высшим эшелонам власти доля их сокращается. В партийных органах женщин явно стало гораздо больше (14 % в 1970 году и в среднем 20,5 % в 1982-м). Причем особенно велико их влияние среди «зеленых» (до 50 %). В парламентах доля женщин растет сверху вниз; на коммунальном уровне она наиболее высока (в земельных парламентах доля женщин колеблется между 6 и 15 %; в общинных и городских парламентах — между 9,2 и 16,1 %). В

экономике лишь 2,7 % должностей с распорядительными полномочиями заняты женщинами, а это крайне мало, тогда как доля женщин в менее влиятельных отделах предприятий (например, в отделах найма и увольнения) несколько выше. В

юстиции ситуация примерно такова же, если говорить о среднем должностном уровне. Доля женщин здесь значительно выше (1977 год: около 11 % судей, 10 % прокуроров, 7 % адвокатов). Но в федеральных судах, т. е. «там, где принимаются решения, определяющие принципы применения права, где стрелки юстиции устанавливаются на десятилетия вперед, женщинам (почти) нет места». В

высшей школе на вершине должностной пирамиды — на профессорских должностях категории С — женщины по-прежнему являются исключением (в 1980 году общее число мест составляло 9431, но лишь 239 из них занимали женщины), причем сверху вниз их доля неуклонно возрастает (в категории С, их уже вдвое больше и во много раз больше на негарантированных должностях вспомогательных научных кадров среднего звена — особенно в «факультативных дисциплинах»). Та же картина обнаруживается и в

средствах массовой информации : чем выше уровень, тем меньше женщин-руководителей. На телевидении женщины работают преимущественно на «среднем уровне» и в «пестрых» развлекательных программах — но их много меньше в «важных» политических и экономических программах и почти нет в Совете по радиовещанию. Доля женщин, которые занимали ведущие позиции на радиостанциях, объединенных в Комитете общественно-правовых учреждений, составляла в 1978 году 3 %.

Это не затрагивает молодых женщин, выполняющих

квалифицированную работу по специальности . Молодые женщины имеют хорошую профессиональную подготовку и по сравнению со своими матерями (а отчасти и с отцами) нередко занимают

более высокую ступень (см. с. 115 наст. изд.). Впрочем, и здесь покой обманчив. Во многих сферах профессиональной деятельности

женщины захватили «тонущие корабли» . Типично женскими часто являются специальности,

будущее которых весьма шатко: секретарши, продавщицы, учителя, квалифицированные работницы промышленных предприятий. Именно там, где работают преимущественно женщины, особенно интенсивно проводится рационализация, или, по выражению социологов, существуют «значительные резервы для рационализации». Особенно это характерно для промышленного труда. Большинство «женских» рабочих мест — в электроиндустрии, в пищевой и вкусовой промышленности, в швейной и текстильной индустрии — существует отчасти благодаря «ограничению механизации», отчасти благодаря «пробелам в механизации» или «остаточным работам» в высокомеханизированных и частично механизированных производственных системах, и в будущем они, вероятно, исчезнут, сметенные волной микроэлектронной рационализации.

Такое вытеснение женщин из сферы занятости уже отражается в увеличении

безработицы. Доля женщин среди зарегистрированных безработных в последние годы постоянно превышает долю мужчин и имеет тенденцию к росту. В 1950 году число безработных среди женщин составляло 5,1 % (среди мужчин — 2,6 %); в 1982-м оно возросло до 8,6 % (среди мужчин — 6,8 %). После 1983 года из более чем 2,5 млн безработных в ФРГ — при на треть меньшей занятости, чем среди мужчин, — женщины составляют

половину. Безработица среди выпускников университетов в 1980–1982 годах увеличилась у мужчин на 14 %, у женщин — на 39 %. И это не считая в решениях. Самостоятельная женщина, знающая, чего она хочет, — вот кто им нужен. Эта новая самостоятельность предполагает, что женщина сама и со всей ответственностью улаживает свои дела (и дела других членов семьи), а тем самым раскрепощает мужчину...

«Игра в эмансипацию даже приносит мужчинам большой выигрыш. Проблемы с эмансипацией возникают у мужчин, когда „самостоятельность“ женщины грозит обернуться и против них, когда к ним предъявляются требования и когда женщина отстаивает свои интересы» (8. 22 Г.).

Первые исследования, посвященные исчезающе малому меньшинству мужчин, которые осуществили ролевой обмен и стали

новыми отцами и

домохозяйками, дополняют эту картину. По их собственным отзывам, данное решение является лишь условно добровольным. Они

«уступили желанию или требованию

партнерши продолжить ее профессиональную деятельность. В отдельных случаях это было даже условием беременности» (5. 5).

Примечательно, что мужчины, на деле выполняющие работу по дому, более не разделяют давних мужских убеждений, что эта работа способствует самораскрытию личности.

«Важнейший жизненный опыт мужчин-домохозяек — изоляция (т. е. недостаток социальных контактов) и неудовлетворенность, вызываемые работой по дому, которая ощущается как однообразная рутин» (5.17).

Мужчины -домохозяйки страдают от синдрома

женщин-домохозяек: от незримости сделанной работы, от отсутствия признания и самосознания. Как говорит один из них:

«.. хуже всего домашняя уборка, это самое неприятное, даже по-настоящему отвратительное... И понимаешь это, только когда занимаешься уборкой изо дня в день, когда,

скажем, в пятницу дочиста выскреб какой-то угол, а ровно через неделю там опять такая же грязь. Занятие и вправду едва ли не унижительное, если не сказать отупляющее... Прямо как поединок с ветряными мельницами» (8.17 Г.).

Приобретая такой опыт, даже мужчины, сознательно променявшие «отчужденный профессиональный труд» на работу по дому, пересматривают свое отношение к работе по найму, признают ее значимость для самоутверждения перед собой и перед другими и стремятся найти работу хотя бы с неполным рабочим днем (8. 8, 43).

Этот ролевой обмен до сих пор не получил достойного признания в обществе, ведь окружающие хвалят таких мужчин, но при том осуждают их жен, попрекая их в забвении материнского долга (5.16).

В целом можно сказать: с обеих сторон за фасадами идеала партнерства накапливаются противоречия. Есть успехи, есть и поражения — смотря как поглядеть. Начнем с женщин. Безусловно, в главных аспектах жизни молодых женщин — по сравнению с поколением их матерей — открылись

новые возможности: в сфере права, образования и сексуальности, а также в профессиональной сфере. Взгляд на нынешнее и вероятное перспективное развитие, однако, показывает, что эти возможности лишены каких бы то ни было

социальных гарантий. Тенденции развития профессиональной деятельности и сословная закрытость мужского мира в политике, экономике и т. д. позволяют предположить, что все прежние конфликты — это еще гармония и что истинный конфликт ждет нас впереди.

Исходная ситуация и перспектива связаны при этом множеством амбивалентностей. При сравнении поколений женщины выглядят в целом неплохо (улучшилось образование, в принципе улучшились и профессиональные

шансы). В то же время их собственные мужья, приблизительно равно образованные, профессионально их опережают, и над ними по-прежнему висит приговор к «пожизненной работе по дому». Заинтересованности женщин в самостоятельных экономических гарантиях и интеграции в индивидуализирующую профессиональную деятельность, однако же, и теперь противостоит заинтересованность в партнерстве и

материнстве, причем как раз и у тех женщин, которые знают, что именно это означает для их профессиональных шансов и экономической зависимости от мужа. Метания между «своей жизнью» и «жизнью ради других» при новом осознании показывают

нерешительность процесса женской индивидуализации. Впрочем, «дух равенства» больше невозможно упрятать в бутылку. Предоставив женщинам возможность получить образование и тем изолировать свою зоркость, мужчины одновременно делали ставку на то, что женщины и впредь будут принимать как должное шитые белыми нитками мужские «оправдания» полового разделения ролей в семье, профессии и политике, а эта стратегия — с мужской же позиции — оказалась чрезвычайно близорукой и наивной.

За последние 10 лет в лагере

мужчин тоже кое-что сдвинулось с мертвой точки. Старое клише «сурового мужчины» более не соответствует действительности. Большинство мужчин тоже хочет проявлять чувства и слабости. Им уже не кажется неловкостью, если мужчина плачет. Мало-помалу вырабатывается и новое отношение к сексуальности. Сексуальность они

«рассматривают уже не как изолированный инстинкт, а как естественный компонент их

личности и считаются с партнершей» (8.139).

Тем не менее мужчины находятся в ином положении. Самостоятельная женщина, знающая, чего она хочет, — вот кто им нужен. Эта новая самостоятельность предполагает, что женщина сама и со всей ответственностью улаживает свои дела (и дела других членов семьи), а тем самым раскрепощает мужчину...

«Игра в эмансипацию даже приносит мужчинам большой выигрыш. Проблемы с эмансипацией возникают у мужчин, когда „самостоятельность“ женщины грозит обернуться и против них, когда к ним предъявляются требования и когда женщина отстаивает свои интересы» (5. 22 Г.).

Первые исследования, посвященные исчезающе малому меньшинству мужчин, которые осуществили ролевой обмен и стали

новыми отцами и

домохозяйками, дополняют эту картину. По их собственным отзывам, данное решение является лишь условно добровольным. Они

«уступили желанию или требованию

партнерши продолжить ее профессиональную деятельность. В отдельных случаях это было даже условием беременности» (5. 5).

Примечательно, что мужчины, на деле выполняющие работу по дому, более не разделяют давних мужских убеждений, что эта работа способствует самораскрытию личности.

«Важнейший жизненный опыт мужчин-домохозяек — изоляция (т. е. недостаток социальных контактов) и неудовлетворенность, вызываемые работой по дому, которая ощущается как однообразная рутинная».

Мужчины-домохозяйки страдают от синдрома ощущения домохозяек: от незримости сделанной работы, от отсутствия признания и самосознания. Как говорит один из них:

«...хуже всего домашняя уборка, это самое неприятное, даже по-настоящему отвратительное... И понимаешь это, только когда занимаешься уборкой изо дня в день, когда, скажем, в пятницу дочиста выскреб какой-то угол, а ровно через неделю там опять такая же грязь. Занятие и вправду едва ли не унижительное, если не сказать отупляющее... Прямо как поединок с ветряными мельницами» (8.17 Г.).

Приобретая такой опыт, даже мужчины, сознательно променявшие «отчужденный профессиональный труд» на работу по дому, пересматривают свое отношение к работе по дому, признают ее значимость для самоутверждения перед собой и перед другими и стремятся найти работу хотя бы с неполным рабочим днем (8. 8, 43). Этот ролевой обмен до сих пор не получил достойного признания в обществе, ведь окружающие хвалят таких мужчин, но при том осуждают их жен, попрекая их в забвении материнского долга (8. 16).

В целом можно сказать: с обеих сторон за фасадами идеала партнерства накапливаются

противоречия. Есть успехи, есть и поражения — смотря как поглядеть. Начнем с женщин. Безусловно, в главных аспектах жизни молодых женщин — по сравнению с поколением их матерей — открылись

новые возможности: в сфере права, образования и сексуальности, а также в профессиональной сфере. Взгляд на нынешнее и вероятное перспективное развитие, однако, показывает, что эти возможности лишены каких бы то ни было

социальных гарантий . Тенденции развития профессиональной деятельности и сословная закрытость мужского мира в политике, экономике и т. д. позволяют предположить, что все прежние конфликты — это еще гармония и что истинный конфликт ждет нас впереди.

Исходная ситуация и перспектива связаны при этом множеством амбивалентностей. При сравнении поколений женщины выглядят в целом неплохо (улучшилось образование, в принципе улучшились и профессиональные

шансы) . В то же время их собственные мужья, приблизительно равно образованные, профессионально их опережают, и над ними по-прежнему висит приговор к «пожизненной работе по дому». Заинтересованности женщин в самостоятельных экономических гарантиях и интеграции в индивидуализирующую профессиональную деятельность, однако же, и теперь противостоит заинтересованность в партнерстве и

материнстве , причем как раз и у тех женщин, которые знают, что именно это означает для их профессиональных шансов и экономической зависимости от мужа. Метания между «своей жизнью» и «жизнью ради других» при новом осознании показывают

нерешительность процесса женской индивидуализации . Впрочем, «дух равенства» больше невозможно упрятать в бутылку. Предоставив женщинам возможность получить образование и тем изолировать свою зоркость, мужчины одновременно делали ставку на то, что женщины и впредь будут принимать как должное шитые белыми нитками мужские «оправдания» полового разделения ролей в семье, профессии и политике, а эта стратегия — с мужской же позиции — оказалась чрезвычайно близорукой и наивной.

За последние 10 лет в лагере

мужчин тоже кое-что сдвинулось с мертвой точки. Старое клише «сурового мужчины» более не соответствует действительности. Большинство мужчин тоже хочет проявлять чувства и слабости. Им уже не кажется неловкостью, если мужчина плачет. Мало-помалу вырабатывается и новое отношение к сексуальности. Сексуальность они «рассматривают уже не как изолированный инстинкт, а как естественный компонент их личности и считаются с партнершей» (8.139). Тем не менее мужчины находятся в ином положении, чем женщины. Слово «равноправие» имеет для них другой смысл. Если для женщин оно означает

больше образования,

лучшие профессиональные шансы,

меньше работы по дому, то мужчины вкладывают в него комплементарный смысл:

больше конкуренции, отказ от карьеры, больше работы по дому . Подавляющее большинство мужчин по-прежнему воображает, что пирог можно съесть дважды. Они полагают, что равноправие мужчины и женщины

и сохранение давнего разделения труда (особенно в их собственном случае) вполне соединимы. Руководствуясь испытанным правилом: где грозит равноправие, зови на помощь природу, — они упорно не желают видеть противоречий между своими словами и делами, обманывая себя биологическими объяснениями господствующих неравенств. Из способности женщины к деторождению выводится ее ответственность за ребенка, домашнюю работу, семью, а стало быть, и отказ от профессиональной деятельности и профессиональная субординация.

При этом возникающие конфликты особенно больно задевают именно мужчин. Согласно традиционному мужскому стереотипу распределения ролей по признаку пола, «успех» мужчины в значительной степени связан с успехом экономическим, профессиональным.

Лишь твердый доход позволяет ему претворить в жизнь идеал мужчины — «доброго кормильца», «заботливого супруга и отца семейства». В этом смысле с экономически измеримым успехом связано и параллельное длительное удовлетворение сексуальных потребностей. В инверсии это означает также, что для достижения таких целей и исполнения таких ожиданий мужчина должен «выкладываться» на работе, интериоризировать карьерные принуждения, т. е. попросту «эксплуатировать» сам себя. Из данной структуры

«мужской работоспособности», с одной стороны, следует, что дисциплинарные стратегии предприятий основываются, так сказать, на «кнуте и прянике». Человек, которому необходимо кормить жену и двоих детей, делает все, что ему говорят. С другой же стороны, такое расходование мужской рабочей силы невозможно без «гармоничного домашнего очага», за который отвечает женщина. Исполнение роли «работника-профессионала», стало быть, делает мужчин чрезвычайно

несамостоятельными эмоционально. Они сами приковывают себя к разделению труда, при котором делегируют женщине существенные стороны своего «я» и своих способностей к общению с самими собой. Параллельно растет принуждение гармонизировать все проблемы межполовых взаимоотношений. Мужчины развивают завидную способность не замечать возникающие конфликты. В той же мере они реагируют очень болезненно, если их частично или полностью лишают того эмоционального обмена, который в их понимании присущ супружеской общности. Если отношения с женой не гармоничны, а конфликтны, мужчины страдают вдвойне, потому что помимо эмоциональных лишений на них наваливаются беспомощность и непонимание.

Тезисы

Но проблемы и конфликты между мужчинами и женщинами суть не

только то, чем они представляются на первый взгляд, — а именно проблемы и конфликты между мужчинами и женщинами. В них, в частной сфере, дробится

также и некая общественная структура. Частный, казалось бы, «конфликт отношений» имеет обобщенную, социально-теоретическую сторону, которую мы тезисно сформулируем ниже.

(1) Распределение ролей по признакам пола есть

основа индустриального общества, а вовсе не какой-то традиционный пережиток, от которого ничего не стоит отказаться. Без разделения ролей на мужскую и женскую не было бы традиционной малой семьи. А без малой семьи не было бы индустриального общества с его схемой работы и жизни. Облик буржуазного индустриального общества базируется на неполной, точнее

половинной, продаже человеческой работоспособности. Полная продажа

и семья в традиционных формах и ролевых распределениях взаимоисключают друг друга. С одной стороны, работа по найму имеет предпосылкой работу по дому, а производство товарной продукции — формы и ролевые распределения малой семьи. Индустриальное общество в этом смысле зависимо от неравного положения мужчин и женщин. С другой стороны, это неравенство противоречит принципам модерна и в континууме процессов модернизации становится проблематичным и конфликтным. Но тем самым в ходе

реального уравнивания мужчин и женщин ставятся под вопрос основы семьи (брак, сексуальность, родительские обязанности). Иными словами, на этапе модернизации,

начавшемся после второй мировой войны, осуществление

и упразднение индустриального рыночного общества совпадают. Универсализм рынка не знает также и собственных, им самим установленных запретных зон и подрывает закреплённость женщин в их промышленно созданной «сословной судьбе» с ее предназначением к работе по дому и уходу за мужем и семьей. В результате биографическая согласованность производства и воспроизводства, а также распределение труда и стандарты в семье теряют прочность, становятся заметны пробелы в социальном обеспечении женщин и т. д. В теперешних конфликтах между женщинами и мужчинами с необходимостью проявляются спроецированные в приватную сферу противоречия индустриального общества, которое в общей модернизации и общей индивидуализации упраздняет основы их совместной жизни, одновременно модернизированные

и сословные. (2) Динамика индивидуализации, вырвавшая людей из классовых культур, не останавливается и на пороге семьи. Сила, которая самим людям непонятна и квинтэссенцией которой они же сами и являются — при том, что она завладевает ими как бы извне, — эта сила вырывает их из рамок пола, из его сословных атрибутов и заданностей или по меньшей мере приводит в смятение. Закон, который обрушивается на них, гласит:

«я» — это «я», а затем: я — женщина. «Я» — это «я», а затем: я — мужчина. И на этом расстоянии между «я» и

требованием быть женщиной, между «я» и

требованием быть мужчиной зияют целые миры. Причем процесс индивидуализации в отношениях между полами имеет абсолютно встречные последствия: с одной стороны, мужчины и женщины в поисках «собственной жизни»

высвобождаются из традиционных форм и ролевых распределений. С другой стороны, истончившиеся социальные связи

толкают людей к поискам партнера, к поискам счастья вдвоем. Потребность в разделенной задушевности, заявленная идеалом брака и партнерства, вовсе не изначальна. Она

растет вместе с утратами, которые приносит индивидуализация, ибо утраты суть обратная сторона возможностей. В итоге прямой путь из брака и семьи — большей частью рано, а не поздно — ведет опять туда же, и наоборот. По ту сторону фрустрации или удовольствия для обоих полов неизменно находится та же фрустрация и то же удовольствие, их противостояние, наложение, подчинение, соседство, отсутствие, союз — или все сразу.

(3) Во

всех формах совместной жизни женщин и мужчин (до брака, в браке, наряду с ним и после) простираются

конфликты эпохи, всегда являющие там свое приватное, частное лицо. Но семья —

только место, а не причина происходящего. Подмости можно менять. Пьеса, которую играют, остается все та же. Взаимоотношения полов в их многогранности — работа, родительские функции, любовь, профессия, политика, самораскрытие и самореализация вместе с другим и наперекор другому — зашатались.

Возможности выбора, возникающие в брачных (и небрачных) отношениях (например, центробежная профессиональная мобильность супругов, распределение домашнего труда и ухода за детьми, способ предохранения от зачатия, сексуальность), служат детонатором для осознания конфликтов. Принимая решения, женщины и мужчины осознают различные для

них и антагонистические последствия и риски, а тем самым

антагонизмы своих положений. Так, например, вместе с вопросом об ответственности за детей решается и вопрос о профессиональной карьере супругов, а значит, и об их теперешней и будущей экономической зависимости и независимости со всеми вытекающими отсюда последствиями, опять-таки различными для мужчин и для женщин. Такие возможности решения имеют личную

и институциональную сторону. Иными словами, отсутствие институциональных решений (например, отсутствие детских садов и скользящий рабочий график, недостаточное социальное обеспечение) во много раз усиливает частные конфликты, и наоборот, институциональные меры снимают частные «трения» между полами. Вот почему частные

и политические стратегии разрешения конфликтов надлежит рассматривать в их взаимосвязи.

На этих трех главных тезисах — «сословном характере» индустриального общества, тенденции индивидуализации в жизненных обстоятельствах женщин и мужчин, а также конфликтных ситуациях, осознаваемых через возможности и принуждения выбора, — мы подробно остановимся ниже.

2. Индустриальное общество — модернизированное сословное общество

Особенности антагонизмов в жизненных обстоятельствах мужчин и женщин можно определить теоретически в сопоставлении с положением классов. Классовые противоречия резко вспыхнули в XIX веке из-за материального обнищания широких масс рабочих и разыгрывались открыто, публично. Противоречия между полами, возникающие по мере детрадиционализации семьи, разыгрываются в первую очередь между двумя людьми, на кухне, в постели, в детской. Их шумовой фон и характерные признаки — вечные споры о взаимоотношениях или молчаливая враждебность в браке, бегство в одиночество и из одиночества, потеря уверенности в супруге, которого вдруг перестаешь понимать, мучительная боль развода, обожание детей, борьба за толику собственной жизни, которую нужно с боем вырвать у партнера и все же с ним разделить, выискивание тирании в будничных пустяках, тирании, которая, по сути, ты

сам. Назвать это можно как угодно — «окопная война полов», «уход в субъективное», «эпоха нарциссизма». Но именно так

общественная форма — сословный каркас индустриального общества — разбивается в сфере частного.

Возникающие вместе с индустриальной системой классовые противоречия, так сказать, «имманентно современные», укоренены в самом индустриальном способе производства. Антагонизмы между полами

не вписываются в схему современных классовых противоречий, но и

не являются простым пережитком традиций. Они представляют собой нечто третье. Как и противоречия между капиталом и трудом, они также суть

продукт и

основа индустриальной системы, в том смысле, что работа по найму

предполагает работу по дому и что сферы и формы производства и семьи в XIX веке разделяются и

создаются. Возникающие таким образом статусы мужчин и женщин основываются одновременно по рождению. В этом плане они — странный гибрид

«современных сословий». Именно на них строится в условиях модерна сословная иерархия индустриального общества. Свою взрывоопасность и конфликтную логику они черпают из антагонизма между модерном и контрмодерном

внутри индустриального общества. Проявляются сословно-половые распределения ролей и антагонизмы соответственно не на ранней стадии индустриальной модернизации, как противоречия классовые, а на

поздней ее стадии, т. е. там, где социальные классы уже утратили свою традиционность и модерн уже не останавливается перед дверьми и формами семьи, родительства, работы по дому.

В XIX веке в ходе становления индустриального общества складываются формы малой семьи, которые ныне опять-таки детрадиционализируются. Работа по уходу за семьей и производство подчинены антагонистическим организационным принципам (ср.: М. Кетсп, 1986). Если на производстве действуют правила и власть

рынка, то в семье имеет место безвозмездное выполнение повседневной работы, воспринимаемое как нечто совершенно естественное.

Договорной форме отношений противостоит коллективная

общность брака и семьи. Индивидуальная конкуренция и мобильность, требуемые в сфере производства, в семье наталкиваются на в корне противоположное требование: самопожертвование ради другого, растворение в проекте коллективной семейной общности. В облике семейного воспроизводства и рынозависимого производства, таким образом, в системе индустриального общества неразрывно соединены две эпохи с антагонистическими организационными принципами — модерн и современный контрмодерн, которые дополняют друг друга, обуславливают

и противоречат друг другу.

Столь же эпохально различны и жизненные обстоятельства, создаваемые и назначаемые ввиду разделения семьи и производства. Существует, стало быть, не только система социального неравенства, укорененная в производстве: различия в оплате, профессиях, отношении к средствам производства и т. д. Существует еще и система неравенств, идущая

вразрез с первой и охватывающая эпохальные различия между «семейным положением» в его относительном равенстве и многообразием производственных обстоятельств.

Производственные работы обеспечиваются через посредство рынка труда и выполняются за деньги. Беря на себя такие работы, люди — при всей включенности в зависимый труд — становятся «сомообеспечивателями», а значит, носителями процессов мобильности, соответствующего планирования и т. д. Безвозмездная работа в семье назначается в силу брака, как этакое естественное приданое. Взятие ее на себя означает принципиальную несамостоятельность обеспечения. Тот, кто берет ее на себя — а мы знаем, кто это, — ведет хозяйство на деньги из «вторых рук» и остается прикован к браку как звену, связывающему с самообеспечением. Распределение таких работ — и в этом заключена феодальная основа индустриального общества — изъято из сферы решений. Они назначены по рождению и

полу. В принципе

и в индустриальном обществе судьба уготована человеку с колыбели : пожизненная работа по дому или бытие, связанное с рынком труда. Эти сословные «судьбы полов» смягчаются, упраздняются, обостряются или маскируются любовью, также на них возложенной. Любовь делает человека слепым. А поскольку при всех горестях любовь кажется вдобавок и выходом из бед, которые сама же и творит, существующего неравенства как бы и быть не может. Но оно есть, и оттого любовь блекнет и остывает.

Стало быть, то, что выглядит как «кошмар задушевности» и вызывает нарекания, на самом деле — с позиций социальной теории и истории — суть

противоречия модерна, располовиненного в самой основе индустриального общества , которое всегда делило неделимые принципы современности — индивидуальную свободу и равенство вне ограничения по рождению — и уже в силу рождения предоставляло их одному полу, а у другого их отнимало. Индустриальное общество

никогда не могло и не может быть

только индустриальным обществом, оно всегда наполовину индустриально, а наполовину

сословно , и его сословная сторона отнюдь не пережиток традиций, а индустриально-общественный

продукт и

фундамент , встроенный в институциональную схему труда и жизни.

После второй мировой войны в государстве всеобщего благоденствия модернизация происходит двояко: с одной стороны, требования рыноказависимой нормальной биографии распространяются и на женские жизненные обстоятельства. В принципе тут не происходит ничего нового, это лишь приложение принципов развитых рыночных обществ, перекрывающее линию раздела полов. Однако, с другой стороны, таким путем создаются совершенно новые ситуации внутри семьи и в отношениях между мужчинами и женщинами вообще, более того, размываются сословные основы жизни индустриального общества. По мере

развития индустриального рыночного общества помимо специфически полового его располовинивания давным-давно идет

упразднение его семейной морали, судебных полов, табуированности брака, родительства и сексуальности, имеет место даже новое воссоединение работы домашней и наемной.

Здание индустриально-общественной сословной иерархии составлено из многих элементов: раздела рабочих сфер семьи и производства и их антагоничной организации, назначения соответствующих жизненных обстоятельств в силу рождения, маскировки совокупной ситуации посулами нежности и любви (как средства против одиночества), брака, родительства. В ретроспективе возвести это здание было необходимо, наперекор всем сопротивлениям. Итак, до сих пор модернизацию рассматривали слишком однобоко. А у нее два лица. Параллельно с возникновением индустриального общества в XIX веке создавался

модернизированный сословно-половой порядок. В этом смысле модернизация в XIX веке идет наряду с контрмодернизацией. Устанавливаются, оправдываются и объявляются вечными эпохальные различия и антагонизмы производства и семьи. Союз мужской философии, религии и науки увязывает все это — надо, так надо! — с «сущностью» женщины и «сущностью» мужчины.

Модернизация, стало быть, не только ликвидирует феодальные отношения аграрного общества, но и создает новые, а ныне начинает ликвидировать и их тоже. В разных рамочных условиях XIX века и конца XX века одна и та же модернизация имеет

противоположные последствия: тогда —

разделение работы по дому и по найму, ныне — борьбу за новые формы их

воссоединения ; тогда — включение женщин в

обеспечение брака , ныне — их стремление

на рынок труда ; тогда — реализацию мужского и женского ролевого стереотипа, ныне —

высвобождение людей из сословных заданностей пола.

Все это знаки того, что ныне модерн перекидывается на контрмодерн, который он сам построил в индустриальное общество: взаимоотношения полов, спаянные с разделением производства и воспроизводства и сохраняемые в компактной традиции малой семьи со всем, что в ней есть от концентрированной общности, предназначенности и эмоциональности, разваливаются. Все вдруг разом утрачивает стабильность: форма совместной жизни, кто, где, как работает и чем занимается, концепции сексуальности и любви и их включенность в брак и семью, институт родительства распадается на противоположность материнства и отцовства; дети, с присущей им и теперь уже становящейся анахронизмом интенсивной привязанностью, превращаются в последних партнеров, которые пока не уходят. Начинается всеобщая борьба и экспериментирование с «формами воссоединения» работы и жизни, домашней работы и работы по найму и проч. — словом, приватное политизируется, и такая политизация отражается во всех сферах.

Однако это говорит лишь о направлении развития. Животрепещущий момент подобных рассуждений заключается вот в чем: проблемные ситуации

развитого рыночного общества нельзя преодолеть в социальных формах жизни и институциональных структурах располовиненного рыночного общества. Там, где мужчины

и женщины вынуждены и хотят вести экономически самостоятельное существование, это

невозможно нив в рамках традиционных ролевых распределений малой семьи,

ни в институциональных структурах профессиональной деятельности, социального права, городского планирования, школ и т. д., которые как раз

предполагают традиционный образ малой семьи с ее сословно-половыми основами.

«Конфликты века», которые проявляются в личных распределениях вины и разочарования во взаимоотношениях полов, коренятся и в том, что при исходном допущении

постоянства институциональных структур до сих пор делаются попытки достичь высвобождения из стереотипов пола (почти)

исключительно в частном противопоставлении мужчин и женщин, а именно

в рамочных условиях малой семьи. А это все равно что пытаться осуществить изменение общества при неизменных общественных структурах

в семье. В таком случае все сводится лишь к

обмену неравенств. Высвобождения женщин из домашнего труда и обеспечения брака

следует добиваться через отступление мужчин в этот «модернизированное феодальное бытие», которое сами женщины как раз отвергают. Исторически это равнозначно попытке поставить аристократию в крепостную зависимость от крестьян. Но мужчины, равно как и женщины, не откликнутся на призыв «Назад к домашнему очагу!» (и уж кто-кто, а женщины должны бы это знать!). Причем это всего лишь один аспект. Самое главное — понять:

равноправия мужчин и женщин не создать в институциональных структурах, которые предполагают неравноправие мужчин и женщин. Новых «круглых» людей не втиснуть в старые «угловатые» коробки заданностей рынка труда, системы занятости, градостроительства, системы социального обеспечения и т. д. А когда такие попытки все же имеют место, нечего удивляться, что частные взаимоотношения полов становятся ареной столкновений, которые можно «разрешить» только убыточно, испытывая на прочность «ролевой обмен» или «смешанные формы ролей» мужчин и женщин.

3. Высвобождение из женской и мужской роли?

Набросок такой перспективы странно контрастирует с вышеприведенными данными, которые ярко документируют и контртренд

обновления сословно-половой иерархии. В каком смысле вообще может идти речь о «высвобождении»? В равной ли мере женщины и мужчины высвобождаются из стереотипных заданностей своей «половой судьбы»? Какие условия этому способствуют и какие препятствуют?

За последние десятилетия существенные изменения — как показывают обобщенные выше данные — несколько высвободили женщин из традиционно женского ролевого назначения. При этом центральное место занимают пять условий, которые отнюдь не носят взаимопричинного характера.

Прежде всего благодаря

увеличению ожидаемой продолжительности жизни произошел сдвиг в биографической структуре, в протяженности жизненных фаз. Как показывают, в частности, социально-исторические исследования Артура Э. Имхофа, это способствовало

«демографическому освобождению женщин». Если в прежние десятилетия, схематично говоря, жизни женщины хватало как раз на то, чтобы произвести на свет и вырастить «желательное» для общества количество детей, то теперь такие «материнские обязанности» заканчиваются примерно к 45 годам. «Жизнь ради детей» стала для женщин

проходным жизненным этапом. За ним следуют в среднем еще

три десятилетия «опустевшего гнезда» — вне традиционного средоточия женской жизни.

«Так, ныне в одной только ФРГ свыше пяти миллионов женщин в „расцвете лет“ живут в „супружеских семьях“, из которых дети уже ушли, причем нередко эти женщины не имеют конкретного дела, придающего смысл их жизни».

(Imhof, 1981, S. 181).

Во-вторых, процессы модернизации, особенно на этапе после второй мировой войны,

реструктурировали и домашний труд . С одной стороны,

социальная изоляция домашнего труда никоим образом не является структурным признаком, внутренне присущим ему как таковому, эта изоляция — результат исторического развития, а именно детрадиционализации жизненных миров. В ходе индивидуализации малая семья обретает все более резко выраженные границы, образуя как бы «остров», который отмежевывается от сохранившихся связей (классовых культур, соседств, знакомств). Именно таким путем в существовании домашней хозяйки возникает изолированное рабочее существование *par excellence*[5]. С другой стороны,

процессы технической рационализации вторгаются и в домашний труд. Всевозможные приборы, машины и прочие потребительские товары облегчают и выхолащивают работу в семье. Она становится незаметной и бесконечной «остаточной работой» между индустриальным производством, оплачиваемыми услугами и технически усовершенствованным внутренним оснащением домашнего хозяйства. В совокупности изоляция и рационализация приводят к «деквалификации домашнего труда», которая толкает женщин, ищущих «наполненной» жизни, и к профессиональной деятельности вне дома.

В-третьих , если верно, что материнство, как и прежде, является самой сильной привязкой к традиционной женской роли, то едва ли можно переоценить значение

противозачаточных и регулирующих средств , а также

правовых возможностей прерывания беременности для высвобождения женщин из традиционных заданностей. Дети, а значит, и материнство (со всеми его последствиями) суть уже не «назначенная природой судьба», а — в принципе — дети

по желанию , материнство

по желанию . Статистика, правда, показывает, что материнство

без экономической зависимости от супруга и

без семейной ответственности по-прежнему остается для многих

утопией . Но молодое поколение женщин — не в пример поколению их матерей — может принять решение (или участвовать в его принятии), стоит ли заводить детей, когда их заводить и сколько. Одновременно женская сексуальность освобождается от «рока материнства» и может быть осознанно раскрыта и развита

вопреки мужским нормам.

В-четвертых , рост числа разводов говорит о

непрочности брачного и семейного обеспечения . Зачастую женщины живут буквально на грани нищеты. Почти 70 % всех матерей-одиночек вынуждены вместе с детьми обходиться менее чем 1200 марок в месяц. Они и пенсионерки — самые частые клиенты социальной помощи. В этом смысле женщины «освобождены», т. е.

отрезаны от пожизненной гарантии экономического обеспечения со стороны мужчины. Ведь статистически документированное стремление женщин на рынок труда (которое, пожалуй, опрокинет все прогнозы о преодолении безработицы в 90-е годы) свидетельствует и о том, что многие женщины осмыслили этот исторический урок и делают из него выводы.

В том же направлении действует,

в-пятых , уравнивание шансов на образование, которое помимо всего прочего отражает также

сильную

профессиональную мотивацию молодых женщин (см. выше).

Все это — демографическое высвобождение, деквалификация домашнего труда, предупреждение беременности, развод, участие в образовании и профессиональной деятельности — в совокупности показывает степень

высвобождения женщин из заданностей их современной, сословной женской судьбы, и высвобождения безвозвратного. Но тем самым за дело берется спираль индивидуализации: рынок труда, образование, мобильность, планирование карьеры — все это семья теперь имеет в двойном и тройном размере. Семья превращается в постоянное жонглирование множеством центробежных амбиций между профессиями и их требованиями мобильности, образовательными принуждениями, обязательствами перед детьми, которые с этим несовместимы, и монотонностью домашнего труда.

Однако таким условиям, ведущим к индивидуализации, противостоят другие, которые вновь привязывают женщин к традиционному ролевому распределению. В по-настоящему

развитом рыночном обществе, позволяющем

всем мужчинам и женщинам самостоятельно обеспечивать экономически их существование, и без того скандальные показатели безработицы наверняка возросли бы во много раз. А это означает: в условиях массовой безработицы и вытеснения с рынка труда женщины хотя и освобождены

от обеспечения брака, но не свободны

для самообеспечения путем работы по найму. Означает это и вот еще что: как и прежде, они в большинстве своем

зависимы от экономического обеспечения со стороны мужа, которое более не является таковым. Этот промежуточный этап — «свобода от», но еще не «свобода для» реального поведения наемного работника — дополнительно усугубляется обратной зависимостью от

материнства. Пока женщины рожают детей, вскармливают их, чувствуют за них ответственность, видят в них существенную часть своей жизни, дети остаются как бы желаемыми «препятствиями» в профессиональной конкурентной борьбе и соблазнами для осознанного решения

против экономической самостоятельности и карьеры.

Так противоречия между освобождением и обратной зависимостью от давнего ролевого распределения буквально рвут женщин на части, заставляя их метаться то туда, то сюда. Это отражается и в их сознании и поведении. Они бегут от домашней работы в профессиональную деятельность и, наоборот, пытаются посредством противоречивых решений на разных этапах своей биографии «каким-то образом» соединить несоединимые условия своей жизни. Противоречия окружающего мира усиливают их собственные противоречия: на бракоразводном процессе они вынуждены отвечать на вопрос, как это они пренебрегли своим профессиональным обеспечением. В семейной политике они вынуждены отвечать на вопрос, почему они не исполняют своих материнских обязанностей. Мужу они отравляют своими профессиональными амбициями и без того нелегкую профессиональную жизнь. Бракоразводное право и бракоразводная реальность, отсутствие социального обеспечения, закрытые двери рынка труда и львиная доля домашней работы — вот лишь некоторые из

противоречий, которые процесс индивидуализации принес в жизненные обстоятельства женщин.

Ситуация

мужчин совершенно иная. Если женщины

также и по причинам экономического обеспечения существования вынуждены расшатывать давнее свое ролевое предназначение к «жизни ради других» и искать новой социальной идентичности, то у мужчин

самостоятельное экономическое обеспечение существования и

давняя ролевая идентичность совпадают. В мужском ролевом стереотипе «работника-профессионала» соединяются экономическая индивидуализация и традиционное мужское ролевое поведение. Уход за другими, типичный для партнера (жены), мужчинам исторически незнаком, а «свобода

для» наемного труда при одновременной семейной жизни разумеется сама собой. Относящаяся сюда теневая работа традиционно выпадает на долю жены. Радостями и обязанностями отцовства мужчина всегда мог наслаждаться

дозированно, как досужим развлечением. Отцовство никогда не являлось настоящим препятствием для профессионального образования, напротив, принуждало к нему. Иными словами, все те компоненты, которые

вырывают женщину из традиционной женской роли, у мужчин

отсутствуют. Отцовство

и профессия, экономическая самостоятельность

и семейная жизнь в обстоятельствах мужской биографии не являются противоречиями, которые необходимо отвоевывать и удерживать

вопреки условиям в семье и обществе, более того, в традиционной мужской роли их соединимость задана и обеспечена. Но это означает, что индивидуализация (в смысле рынокопосредованного образа существования)

закрепляет мужское ролевое поведение.

Мужчины если и выступают против заданности своей половой роли, то по другим причинам. В профессиональной фиксации мужской роли тоже есть противоречия: скажем, полная отдача в профессии ради чего-то, чем потом невозможно заняться ввиду отсутствия свободного времени, а то и потребностей и способностей; вкалывание до седьмого пота неизвестно ради чего; трата времени и сил на профессиональные и производственные задачи, с которыми невозможно, но необходимо себя идентифицировать; вытекающая отсюда «безучастность», которая наделе никогда таковой не является, и т. д. Как бы там ни было, существенные импульсы к высвобождению из мужской роли, пожалуй, не имманентны, а

наводятся извне (через изменения у женщин), причем в двояком смысле. С одной стороны, благодаря большему участию женщин в наемном труде мужчины сбрасывают иго роли

единственного кормильца. Таким образом слабеет принуждение обстоятельств, заставляющее их

ради жены и детей с необходимостью подчинять себя на работе чужой воле и чужим целям. В

итоге становится возможна иная заинтересованность в профессии

и в семье. С другой стороны, «семейная гармония» становится ненадежной. Определяемая женщиной сторона мужского существования выходит из равновесия. Одновременно мужчины начинают догадываться о своей несамостоятельности в повседневной жизни и о своей эмоциональной зависимости. В том и другом заложены важные импульсы, толкающие к расшатыванию идентификации с заданностями мужской роли и опробованию новых форм жизни.

Более остро противоречия между мужчинами и женщинами проступают в конфликтах. Центральное место здесь занимают два «катализатора»:

дети и

экономическое обеспечение ; в обоих случаях они могут присутствовать в браке латентно, однако же при разводе тотчас выходят на поверхность. Примечательно, что при переходе от традиционной модели к модели «двух зарабатывающих» изменяется распределение нагрузок и шансов. В случае брачного обеспечения женщины она — говоря схематически — после развода остается с детьми и

без дохода, мужчина же — с доходом и

без детей. Во втором случае на первый взгляд мало что меняется. Женщина располагает доходом

и имеет детей (по действующему праву). Но здесь в одном важном аспекте присутствует неравноправие. По мере того как упраздняется экономическое неравенство между мужчинами и женщинами — в силу ли профессиональной деятельности женщины, в силу ли положений касательно обеспечения в бракоразводном праве, — отчетливо проступает (частью естественное, частью юридическое)

ущемление отца . Женщина, существо, становящееся незнакомым, биологически и юридически

владеет ребенком благодаря своему чреву, которое, как известно, принадлежит ей. Отношения собственности между яйцом и семенем экстериоризируются. Отец в ребенке всегда остается зависим от матери и ее произвола. Это касается, и в первую очередь, также всех вопросов прерывания беременности. Дистанцирование ролей женщин и мужчин прогрессирует, и маятник грозит качнуться в другую сторону. Мужчины, освобождающиеся от «рока» профессии и поворачивающиеся лицом к детям, обнаруживают пустое гнездо. Тот факт, что (особенно в США) участились случаи, когда отцы

похищают детей, отнятых у них после развода, говорит сам за себя.

Но индивидуализация, разделяющая ролевые позиции мужчин и женщин, вновь толкает их и к совместной жизни. С

ослаблением традиций растёт привлекательность супружеской общности . Все утраченное внезапно ищут в другом. Сперва ушел Бог (или мы его выпихнули). Слово «вера», некогда означавшее «познание», ныне имеет довольно жалкий оттенок. Исчез Бог — люди перестали ходить к священнику, а значит, растёт груз вины, которую уже не с кем разделить и которая при размывании грани между «правильно» и «неправильно» все равно не становится меньше, а только неопределеннее и неопределимое. Классы, которые хотя бы умели истолковать накапливавшееся в них страдание, перекочевали из жизни в речи и цифры. Давние соседства, возникавшие в обмене и в воспоминаниях, исчезли в условиях мобильности. Знакомства еще существуют, но сосредоточиваются они вокруг собственного

центра. Можно вступать и в разные общества и союзы. Палитра контактов скорее расширяется, растет, становится многообразнее. Но многочисленность делает их менее прочными, более поверхностными. Выказывая сугубо схематический интерес друг к другу, люди тем самым изначально отвергают претензию на нечто большее. Ласка тоже зачастую мимолетна, что-то вроде рукопожатия. Все это способно поддерживать динамизм и открывать «возможности», но тем не менее многочисленность связей не может заменить тождествообразующую силу стабильных первичных взаимоотношений. Как показывают исследования, необходимо

и то и другое, и многочисленность многообразных связей,

и прочная близость. Счастливые в браке женщины страдают от проблем контактов и социальной изоляции. Разведенные мужчины, объединившиеся в группы, чтобы высказать свои проблемы, не могут справиться с внезапным одиночеством, даже если они входят в социальные сетевые структуры.

В идеализациях современного идеала любви опять-таки отражается путь модерна. Чрезмерное идеализирование — обратная сторона утрат, какие приносит модерн. Если не Бог, не священник, не класс, не сосед, так хотя бы

ты. А «размеры» этого

ты — всего лишь инверсия пустоты, царящей вокруг.

Это означает также, что брак и семья держатся не столько на материальном фундаменте и на любви, сколько на страхе перед одиночеством. Именно одиночество, которое грозит и впускает страх за

их пределами, при всех кризисах и конфликтах, наверное, и составляет самый надежный фундамент брака.

Во всем этом заключена прежде всего принципиальная релятивизация разногласий вокруг семьи. Гражданскую малую семью, через форму которой в высокоиндустриализованных демократиях Запада нормирована совместная жизнь полов, то провозглашали священной, то предавали анафеме, то полагали, что кризисы семьи следуют один за другим, то объявляли, что она восстает из пут приписываемых ей кризисов. Но все это остается привязано к вердикту домной альтернативы. Обвинять семью во всех тяжких грехах или, наоборот, идеализировать ее — значит впасть в ошибку. Семья — лишь поверхность, на которой

зримо проступают исторические конфликты

между мужчинами и женщинами. Внутри ли, вне ли семьи — помы неизбежно сталкиваются, а стало быть, сталкиваются и противоречия, накопленные между ними.

Но в каком же смысле тогда можно говорить об

освобождении относительно семьи? В динамике индивидуализации в семье

вообще начинают меняться формы совместной жизни. Связь семьи и индивидуальной биографии слабеет. «Пожизненная» единая семья, хранящая в себе совокупные родительские биографии мужчин и женщин, становится исключительным случаем, правилом же становится специфическое для каждой жизненной фазы метание между разными семьями «на время» или нефамилиальными формами совместной жизни. На оси времени семейная привязка биографии истончается при переходе от одного жизненного этапа к другому,

а тем самым упраздняется. Из-под становящихся заменимыми семейных связей выщипывается вне и внутри семьи самостоятельность

отдельной мужской и женской

биографии. С привязкой к той или иной фазе каждый(-ая) проживает несколько частичных семейных жизней, а также бессемейных жизненных форм и как раз

поэтому все больше живет собственной жизнью. Таким образом, лишь в

продольном разрезе биографии — не во всякий данный момент и не в семейной статистике — проявляется индивидуализация семьи, т. е. инверсия приоритета семьи и индивидуальной биографии (внутри и вне семьи). Поэтому эмпирически степень освобождения из семьи находит свое выражение в жизненно-историческом обзоре данных о разводах и повторных браках, о до-, между- и околобрачных формах совместной жизни, которые — взятые по отдельности и соотнесенные с «за» и «против» семьи — остаются противоречивы. Оказавшись перед выбором из двух крайностей — семья или не семья, — все большее число людей теперь «выбирает» третий путь: противоречивую,

плюралистическую суммарную биографию на переломе. Этот биографический плюрализм жизненных форм, т. е. смена семей, соединенная и прерываемая другими формами совместной или одинокой жизни, становится (парадоксальной) «нормой» общности и противостояния мужчин и женщин в условиях индивидуализации.

С точки зрения жизни в целом большинство людей, таким образом,

вступили в исторически назначенную, болезненную и пугающую

фазу опробования форм совместной жизни, причем предугадать конец и результат этого ныне еще невозможно. Но все выстраданные «заблуждения» не способны удержать от новой «попытки».

4. Осознание социальных неравенств: возможности и принуждения выбора

Различия и антагонизмы в положении женщин и мужчин существуют не со вчерашнего дня. И все же вплоть до 60-х годов подавляющее большинство женщин воспринимали их как «вполне естественные». Но вот уже два десятилетия эта ситуация привлекает все большее внимание и имеют место направленные политические усилия, цель которых — добиться равноправия женщин. С первыми же успехами

обостряется сознание неравенства.

Фактические неравенства, их условия и причины следует, таким образом, отличать от их

осознания. Антагонизмы между мужчинами и женщинами имеют две стороны, которые могут варьироваться совершенно независимо друг от друга: объективность положений

и их делегитимация и осознание. Тот, кто соотнесет долговременность принятия неравенств с кратковременностью их проблематизации и одновременно заметит, что только устранение неравенств и позволило увидеть их по-настоящему, не станет пренебрегать самостоятельным значением осознания. А теперь пора задаться вопросом об условиях этого осознания.

В ходе модернизации во всех сферах социальной активности множатся решения и связанные с ними принуждения. Слегка преувеличивая, можно сказать:

«anything goes» [6]. Кто и когда моет посуду, перепеленывает орущих младенцев, ходит в магазин и пылесосит, становится совершенно неясно, равно как и то, кто и как зарабатывает на булочки, определяет мобильность и почему, собственно говоря, восхитительные ночные прелести постели дозволено вкушать, только соглашаясь на предусмотренные и зарегистрированные загсом будни. Брак можно отнять от сексуальности, а эту последнюю от родительских связей, родительские связи можно умножить на развод и все это поделить на совместную или раздельную жизнь и возвести в степень нескольких местожительств и всегда возможного пересмотра ситуации. Эта, вычислительная операция дает справа от знака равенства довольно солидную, но еще текучую цифру, которая до некоторой степени косвенно отражает многообразие прямых и чрезвычайно усложненных теневых существований, все чаще таящихся ныне; под давними и столь дорогими для всех словечками «брак» и «семья».

Во всех измерениях биографии прорываются

возможности и

принуждения выбора. Необходимые для этого планы и договоренности в принципе расторможены, а касательно содержащихся в них неравных нагрузок зависимы от легитимации. В соотнесенных с этим дискуссиях и договоренностях, ошибках и конфликтах все ярче проступают риски и последствия, различные для мужчин и женщин. Превращение заданностей в решения означает при системном подходе двоякое:

возможность непринятия решения становится согласно тенденции невозможной. Возможность решения раскрывает долженствование, от которого просто так не отступить. Необходимо пройти через жернова соотнесения, раздумья, а значит, взвешивания различных последствий. Но, во-вторых, это означает, что обдумываемые решения

ведут к осознанию проявляющихся в них неравенств и вспыхивающих в силу этого конфликтов и усилий по их разрешению. Начинается это уже при, по сути, обычном решении о профессиональной мобильности (подвижности). С одной стороны, рынок труда требует мобильности без учета личных обстоятельств. Брак и семья требуют прямо противоположного. Если до конца додумать рыночную модель современности, то в основе ее предполагается бессемейное и безбрачное общество. Чтобы обеспечить свое экономическое существование, каждый должен быть самостоятелен и свободен для требований рынка. Рыночный субъект в конечном счете — одинокий индивид, не «отягощенный» партнерством, браком или семьей. Соответственно, развитое рыночное общество — еще и общество бездетное, ну разве что дети растут подле мобильных одиночек — отцов и матерей.

Это противоречие между требованиями партнерства и требованиями рынка труда могло оставаться скрытым до тех пор, пока считалось, что для женщины брак означает отказ от профессии, ответственность за семью и «со-мобильность» под профессиональной звездой мужа. Оно проступает там, где

оба супруга должны или хотят быть свободны для того, чтобы обеспечивать себе средства к существованию, работая по найму. Для разрешения и смягчения этого противоречия мыслимы, конечно,

институциональные способы (например, минимальный доход для всех граждан или некая социальная гарантия, не привязанная к профессиональной деятельности; устранение всех препятствий, затрудняющих двойную занятость супругов; соответствующие «критерии допустимости» и т. д.). Однако их нет и они вообще не предусмотрены. Поэтому супружеские пары вынуждены искать

частные решения, которые в рамках имеющихся возможностей выливаются во внутреннее распределение

рисков . В таком случае возникает вопрос: кто

откажется от экономической самостоятельности и стабильности, т. е. от того, что в нашем обществе является естественной предпосылкой образа жизни? Ведь тот, кто идет на уступки, вынужден (большой частью) мириться со значительной профессиональной ущемленностью, если

она (женщина) вообще не лишается своей профессиональной карьеры. Соответственно растет уровень конфликтов. Брак, семья, партнерство становятся местом, где обращенные в личную сферу противоречия насквозь модернизированного рыночного общества опять-таки уже нельзя компенсировать. К проблеме женской профессиональной мобильности присоединяется еще целый ряд проблем: время появления детей на свет, их количество и уход за ними; вечная рутина будничных работ, которые невозможно распределить справедливо; «однобокость» способов предупреждения беременности; кошмарные проблемы прерывания беременности; различия в характере и частотности сексуальных потребностей; не следует забывать и о напористости зрительного восприятия, которое даже в рекламе маргарина чует сексизм. Во всех этих чреватых конфликтами ключевых темах совместной жизни мужчин и женщин ярко проявляется

диссоциация положений: время родительства в обстоятельствах мужской и женской жизни сопряжено с совершенно разными предпосылками и препятствиями и т. д.

Раз уж в конечном итоге имеет место брак «до отзыва» — так сказать, «с ориентацией на развод» (как того требуют наводнившие рынок книги по вопросам брака, муссирующие договорное регулирование всех деталей от раздела имущества до внебрачного секса), — то, значит, раздел, который нужно предотвратить, фактически предусмотрен заранее, и во всех решениях и урегулированиях все явственнее проступают неравные последствия. Детабуизация и новые технические возможности, которые вторгаются здесь в семью — достаточно назвать хотя бы возможности формирования ребенка, о которых рассуждают психологи и педагоги, возможности вторжения в утробу матери, не говоря уже о научно-фантастической реальности человеческой генетики (см. с. 338 и сл... наст. изд.), — мало-помалу разделяют издавна объединенные в семье положения: женщина против мужчины, мать против ребенка, ребенок против отца. Традиционное единство семьи распадается в решениях, которых от нее требуют. Многие из этих проблем привносят в семью не сами люди, хотя им нередко так кажется и они укоряют себя в этом. Почти все конфликтные темы имеют и институциональную сторону (детская тема, например, во многом связана с институционально закрепленной невозможностью соединить уход за детьми и профессиональную деятельность). Но понимание этого отнюдь не улучшит уход за детьми! Таким образом, все, что бьет по семье извне — рынок труда, система занятости, право и т. д., — с необходимостью извращается и коверкается, принимая облик личного. В семье (и всех ее альтернативах) возникает поэтому системно обусловленное ложное представление, будто именно в ней самой заключены нити и рычаги, с помощью которых можно изменить нынешнее фатальное неравенство полов для конкретной пары.

Ядро семьи, святыня родительства, тоже начинает распадаться на составные части — материнство и отцовство. В ФРГ ныне почти каждый десятый ребенок растет под опекой только отца или только матери. Число неполных семей растет, тогда как число полных семей с двумя родителями убывает. Одинокая мать при этом уже не только «брошенная» женщина, это возможность, которую

выбирают и ввиду конфликтов с отцом (каковой нужен женщине, собственно, лишь

для этого , а больше ни для чего) нередко считают единственным способом завести более чем когда-либо желанного ребенка.

В ходе внутрисемейного процесса индивидуализации меняется — как показывают Элизабет Бек-Гернсхайм и Мария Реррих — и социальное отношение к ребенку, и качество привязанности к нему. С одной стороны, ребенок становится помехой процессу индивидуализации. Он стоит труда и денег, с ним постоянно сопряжены неожиданности, он сковывает и путает тщательно продуманные дневные и жизненные планы. С момента появления на свет ребенок развивает и совершенствует свою «диктатуру нужды» и уже одной только силой голосовых связок и сиянием улыбки навязывает родителям свой природный жизненный ритм. Но, с другой стороны, именно это и делает его незаменимым. Ребенок становится

последней, нерасторжимой, незаменимой первичной связью. Партнеры приходят и уходят. Ребенок остается. На него направлено все то, о чем человек мечтает, но не может иметь в партнерстве, в супружестве. Когда отношения между полами утрачивают прочность, ребенок как бы завладевает монополией на осуществимую жизнь вдвоем, на реализацию эмоций в первозданной суете, которая в иных сферах становится все реже и сомнительнее. В ребенке культивируется и торжествует анахроничный социальный опыт, который в процессе индивидуализации как раз и делается невероятным

и желанным. Балование детей, «инсценировка детства», которой потчуют этих боготворимых бедняжек, и ожесточенная борьба за детей во время и после развода — вот лишь некоторые симптомы этого. Ребенок —

последнее средство против одиночества, которое позволяет людям хоть как-то возместить ускользающие возможности любви. Это

приватный способ «нового околдовывания», приобретающий значимость в ходе разволшебствования и черпающий ее в нем. Рождаемость падает. Однако значимость ребенка

растет. Больше одного, как правило, не бывает. Такие затраты почти не по карману. Но тот, кто полагает, что (экономические) затраты способны удержать людей от деторождения, находится в шорах собственного пристрастия к утилитарному мышлению.

Часть средневековья, которую индустриальное общество не только консервирует, но и продуцирует, теперь тает. Люди освобождаются от сословных скорлуп пола, возведенных в ранг изначально заданных от природы. Очень важно видеть это в историческом масштабе,

потому что данное общественно-историческое изменение совершается как частный, личный конфликт. Психология (и психотерапия), сводящая недуг, принявший ныне массовый характер, к индивидуальной истории социализации на стадии раннего детства,

приходит к короткому замыканию. Когда люди сталкиваются с конфликтами, вытекающими из заданных жизненных форм, когда совместная их жизнь перестает быть примером для подражания, нельзя сводить их недуг к одним только упущениям и установкам в истории их индивидуального развития. Секс, брак, эротика, родительство в условиях освобождения из модернизированных сословно-половых статусов мужчин и женщин во многом связаны с социальным неравенством, профессией, рынком труда, политикой, семьей и укорененными в них бесперспективными формами жизни. Психологии еще предстоит осуществить такую историзацию и общественно-исторический пересмотр собственных форм мышления, если она не станет цепляться за кажимость выгодной ей индивидуализации, а увидит наконец, что причины проблем таятся в людях, которые имеют эти проблемы.

5. Сценарии будущего развития

Вековые конфликты накапливаются. Но как с ними «справиться» — приватно и политически, — пока непонятно. Из перечисленных

объективных моментов освобождения нельзя сделать вывод о

сознании и поведении мужчин и женщин. Наряду с индивидуальными судьбами и как раз в возможностях личностного формирования, заложенных в семейных и интимных отношениях, это во многом зависит и от политического развития и институциональных возможностей поддержки и компенсации. Исторически складывающееся пространство возможностей следует разметить здесь по трем (отнюдь не взаимоисключающим) вариантам: (1)

назад к семье в традиционных формах; (2)

уравнивание по образцу мужчин; (3) опробование новых жизненных форм

за пределами женской и мужской роли.

Назад к малой семье

Отвечая на вопрос о будущем семьи как таковой, зачастую исходят из ложных предпосылок. Известную форму нуклеарной семьи противопоставляют некоему расплывчатому состоянию «бессемейности» или же изначально предполагают, что нуклеарную семью заменит иной тип семьи. Куда вероятнее (если набросок нашего анализа справедлив), что не какой-то один тип семьи вытеснит другой, а что возникнет и будет параллельно существовать

широкий диапазон семейных и внесемейных форм совместной жизни. Характерно, что многие из них — одинокое существование, добрачное и брачное сожительство, коллективное проживание, варьируемые отношения отцовства и материнства в результате одного-двух разводов и т. д. — войдут как этапы в

одну совокупную биографию.

Но даже такое вычленение и плюрализация жизненных форм вследствие «естественных» процессов модернизации ощущается и клеймится многими как угроза культурным ценностям и жизненным основам современного мира. Многим прорыв из брака и семьи кажется

«безбрежным индивидуализмом», которому необходимо противодействовать целенаправленными мерами по укреплению семьи. Поскольку в первую очередь именно женщины стремятся к «собственной жизни» за пределами отведенной им роли в работе по дому и в обеспечении брака, их частные и политические усилия наталкиваются на особые опасения, скепсис и сопротивление. Меры по спасению семьи как таковой ориентируются при этом на стандартную норму совместной жизни — супруг, обеспечивающий булочки, супруга, делающая бутерброды, и двое-трое детей, — вообще возникшую лишь в XIX веке, вместе с индустриальным обществом. И несмотря на все перечисленные тенденции индивидуализации и освобождения, есть также условия и развития, которые социально придают вес требованию «Назад к домашнему очагу!».

В подавляющем большинстве женщины очень далеки от экономически самостоятельной, профессионально стабильной биографии. Достаточно обратиться хотя бы к показателям женской занятости. В июне 1984 года при растущей профессиональной ангажированности лишь

немногим более половины (51,7 %) всех женщин в возрасте от 15 до 65 лет имели самостоятельный заработок, т. е. либо выполняли оплачиваемую работу, либо были официально зарегистрированы как безработные (1983 — 50,7 %). В тот же период среди мужчин самостоятельный заработок имели более

четырех пятых (1983 — 82 %; 1984 — 81,4 %). Иными словами, большая и растущая часть женщин остается зависимой от обеспечения со стороны мужчины через брак.

Сохраняющаяся массовая безработица и ограниченные, скорее, даже уменьшающиеся емкости рынка труда в целом консервируют и рестабилизируют традиционные роли и компетенции мужчин и женщин. Подкрепляет эту тенденцию освобождения

от труда с целью заработка

в пользу обеспечения брака желание многих женщин иметь детей. Оба стабилизатора женской роли — безработица и желание иметь детей — особенно действенны там, где у молодых женщин по-прежнему существует или вновь возникает дефицит в образовании, а именно в образовании профессиональном, и в рамках подрастающего поколения женщин ведут, таким образом, к

поляризации биографических образцов по оси образовательной иерархии.

Но тот, кто видит спасение семьи в закрытых дверях рынка труда, ведет свои расчеты, не спрашивая мужчин и женщин, которым должно и желательно жить вместе в таких условиях. Во-первых, совершенно неясно, как молодые женщины преодолеют крушение своего решительно высказанного желания получить профессию и связанную с этим зависимость от супруга. Открытым остается и вопрос о том, вправду ли соответственно большое число молодых мужчин готово (и в состоянии ли вообще, с учетом собственной профессиональной ситуации) вновь надеть на себя пожизненное ярмо кормильца. Так или иначе, возникающий разлад между систематически воспроизводимыми ожиданиями равноправия и неравноправной реальностью женщины в профессии и в семье спихивается в приватную сферу внутри и вне брака и семьи. Нетрудно предсказать, что все это приведет к индуцированному извне

усилению конфликтов взаимоотношений. В конечном счете барьеры рынка труда стабилизируют малую семью лишь иллюзорно, на деле же они только способствуют росту числа разводов и очередей к психотерапевтам и консультантам по вопросам брака.

Одновременно таким образом заранее программируется новое «обнищание» женщин. Тот, кто при растущем числе разводов теснит женщин с рынка труда назад к домашнему очагу, должен хотя бы знать, что тем самым он

резервируется большей частью общества

дыры в социальной сети.

Это указывает на принципиальные изъяны в замысле и реализации всех попыток восстановить давние взаимоотношения между мужчинами и женщинами в семье и профессии. Во-первых, они откровенно противоречат юридически зафиксированным принципам современных демократических обществ, согласно которым неравное положение не является заданным от рождения, а приобретается по достижениям и участию в занятости, каковое открыто для всех. Во-вторых, изменения внутри семьи и в межполовых отношениях сужаются до частного феномена и частной проблемы, а взаимосвязь с социальными и культурными модернизациями вовсе не учитывается.

Не в последнюю очередь это отражается во множестве шумных дискуссий вокруг «рецептов»,

которые якобы помогут наладить распадающуюся семейную гармонию. Одни считают, что лучший выход — целенаправленные «курсы семейного воспитания». Другие видят оптимальный способ оздоровления семьи в профессионализации выбора супруга/супруги. Если будет достаточно терапевтических учреждений и консультаций по вопросам брака, полагают третьи, то все проблемы будут устранены. В «кризисе семьи» обвиняют буквально всё — от порнографии до феминизма и легализованного прерывания беременности — и требуют принять безотлагательные меры. А ведь именно беспомощность — крестная мать таких заявлений. Историческое развитие и социальные взаимосвязи, из которых вырастают конфликты, целиком выпадают из поля зрения.

Но, как говорил Макс Вебер, модернизация — это не фиакр, из которого можно в случае чего выйти на ближайшем углу. Тот, кто в самом деле хочет восстановить семью в формах 50-х годов, должен пустить часы модернизации вспять и вытеснить женщин с рынка труда не только украдкой — например, выплачивая пособия по материнству или повышая престижность домашнего труда, — но совершенно открыто, и не только с рынка труда, но разом и из образовательной сферы; заодно следовало бы увеличить перепад заработной платы, а в конце концов отменить и законодательное равенство, ведь, может статься, все беды начались с всеобщего избирательного права, заодно придется ограничить или запретить мобильность, рынок, новые средства и технологии информации и т. д. Короче говоря, неделимые принципы модерна пришлось бы

располовинить, а именно: одному полу (естественно) их пред оставить, а у другого (естественно) отнять, причем раз и навсегда.

Равенство мужчин и женщин

В качестве встречного требования выдвигается требование

равноправия женщин во всех общественных сферах. Всеобщность принципов модерна предъявляет иск патриархальному располовиниванию и требует осуществления — в работе по дому, в парламентах и правительствах, на фабриках, в менеджменте и т. д. В дискуссиях женского движения это требование равноправия обычно сопряжено с требованием

изменить «мужской мир — профессию». Идет борьба за экономические гарантии, влияние, участие женщины в принятии решений, но и за то, чтобы таким образом привнести в социальную жизнь также и другие «женские» ориентации, ценности и формы общения. Конкретное «равенство» по-прежнему ждет своей интерпретации. Здесь мы рассмотрим одно — большей частью упускаемое из виду — следствие определенной интерпретации. Если «равенство» истолковывается и реализуется в смысле осуществления общества рынка труда для всех, то в таком случае — по определению — вместе с равноправием создается в конечном счете

полностью мобильное общество одиночек.

Главная фигура

развитого модерна — если додумать мысль до конца — это

одинокий мужчина или

одинокая женщина. Потребности рынка труда абстрагируются от потребности семьи, брака, материнства, отцовства, партнерства и т. д. И тот, кто в этом смысле предъявляет иск

мобильности на рынке труда, не учитывая частных потребностей, стимулирует — именно как апостол рынка — распад семьи. Данное противоречие между рынком труда и семьей (или партнерством вообще) оставалось скрытым до тех пор, пока брак для женщин был равнозначен ответственности за семью, отказу от профессии и от мобильности. Ныне оно прорывается наружу в той мере, в какой о разделении профессионального

и семейного труда предоставлено решать самим партнерам (супругам). При такой «рыночной» интерпретации требования равенства спираль индивидуализации все больше захватывает взаимоотношения между мужчинами и женщинами. И это не просто умозрительный эксперимент — достаточно назвать резко возрастающее в международном масштабе число домашних хозяйств, состоящих из одного человека, а также число матерей-и отцов-одиночек. Но не менее ясно это видно и по тому образу жизни, которого требуют от людей такие условия.

В той жизни, которую — при всей социальной ориентации и многообразии — по сути (с необходимостью) приходится вести в одиночестве, нужны мероприятия, защищающие данный образ жизни от внутренне присущих ему опасностей. Необходимо создавать и культивировать контактные круги на самые разные случаи. А это требует от человека изрядной собственной готовности помочь другим нести их тяготы. Интенсификация дружеской сети остается неременным условием и является тем удовольствием, которое дает одинокая жизнь. Ведь как раз изысканные мимолетности обладают своими прелестями. Все это предполагает максимально стабильную профессиональную позицию — как источник дохода и как самоутверждение и социальный опыт, — которую необходимо соответствующим образом культивировать и укреплять. Возникающий таким образом «космос собственной жизни» формируется и балансируется относительно центра, т. е. собственного «я», его уязвимых мест, возможностей, сильных и слабых сторон.

Но по мере реализации такого индивидуализированного образа жизни растет и опасность, что он станет непреодолимым препятствием для (большей частью все-таки желанного) партнерства (брака, семьи). При одиноком существовании растет тоска по другому (другой), а равно и невозможность вообще каким-то образом включить этого человека в структуру теперь уже по-настоящему «собственной жизни». Эта жизнь наполнена неприсутствием другого. Теперь для него (для нее) более нет места. Все дышит враждебностью одиночества: множество связей, права, которыми человек их наделяет, привычки быта, планирование своего времени, способы отступления, чтобы превозмочь скрытую боль. Желанное партнерство ставит под угрозу эту тщательно созданную шаткую гармонию. Конструкции самостоятельности становятся тюремной решеткой одиночества. Круг индивидуализации замыкается. «Собственную жизнь» необходимо защитить получше, стены, частью сами же вызывающие повреждения, от которых они должны защитить, необходимо сделать еще выше.

Данная форма существования одиночки вовсе не отклонение от пути модерна. Это исконный образ

развитого общества рынка труда. Отрицание социальных связей, осуществляемое в рыночной логике, на самой высокоразвитой своей стадии начинает разрушать и предпосылки прочного длительного партнерства. Таким образом, оно представляет собой случай парадоксальной социализации, при которой высокоразвитые общественные отношения, в ней самой прорывающиеся, более не обнаруживают себя. В свете изложенного данное соображение носит прежде всего «идеально-типический» характер. Но, как показывают данные (см. выше), оно обретает все большую реальность. Мало того:

вероятно, оно — незамеченное и невольное последствие, к которому приводит требование равенства полов при данных институциональных условиях. Тот, кто — как некоторая часть женского движения — с полным правом продолжает традиции, при которых начался модерн,

кто требует и добивается соответствующего рынку равноправия мужчины и женщины, должен также отчетливо видеть, что в конце этого пути, по всей вероятности, ждет не равноправное согласие, а

дробление на антагонистичные и расходящиеся пути и положения, о чем уже сейчас свидетельствует множество признаков, скрытых под поверхностью совместной жизни.

За пределом женской и мужской роли

Оба экстремальных варианта недооценивают принципиальное положение вещей, занимающее здесь центральное место. Противоречия между семьей и рынком труда

не снимаются ни посредством консервации семьи, ни посредством генерализации рынка труда. Упускается из виду, что социальное неравенство между мужчинами и женщинами отнюдь не поверхностный феномен, который можно скорректировать

в рамках структур и форм семьи и профессиональной сферы. Эти эпохальные социальные неравенства встроены в основную схему индустриального общества, в соотношение производства и воспроизводства, труда внутри семьи и труда с целью заработка. Через них прорываются противоречия между модерном и контрмодерном

в самом индустриальном обществе. Вот почему их невозможно устранить, благоприствая «свободе выбора» между семьей и профессией. Равноправия мужчин и женщин нельзя достичь в рамках институциональных структур, изначально ориентированных на неравноправие. Лишь продуманно изменяя совокупную институциональную систему развитого индустриального общества с учетом жизненных предпосылок семьи и партнерства, можно шаг за шагом добиться качественно нового равноправия

за пределом мужской и женской роли. Мнимой альтернативе

«восстановления семьи» или

«сквозного рынка» мы противопоставим третий путь — путь

сдерживания и затормаживания рыночных отношений, связанный с целенаправленным осуществлением социальных форм жизни. Причем нижеследующее лишь наглядно поясняет главную мысль.

Данный принцип следует понимать в точности как отражение эскизно намеченного здесь теоретического толкования: с индивидуализацией семьи разделение производства и воспроизводства делает, так сказать, второй исторический шаг — совершается

в семье. Возникающие при этом противоречия соответственно можно уладить, только если предоставлены или возможны

институциональные возможности воссоединения труда и жизни на уровне достигнутого разделения, а именно во всех компонентах расходящихся рыночных биографий.

Начнем с

мобильности, обусловленной рынком труда. Во-первых, вполне мыслимо амортизировать сами индивидуализирующие эффекты мобильности. До сих пор считают более чем естественным исходить из того, что мобильность есть мобильность

индивидуальная . Семья, а с нею и женщина, беспрекословно ей подчиняется. Возникающую при этом альтернативу: отказ женщины от профессии (со всеми долговременными последствиями) или «шпагатная семья» (первый шаг к разводу) — сваливают на супругов как проблему сугубо личную. А ведь фактически следовало бы опробовать и институционализировать

супружеские формы рыночной мобильности. Под лозунгом: хочешь сохранить супруга (супругу), обеспечь ему (ей) занятость. Ведомству по вопросам труда и биржам труда не худо бы организовать

для семей консультации по выбору профессии и обеспечению рабочих мест. Предпринимателям (государству) тоже следовало бы не только рассуждать на словах о «семейных ценностях», но и помогать их стабилизации посредством моделей супружеской занятости (возможно, по целому комплексу предприятий сразу). Параллельно нужно проверить, нельзя ли устранить существующие в определенных областях принуждения мобильности (скажем, на университетском рынке труда). В том же ряду мероприятий стоит социальное и правовое

признание иммобильности по семейно-партнерским причинам. При оценке «допустимости» смены места работы просто необходимо учитывать и угрозы для семьи.

Кстати, ввиду стабильной массовой безработицы, охватывающей свыше двух миллионов человек, требование ограниченной всеобщей мобильности выглядит еще более нереальным, чем оно уже есть. Сходные эффекты могут быть достигнуты, пожалуй, при совершенно ином подходе, если, например, в целом ослабить

взаимосвязь между обеспечением существования и участием в рынке труда — будь то путем наращивания социальной помощи в направлении минимального дохода для всех граждан, будь то путем комплексного решения проблем медицинского и пенсионного обеспечения наемного труда и т. д. Такое ослабление гаяк рынка труда имеет свои традиции (гарантии со стороны социального государства, сокращение рабочего времени и т. д.). Оно так или иначе стоит на общественной повестке дня вкупе с противонаправленным развитием, выражающимся в массовой безработице, — стремлением женщин на рынок труда при одновременном уменьшении объема труда в результате повышения производительности труда (см. глава VI).

Но даже умеренная, «благоприятствующая семье» сдержанная динамика рынка труда — только одна сторона ситуации. Необходимо по-новому дать людям социальную возможность совместной жизни. Растерявшая свои социальные связи малая семья демонстрирует невероятную интенсификацию труда. Многие, что можно бы с (большей) легкостью разрешить сообща, в рамках нескольких семей, превращается в постоянную перегрузку, если человек противостоит этому в одиночку. Яркий пример — родительские задачи и заботы. Однако обстоятельства жизни и взаимоподдержки, охватывающие по несколько семей, исключаются, как правило, уже в силу

жилищных условий . Профессиональная мобильность и тенденция к одинокому существованию уже застыли в камень. Квартиры становятся меньше. Их проектируют и строят в расчете на индивидуальную мобильность семей. Желание нескольких семей съехаться и быть мобильными сообща, исключается уже в силу планировки квартир, домов, жилых кварталов. И это лишь один пример. Не только архитектура, городское планирование и т. д. изначально задают индивидуализацию и исключают социальную жизнь. О конкретных изменениях можно фантазировать сколько угодно. Воспитание детей, например, можно было бы облегчить не только обеспечивая возможность добрососедской взаимопомощи, но и посредством новой специализации — «матери на день» — или посредством школьной системы, которая не будет рассматривать «родительское репетиторство» как свой

естественно подразумеваемый компонент, и т. д.

Об осуществимости и возможном финансировании этой «утопии» есть что сказать. Но мы здесь говорим не о конкретике, а о веской теоретической аргументации, задача которой — разбить ложную альтернативу между семейным консерватизмом и адаптацией к рынку. Кстати, посредством этих или других институциональных изменений всегда создается и гарантируется лишь пространство

возможности . Новые формы совместной жизни

за пределами сословных ролей мужчины и женщины должны изобрести и опробовать сами. Но при этом первоочередное значение приобретают пресловутые «прибежища уюта и задушевности». Только на первый взгляд все выглядит так, будто общественное движение 70-х годов погибло в «субъективном самолюбовании». Куда ни посмотришь, в рамках повседневных отношений и связей внутри и вне брака и семьи ныне под бременем отживших жизненных форм осуществляется тяжелейшая работа. В совокупности здесь совершаются изменения, которые уже пора перестать рассматривать как приватный феномен. Деликатная практика разного рода совместной жизни, постоянно чреватые провалом, упорные попытки обновить взаимоотношения полов, вновь ожившая солидарность на почве

разделенной и

признанной эксплуатации — все это аккумулируется и подрывает устои общества даже не так, как «системоизменяющие стратегии», которые зависли на уровне своей теории[7]. Отступления на пути вперед вызваны многими причинами, но не в последнюю очередь и грузом противостоящих институциональных условий. За многое из того, что ныне мучает и мужчин и женщин, они лично ответственности не несут. Если данная точка зрения пробьет себе дорогу, это будет большое завоевание, быть может даже завоевание политической энергии, необходимой для изменений.

Глава V

Индивидуализация, институционализация и стандартизация жизненных обстоятельств и образцов биографий

«Индивидуализация» — понятие чрезвычайно многозначное, вводящее в заблуждение и даже, быть может, ложное, однако указывающее на нечто важное. И до сих пор подойти к нему пытались именно со стороны этого важного, со стороны реальности. Многозначность же этого слова оставляли по возможности в стороне. Ниже мы попробуем двумя этапами ввести несколько понятийно-теоретических уточнений. Прежде всего набросаем общую, аналитическую и как бы внеисторическую

модель индивидуализации , что позволит во многом обобщить классическую дискуссию начиная с К. Маркса, М. Вебера и кончая Э. Дюркгеймом и П. Зиммелем, а также, быть может, разъяснить некоторые центральные недоразумения. Во-вторых, эта «модель» будет дополнена и уточнена применительно к послевоенной ситуации в ФРГ. Причем теорема индивидуализации займет центральное место: то, что в последние два десятилетия наметилось в ФРГ (а возможно, и в других индустриальных странах Запада), необходимо интерпретировать уже не имманентно, в рамках прежней системы понятий, как изменение сознания и положения людей, а — прошу прощения за усложненность формулировки — как начало

нового способа обобществления, как своего рода «метаморфозу» или «категориальное изменение» в отношениях индивида и общества[8]

1. Аналитические аспекты индивидуализации

«Индивидуализация» как явление возникла отнюдь не во второй половине XX века. Аналогичные «индивидуализированные» стили жизни и жизненные ситуации можно найти в эпоху Возрождения, в придворной культуре средневековья, в духовном аскетизме протестантизма (Макс Вебер), в освобождении крестьянина от сословной покорности (Маркс), в XIX и в начале XX столетия — в ослаблении внутрисемейной связи между поколениями (Имхоф), а также в процессах мобильности — скажем, в бегстве из деревень и стремительном росте городов и т. д. В таком обобщенном смысле «индивидуализация» подразумевает определенные субъективно-биографические аспекты процесса цивилизации (по Н. Элиасу), особенно на его последней ступени индустриализации и модернизации: модернизация ведет не только к образованию централизованной государственной власти, к концентрации капитала и все более утонченному переплетению разделений труда и рыночных отношений, к мобильности, массовому потреблению и т. д., но и — тут мы подходим к обобщенной модели — к тройной «индивидуализации»:

освобождению от исторически заданных социальных форм и связей в смысле традиционных обстоятельств господства и обеспечения («аспект освобождения»),

утрате традиционной стабильности с точки зрения действенного знания, веры и принятых норм («аспект разволшебствления») и — что как бы инвертирует смысл понятия — к

новому виду социальной интеграции («аспект контроля и реинтеграции»).

Эти три момента — выделение (освобождение), утрата стабильности, новая интеграция — сами по себе уже суть неиссякаемый источник недоразумений. Они образуют общую,

внеисторическую модель индивидуализации. Однако мне представляется важным дифференцировать ее понятийно по еще одному аспекту: а именно по

(объективной) жизненной ситуации и

(субъективному) сознанию (идентичность, становление личности).

Главное недоразумение, связанное со словом «индивидуализация», вытекает и подпитывается из его отождествления с правым верхним полем: у многих «индивидуализация» ассоциируется с индивидуацией и приравнивается к становлению личности, неповторимости и эмансипации. Может быть, это и верно. А может быть, нет, и даже совсем наоборот.

Касательно всей правой части до сих пор сказано мало или вообще ничего. По сути, это была бы совершенно отдельная книга. В основном все рассуждения ограничивались левой объективной частью. А это значит, что индивидуализация понималась как историко-социологическая,

общественно-историческая категория, относящаяся к традиции исследований жизненных ситуаций и биографий и прекрасно умеющая различать то, что происходит с людьми, и то, как они в своем поведении и сознании с этим обращаются[9]. Главный вопрос этой главы не в пример постановкам вопроса, ориентированным прежде всего на сознание, идентичность, социализацию, эмансипацию, звучит так:

Каким образом можно выразить «индивидуализацию» как изменение жизненных ситуаций, образцов биографий? Какой тип жизненных ситуаций, какой тип биографии выходит на передний план в условиях развитого рынка труда?

2. Особенности тренда индивидуализации в ФРГ

Каким образом эту обобщенную модель можно конкретизировать для послевоенного развития в Германии? Иными словами, от каких социальных форм и стабильностей обеспечения освобождаются люди? Каковы условия и средства, стимулирующие это освобождение? К каким новым формам контроля и обобществления они ведут?

К настоящему времени сформировались два средоточия освобождений, еще два намечаются на будущее (и являются темой следующей главы). На первых порах речь шла о

высвобождении из социальных классов сословного характера, которое прослеживается от сегодняшнего дня вплоть до начала нашего века, но в ФРГ приобретает новое качество. Это освобождение соотносится с социальными и культурными классовыми связями

в сфере воспроизводства. Хотя одновременно происходят и изменения в сфере производства: общее повышение образовательного уровня и чистого дохода, юридическое оформление трудовых отношений в виде прав и обязанностей, изменения в социальном составе и т. д. при значительном сохранении отношений социального неравенства (ср.: Bolte/Hradil, 1984; Sch?fers, 1985). Все это манифестируется в изменении семейных структур, жилищных условий, пространственных распределений, соседских отношений, организации досуга, членства в клубах и т. д. (ср. также: Herkommer, 1983). Такое «упразднение пролетарской среды» (J. Mooser, 1983) отражается — в проекции на совокупную социальную структуру — в эндемических трудностях, которые ввиду тенденций дифференциации и плюрализации мешают эмпирически содержательно интерпретировать модели изучения классов и слоев. Эти трудности привели, с одной стороны,

к методически скрытому конвенционализму в установлении границ расслоения (впервые К.М. Boite, 1958), а с другой стороны, к

отходу во внеисторическую априорность классового антагонизма. Второе средоточие находится в изменениях

положения женщин. Женщины освобождаются от брачной опеки — материального столпа традиционной жизни домашней хозяйки. Тем самым вся структура семейных взаимоотношений и опеки оказывается под нажимом индивидуализации. Возникает тип

договорной семьи на время, где индивидуальные ситуации, ориентированные на образование, рынок труда и профессию — если предпочтение изначально не отдано внесемейным формам жизни, — вступают в своеобразно противоречивый целевой союз для урегулированного эмоционального обмена до отзыва[10].

Наряду с классовыми социальными культурами и структурами семейных отношений существует два средоточия освобождений. Исходная их точка уже не в сфере воспроизводства, а в сфере производства, и реализуются они как освобождения относительно профессии и относительно предприятия. Мы имеем в виду прежде всего

флексибилизацию рабочего времени с целью заработка и

децентрализацию места работы (электронная работа на дому есть лишь крайний случай

этого). Таким образом возникают

новые формы гибкой, плюральной неполной занятости (см. глава VI). Они порождают (социально-правовые) проблемы обеспечения и одновременно создают новые жизненные ситуации и образцы развития биографий.

Таково вкратце обобщение предшествующей аргументации. Перейдем теперь к следующему вопросу: какой

способ реинтеграции и контроля связан с возникающими индивидуальными ситуациями? Прежде всего сформулируем

три тезиса.

1. Существенная особенность тренда индивидуализации в ФРГ заключается в его

последствиях : он уже не ограничен сферой воспроизводства в силу некой социальной единицы отсчета. Схематически говоря, на место сословий уже не встают социальные классы, на место классовых социальных связей уже не встает стабильная соотносительная рамка семьи.

Одиночка (он или она) сам становится единицей воспроизводства социального элемента . Иначе говоря, семья как «предпоследний» синтез жизненных ситуаций и биографий, охватывающих поколения и полы, распадается, и индивиды внутри и вне семьи становятся актерами рынокопосредованной стабилизации своего существования, а также планирования и организации своей биографии.

2. Это вычленение «индивидуальных ситуаций», однако же, совершается одновременно с интенсивной

стандартизацией . Точнее говоря,

сами средства, вызывающие индивидуализацию, вызывают и стандартизацию . Хотя и по-разному, но это справедливо для рынка, денег, права, мобильности, образования и т. д. Возникающие индивидуальные ситуации целиком

зависят от рынка (труда) . Они суть, так сказать, усовершенствование рыночной зависимости вплоть до мельчайших деталей (обеспечения) существования, они суть поздний ее результат на стадии государства всеобщего благоденствия. Они возникают в

развитом обществе рынка (труда), которое уже совсем или почти не знает традиционных возможностей обеспечения. Еще Г. Зиммель наглядно показал, как деньги одновременно индивидуализируют

и стандартизируют. Это касается не только денежнозависимого массового потребления и «освобождений на рынке труда», но и высвобождения и реинтеграции посредством профессионального образования, правовой фиксации, онаучивания и т. д.

3. Одновременность индивидуализации, институционализации и стандартизации еще недостаточно охватывает возникающие индивидуальные ситуации. Ведь они демонстрируют некий

новый «фасон», перекрывая отдельные сферы частного и различные сферы публичного . Они суть уже не только частные, но всегда и институциональные ситуации. У них противоречивый двойственный облик

институционально зависимых индивидуальных ситуаций . Мнимая потусторонность

институций становится посюсторонностью индивидуальной биографии. Такой «фасон» жизненных ситуаций, перекрывающий институциональные границы, вытекает именно из их институциональной зависимости (в самом широком смысле): освобожденные индивиды попадают в зависимость от рынка труда, а

потому в зависимость от образования, потребления, социально-правовых урегулирований и обеспечения, планирования перевозок, потребительских предложений, возможностей и способов медицинского, психологического и педагогического консультирования и обслуживания. Все это указывает на

институционально зависимую структуру контроля индивидуальных ситуаций. Индивидуализация становится

самой прогрессивной формой обобществления, зависимого от рынка, права, образования и т. д.

3. Институционализация биографических образцов

В процессе индивидуализации классовые различия и семейные обстоятельства по-настоящему не упраздняются, скорее, они отступают на задний план относительно вновь возникающего «центра» проекта биографии. Одновременно возникают новые зависимости. Эти последние указывают на

имманентные противоречия в процессе индивидуализации. На этапе развитого модерна индивидуализация происходит в рамочных условиях процесса обобществления, который как раз и делает индивидуальную самостоятельность все более невозможной: одиночка хотя и высвобождается из традиционных связей и соотнесенностей обеспечения, но получает взамен принуждения рынка труда и потребительского образа жизни вкупе с им присущими стандартизациями и контролем. На место

традиционных связей и социальных форм (социальный класс, малая семья) встают

вторичные инстанции и институты, которые налагают свой отпечаток на биографию одиночки и вопреки индивидуальному решению, реализуемому как форма сознания, делают его игрушкой моды, обстоятельств, конъюнктур и рынков.

Таким образом как раз индивидуализированное приватное существование все более сильно и явно зависит от обстоятельств и условий, которые полностью ему неподвластны. Параллельно возникают конфликтные, рискованные и проблемные ситуации, которые по своему происхождению и «покрою» закрыты для какой бы то ни было индивидуальной обработки. Как известно, они охватывают практически все, что дискутируется и оспаривается в политике и обществе, — от так называемых «ячеек социальной сети», переговоров о заработной плате и условиях труда до защиты от бюрократических перегибов, предоставления образовательных возможностей, регулирования транспортных проблем, защиты от разрушения окружающей среды и т. д. Индивидуализация затрагивает как раз сами рамочные социальные условия, которые менее чем когда-либо допускают индивидуальный самостоятельный образ жизни.

Несущие отчетливую печать сословности классово-культурные или семейные биографические ритмы перекрываются или заменяются

институциональными биографическими образцами : вход и выход из системы образования,

вход и выход из сферы наемного труда, социально-политические фиксации пенсионного возраста, и все это как в продольном разрезе биографии (детство, юность, зрелость, выход на пенсию и старость), так и в ежедневном ритме и бюджете времени (гармонизация семейной, образовательной и профессиональной жизни). Наслоение особенно отчетливо просматривается на примере «нормальной женской биографии». В то время как мужчины в своей биографии остаются во многом не затронуты семейными событиями, женщины ведут противоречивое, двойственное, семейно-институциональное существование. Для них

все еще имеет силу семейный ритм, а в большинстве случаев

вдобавок также и ритм образовательный и профессиональный, что порождает конфликтные напряжения и постоянно непримиримые требования.

Индивидуализация означает рыночную зависимость во всех аспектах образа жизни. Возникающие формы существования суть формы одиночные, сами себя не осознающие — массовый рынок и

массовое потребление паушально спроектированных квартир, мебели, предметов ежедневного спроса, пропагандируемых через средства массовой информации общепринятых мнений, привычек, установок, стилей жизни. Иными словами, индивидуализация отдает людей во власть

внешнего управления и внешней стандартизации, которые были неизвестны нишам сословных и семейных субкультур.

Такие институциональные варианты биографии означают, что регулирования в образовательной системе (например, сроки образования), в профессиональной системе (например, рабочее время в ежедневном расписании и в совокупной биографии) и в системе социальных гарантий

прямо сопряжены с фазами биографии человека: всякое институциональное установление и вмешательство есть (имплицитно) установление и вмешательство в рамках самой человеческой биографии. Повышение возрастной границы приема ребенка в детский сад, например, усложнит или вовсе лишит женщину возможности соединять материнские и профессиональные обязанности (т. е. женщины опять-таки вытесняются с рынка труда). Со снижением пенсионной границы для целого поколения одним росчерком пера повышается «социальный возраст» (со всеми вытекающими отсюда проблемами и шансами). Одновременно производится перераспределение трудовых долей на подрастающие, молодые поколения. Именно индивидуализация означает, таким образом,

институционализацию, институциональную форму, а тем самым

политическую формируемость биографий и жизненных ситуаций. Формирование их осуществляется большей частью «неявно», как «латентное сопутствующее последствие» решений, которые явно соотнесены с внутрипроизводственной сферой (системой образования, рынком труда, работой по найму и т. д.). Для наглядности обратимся к столь живописному примеру, как телевидение.

Телевидение обособляет

и стандартизирует. С одной стороны, оно высвобождает людей из традиционно оформленных и связанных обстоятельств беседы, опыта и жизни. Но одновременно все находятся в сходной ситуации: потребляют институционально изготовленные телевизионные программы, причем от Гонолулу до Москвы и Сингапура. Индивидуализации — точнее, высвобождению из традиционных жизненных взаимосвязей — сопутствуют унификация и стандартизация

форм существования. Теперь даже внутри семьи каждый обособленно сидит перед «ящиком». Так возникает социально-структурный образ индивидуализированной массовой публики или, говоря резче, стандартизованное коллективное бытие разобщенных массовых отшельников (ср.: О. Апаег 8, 1980).

Причем происходит это

надкультурно, наднационально . Вечерами весь мир, независимо от сословной принадлежности, собирается, так сказать, на

деревенской площади телевидения и потребляет новости дня. В этом смысле индивидуальные ситуации даже невозможно более соотнести в их институциональной зависимости с национально-государственными границами. Они стали частью всемирной стандартизированной сети массовой информации. Более того: институциональные и национальные границы в определенном смысле упразднены. Через средства массовой информации мы ведем своего рода

двойственное пространственно-социальное существование . Мы здесь и одновременно где-то еще, находимся в одиночестве и все же слушаем концерт Нью-Йоркского филармонического оркестра или, сидя дома за ужином, одновременно становимся очевидцами жестоких сцен гражданской войны в Ливане. Если угодно, возникающие жизненные ситуации в их «двоеместности» демонстрируют некую

индивидуально-институционально шизофреническую структуру . Причем изнутри и снаружи шансы разглядеть это весьма различны. Изнутри вообще не разглядишь, а извне или сверху очень даже можно. Границы между «внутри» и «вовне», стало быть, одновременно и существуют, и не существуют.

С этим связаны и

новые политические шансы контроля и влияния . Ввиду телевизионных привычек широких слоев населения (отказ от них вызывает явления «ломки») телевизионные программы

вместе взятые формируют недельный и дневной распорядок семьи.

Частная сфера вовсе не такова, какой кажется, — она вовсе не отграничена от окружающего мира.

Это обращенная в частное и вторгающаяся в него внешняя сторона обстоятельств и решений , которые принимаются в других местах: в телестудиях, в системе образования, на предприятиях, на рынке труда, в транспортной системе и т. д. — и почти совершенно не учитывают лично-биографических последствий. Кто не замечает этого, упускает из виду очень важную черту социальных форм жизни на этапе развитого модерна — перехлестывание и переплетение возникающей индивидуализированной частности с мнимо ограниченными институционально сферами и производственными секторами образования, потребления, транспорта, производства, рынка труда и т. д.

Вместе с этой институциональной зависимостью растет

подверженность возникающих индивидуальных ситуаций

кризисам . Зависимость от институтов существует не вообще, а в определенных приоритетах. Ключ жизненной стабилизации — на рынке труда. Пригодность для рынка труда неизбежно требует образования. Человек, лишенный того или другого, социально стоит перед материальным ничто. Без соответствующих сертификатов о профессиональном образовании ситуация так же удручающа, как и при их наличии, но вдобавок без соотносимых с ними

рабочих мест. Только в таких условиях те, кто отвергнут уже на входе в систему профессиональной подготовки, социально падают в бездну. Предоставление и непредоставление ученических мест становится, таким образом, вопросом вхождения или невхождения в общество. Одновременно в силу конъюнктурных или демографических «бумов и спадов»

целые поколения могут сойти

на экзистенциальную периферию. Иными словами, институционально зависимые индивидуальные ситуации как раз по линии экономических и рыночных конъюнктур порождают специфические для поколений ущемления или преимущества в соответствующих

«когортных ситуациях». А эти последние всегда проявляются, в частности, как недостаточное социальное обеспечение со стороны государственных институтов, которые таким образом попадают под нажим необходимости предотвратить или возместить посредством правовых регулирований и социально-государственных перераспределений институционально запрограммированное отсутствие шансов у целых поколений, жизненных и возрастных фаз.

Учреждения действуют в юридически фиксированных

категориях «нормальных биографий», которым реальность соответствует все меньше. Опорой нормальной биографии являются нормальные трудовые правоотношения. Так, система социальных гарантий выстроена с ключевым ориентиром на участие в наемном труде. Одновременно растет число тех, кому при всей готовности невозможно или очень трудно включиться в систему занятости. В основу социального обеспечения заложены типовые стандарты, которые ввиду постоянной массовой безработицы могут быть удовлетворены все меньше и которым развитие жизненных условий в семье и в отношениях между мужчинами и женщинами соответствует все меньше. Концепция

«кормильца семьи» оттеснена на задний план семьей с разделенными и меняющимися в зависимости от фаз и решений ролями зарабатывающего и обеспечивающего, опекуна и воспитателя детей. Место «полной» семьи заняли различные варианты семьи «неполной». Растущая группа отцов-одиночек считает себя дискриминированной разводным законодательством, которое ориентировано на монополию матери, и т. д.

Обществу, развивающемуся в системе координат индустриально-общественного образа жизни — социальные классы, малая семья, роли полов и профессия, — противостоит, таким образом, система институтов попечительства, управления и политики, которые ныне все больше берут на себя

своего рода наместнические функции завершающейся индустриальной эпохи. Они воздействуют на жизнь, «отклоняющуюся» от официальных типовых стандартов, стараясь дисциплинировать ее с позиций нормативной педагогики. Они становятся возродителями и ревнителями давних стабильностей, которые справедливы ныне лишь для убывающей части населения. Так обостряются

противоречия между институционально запроектированной и социально действующей «типовой нормой», и здание индустриального общества грозит съехать в нормативно-правовую сферу.

В силу институциональной зависимости индивидуализированное общество одновременно становится восприимчиво к всевозможным конфликтам, связям и коалициям,

пересекающим традиционные классовые границы. Антагонизм сторон рынка труда отступает как определенное противоречие, а центральное место занимают многообразные формы, где вытесненные коллективные отношения всякий раз прорываются конфликтами в частной

сфере: к примеру, события вроде запланированной прокладки улицы неподалеку от собственного сада, острые ситуации в школе у детей или строящееся в окрестностях хранилище атомных отходов заставляют человека осознать аспекты «коллективной судьбы».

Однако решающее значение имеет то,

как в жизненных обстоятельствах людей индивидуализированного общества проявляется, воспринимается и обрабатывается институционально формируемая коллективная судьба. Если обратиться к сравнению, то можно сказать так: вогнутое зеркало классового сознания, не распадаясь, дробится на осколки, и каждый осколок воспроизводит собственную полную перспективу, но расчлененная трещинами, распавшаяся на множество частей поверхность зеркала уже неспособна дать совокупного отражения. По мере того как человек с каждым витком индивидуализации все больше высвобождается из социальных связей и «приватизируется», происходит двойственное развитие. С одной стороны, формы восприятия становятся частными и одновременно — по-мысленные на оси времени —

внеисторическими. Дети уже не знают жизненных обстоятельств родителей, а тем паче дедов и бабок. Иными словами, временные горизонты жизневосприятия все более сужаются, пока

история (в экстремальном случае) не сжимается

до (вечного) Сегодня, когда все вращается вокруг собственного «я», собственной жизни. С другой стороны, сокращаются сферы, где собственную жизнь определяют коллективные действия, и растут принуждения строить собственную биографию самостоятельно, причем и как раз там, где она есть не что иное, как продукт обстоятельств.

В этом смысле индивидуализация означает, что биография людей высвобождается из заданных привязок и открыто включается в поведение отдельного индивида как задача, зависящая от его решений. Доли принципиальных жизненных возможностей, закрытых для решения, уменьшаются, а доли открытой решению, самостоятельно создаваемой биографии увеличиваются. Индивидуализация жизненных ситуаций и процессов, стало быть, означает: биографии становятся

«авторефлексивными», социально заданная биография трансформируется в самостоятельно создаваемую. Решения о специальном образовании, профессии, рабочем месте, местожительстве, супруге, количестве детей и т. д. вкуче со всеми решениями подчиненного порядка не только могут приниматься, но и должны приниматься. Даже там, где слово «решение» звучит слишком высокопарно, поскольку нет ни осознания, ни альтернатив, индивиду придется «расхлебывать» последствия не принятых им решений. Иными словами, посредством институциональных и жизненно-исторических заданностей возникает как бы

биографический «конструктор», блоки которого допускают множество вариантов сборки. На переходе от «типовой биографии к выбранной» образуется чреватый конфликтами и исторически не отработанный тип

«кустарной биографии». Или-или богатых и ущербных жизненных либо конфликтных ситуаций релятивируется посредством специфических для той или иной жизненной фазы проблемных узлов (скажем, для молодых взрослых людей это — совпадение решений о браке, детях и профессии супругов), которые нуждаются в особом планировании и обсуждении — частном и институциональном.

В индивидуализированном обществе индивид под страхом перманентного ущерба своих интересов должен научиться рассматривать себя как активный центр, как плановое бюро, рассчитанное на собственную его биографию, способности, ориентации, брачные партнерства и т. д. В условиях создаваемой биографии «общество»

надлежит рассматривать как величину «переменную». Конечно, скудость образовательных шансов — проблема, затрагивающая всех; но что это означает в плане формирования моей собственной судьбы, от которой меня никто не избавит? Что я могу и должен предпринять, чтобы, имея средний балл 2,5, все-таки изучать медицину? Таким образом, общественные детерминанты, вторгающиеся в собственную жизнь индивида, необходимо рассматривать как «внешние переменные», которые в собственном жизненном пространстве можно смягчить, обойти или упразднить, проявив «выдумку в области мероприятий», ориентированную на радиус собственной активности, и учитывая «внутренние различия» возможностей контактов и активности.

Требуется

активная поведенческая модель повседневности, которая, будучи сосредоточена вокруг «я», предоставляет и открывает ему шансы для действий и таким образом позволяет рационально приложить возникающие возможности формирования и решения к собственной биографии. Это означает, что ради собственного выживания необходимо под поверхностью интеллектуальных боев с тенью выработать

эгоцентрическое мировоззрение, которое, так сказать, переворачивает соотношение «я — общество» с ног на голову, приспособлявая его к задачам формирования индивидуальной биографии.

В результате открываются шлюзы для субъективизации и индивидуализации рисков и противоречий, порождаемых обществом и его институтами. Для индивида детерминирующие его институциональные ситуации уже не только события и обстоятельства, обрушивающиеся на него извне, но по меньшей мере еще

и последствия принятых им самим решений, которые он должен рассматривать и прорабатывать как таковые. Этому способствует и то, что характер типичных событий, выбивающих индивида из колеи, исподволь меняется. Если случившееся с ним раньше было, скорее, «ударом судьбы», посланным Богом или природой — например, войной, стихийными бедствиями, смертью супруга, — словом, событием, за которое сам он ответственности не нес, то теперь это прежде всего события, расцениваемые как «личный сбой» — от провала на экзаменах до безработицы или развода. В индивидуализированном обществе, стало быть, не только наблюдается чисто количественный рост рисков, но возникают и качественно новые формы личного риска: появляется дополнительное бремя в виде новых форм «распределения вины». Из этих принуждений к самостоятельной проработке, самостоятельному планированию и самостоятельному созданию биографии рано или поздно безусловно вырастут и новые требования к специальному образованию, опеке, терапии и политике.

В заключение укажем последнюю, на первый взгляд инверсивную, главную черту: индивидуализированные биографии, с одной стороны вновь привязанные своими структурами к самоформированию, с другой стороны открыты почти в беспредельное.

Все, что в системно-теоретической перспективе видится раздельным, становится неотъемлемой составной частью индивидуальной биографии — семья

и работа по найму, специальное образование

и занятость, управление и транспорт, потребление, медицина, педагогика и т. д. Границы подсистем действительны для этих подсистем, но не для людей в институтозависимых индивидуальных ситуациях. Или формулируя в духе Ю. Хабермаса: индивидуальные ситуации располагаются

поперек различия система — жизненный мир. Границы подсистем пересекают

индивидуальные ситуации. Они, так сказать, суть биографическая сторона институционально разделенного. В этом смысле речь идет об индивидуализированных ситуациях институтов, чьи не учтенные на системном уровне взаимосвязи и разрывы постоянно порождают трения, сложности согласования и противоречия внутри индивидуальных биографий и между ними. Образ жизни становится в таких условиях

биографическим снятием системных противоречий (например, между специальным образованием и занятостью, между юридически гарантированной и реальной типовой биографией)[11]. Биография — говоря вслед за Н. Луманом — есть

сумма подсистемных рациональностей, а вовсе не их окружение. Мало того, что покупка кофе в магазинчике на углу способна порой стать вопросом участия в эксплуатации сельскохозяйственных рабочих в Южной Америке. Мало того, что при вездесущности пестицидов курс (анти)химии становится предпосылкой выживания. Мало того, что педагогика и медицина, социальное право и транспортное планирование предполагают активного и — как его красиво называют — «думающего вместе с нами» индивида, который благодаря собственной прозорливости ориентируется в джунглях преходящих потребностей. Все эти и все прочие эксперты перекладывают свои противоречия и раздоры на индивида да еще и (как правило) благонамеренно предлагают ему оценить все это критически по своему разумению. По мере детрадиционализации и создания всемирных информационных сетей биография все больше высвобождается из своего непосредственного жизненного круга и открывается поверх границ стран и опыта для некой

дистанционной морали, которая потенциально заставляет индивида постоянно формировать собственное мнение. Погружаясь в незначительность, он в то же время якобы возносится на трон творца мироздания. Между тем как правительства (покуда) действуют в национально-государственной структуре, биография уже открывается всемирному обществу. Более того: всемирное общество становится

частью биографии, хотя эту постоянную перегрузку можно выдержать только с помощью ее противоположности: пропускания мимо ушей, упрощения, притупления.

Глава VI

Дестандартизация наемного труда. К вопросу о будущем специального образования и занятости

Значение, какое труд приобрел в индустриальном обществе, в истории аналогов не имеет. В полисах Древней Греции необходимый для пропитания и обеспечения труд, который растворяется в вечной рутине исполнения каждодневных потребностей и не оставляет никаких следов, выходящих за рамки жизнеобеспечения, был прерогативой рабов. Свободные граждане занимались политической деятельностью и культурным творчеством. В средневековье, когда труд еще был ручным, разделение труда тоже имело иной смысл. Аристократия считала труд неблагородным. Он был делом низших слоев. Самые бесспорные признаки крушения мира обнаруживались там, где мужской отпрыск почтенного знатного семейства был вынужден заняться «буржуазной профессией», читай: опускался до занятий медициной или юриспруденцией. Если бы в ту эпоху кто-нибудь стал провозглашать пророчества вроде недавних прогнозов касательно сокращения и даже исчезновения наемного труда, люди не поняли бы ни самого этого послания, ни тем паче взволнованности «пророка».

Значение наемного труда в жизни людей индустриального общества базируется (в

значительной степени) отнюдь не в самом труде. Оно вытекает в первую очередь из того, что расход рабочей силы является основой обеспечения существования в том числе и при индивидуализированном образе жизни. Но и это лишь отчасти объясняет потрясения, которые были вызваны сообщением об исчезновении общества труда. В индустриальную эпоху наемный труд и профессия стали

осью образа жизни. Вместе с семьей они образуют биполярную систему координат, в которой закреплена жизнь эпохи. Можно наглядно проиллюстрировать это на идеально-типическом продольном разрезе жизни исправного индустриального мира. Еще в детстве, целиком находясь внутри семьи, подрастающий человек на примере отца узнает, что профессия есть ключ к миру. Впоследствии на всех этапах специальное образование остается соотнесено с не существующей в нем «потусторонностью» профессии. Зрелость уже полностью проходит под знаком наемного труда, и не только ввиду того, что определенное время человек отдает непосредственно труду, но и ввиду того, что он «перерабатывает» его или же планирует во внерабочее время — до и после. Даже «старость» определяется через неучастие в профессиональной деятельности. Она начинается, когда профессиональный мир «увольняет» людей — безразлично, чувствуют они себя стариками или нет.

Пожалуй, нигде то значение, какое наемный труд имеет в жизни людей индустриального общества, не проявляется так ярко, как в ситуации, когда двое незнакомых людей при встрече спрашивают друг друга:

«Кто вы?» — и в ответ называют не хобби (голубятник), не религиозную принадлежность (католик), не эстетический идеал (вы же видите: рыжая и пухленькая), а

профессию (квалифицированный рабочий у Сименса), причем как нечто совершенно естественное, хотя, если вдуматься, такой ответ говорит лишь о том, что мир обезумел. Зная профессию собеседника, мы думаем, что знаем

его (ее). Профессия служит обоюдным идентификационным шаблоном, посредством которого мы оцениваем людей, ею «обладающих», в их личных потребностях, способностях, экономическом и социальном статусе. А ведь на самом деле странно ставить знак равенства между человеком и профессией, которую он имеет. В обществе, где жизнь нанизывается на нить профессии, эта последняя действительно содержит определенную ключевую информацию — доход, статус, языковые способности, возможные интересы, социальные контакты и т. д.[12].

Еще в середине 60-х годов Хельмут Шельски неоднократно по этому поводу говорил, что семья и профессия суть две стабильные опоры, оставшиеся у человека в условиях модерна. Они придают его жизни «внутреннюю стабильность». В профессии индивиду открывается доступ к рычагам общественного воздействия. Пожалуй, можно даже сказать, что через игольное ушко своего рабочего места «обладатель профессии» становится «сотворцом мира» в малом. В таком плане профессия (как и, с другой стороны, семья) гарантирует

основополагающий социальный опыт. Профессия — это место, где социальную реальность можно познать через участие, так сказать из первых рук[13].

Оставим пока в стороне вопрос, отвечает ли данная картина истинной ситуации 60-х годов, но сегодня и на вероятную перспективу во многих сферах занятости она уже не соответствует действительности. Также как и семья,

профессия утратила свои былые стабильности и защитные функции. Вместе с профессией люди теряют возникший в индустриальную эпоху внутренний каркас образа жизни. Проблемы и заданности наемного труда насквозь пронизывают все общество. Также и вне сферы труда индустриальное общество во всей схеме своей жизни, в радостях и печалях, в понятии

производительности, в оправдании неравенства, в социальном праве, во властном балансе, в политике и культуре есть

насквозь общество наемного труда . И если индустриальному обществу предстоит системное изменение наемного труда, значит, предстоит и изменение самого этого общества.

1. От системы стандартизированной полной занятости к системе гибко-плюральной неполной занятости

Тема массовой безработицы в индустриальных государствах Запада по-прежнему дискутируется в рамках старых постановок вопроса и старых категорий. До сих пор едва ли не все политические и экономические лагеря тешат себя надеждой, что в 90-е годы в ходе некоего безусловного оживления экономики будет вновь обеспечена полная занятость. А ведь мы стоим в начале контриндустриального процесса рационализации, в ходе которого не только произойдут перегруппировки в структуре профессий и квалификаций, но подлежат пересмотру и

принципы прежней системы занятости, однако систематически эта возможность по сей день не рассматривается — ни теоретически, ни политически.

При всех разногласиях эксперты все же едины в одном: даже при темпах экономического роста в 2—4 % уровень безработицы, превышающий границу в 2 млн человек,

ранее 90-х годов снизить невозможно . Дело в том, что только тогда с приходом в сферу труда малочисленных поколений, связанных с годами низкой рождаемости, пойдет на убыль до сих пор круто возраставший потенциал «наемных работников», а значит, снизится и спрос на рабочие места по сравнению с началом 80-х годов. Впрочем, эти цифровые выкладки содержат множество неизвестных — к примеру, это непрерывно возраставшая в прошлые годы занятость женщин по найму; или же вопрос о том, в какой мере *per saldo* посредством стремительно нарастающего применения информационных технологий можно компенсировать уничтоженные ими же рабочие места (оценки колеблются между 1:2 и 1:6) и, наконец, в какой мере рабочие места с полной занятостью (дифференцированно) превращаются в разнообразные рабочие места с неполной занятостью, а стало быть, все прежние расчеты, измеряющие, по сути, объем наемного труда в единицах рабочих мест с полной занятостью, отправляются в мусорную корзину.

Однако ненадежность подобных расчетов никоим образом не может заслонить их огромную политическую важность. Ибо данная оценка развития предсказывает долгий изнурительный путь вплоть до конца 90-х годов, но после этих «тощих» лет можно ожидать на рынке труда наступления «тучных» лет — с тем решающим последствием, что таким образом мы (прямо или косвенно) поддержим

«неполитику перезимования» . Согласно этому оправдывающему политику варианту, самое главное — просто принять «переходные меры», чтобы смягчить ситуацию для «пострадавших промежуточных поколений». Над принципиальным же политическим курсом, включающим экономику, рынок труда и образование, экспериментировать не только не нужно, но и нельзя.

Такое толкование, широко распространившееся в последние годы не только в науке, но и в политике, целиком зависит от предпосылки, которую мы здесь систематически ставим под сомнение, а именно от

неизменности прежней системы занятости и ее столпов — предприятия, рабочего места,

профессии, наемного труда и т. д. При этом изначально исключено, что в процессе информационно-технологических, а равно социальных и правовых модернизационных сдвигов начинается, так сказать, своего рода

«изменение основ» системы занятости. Возможность подобного

системного изменения труда по найму будет рассмотрена ниже. При этом — вслед за добрым старым Поппером (Popper) — я исхожу из того, что вообще лишь теоретическая

альтернатива позволяет эмпирически проверить также и контртезис. Стало быть, ниже речь пойдет ни больше ни меньше как о наборе гипотез, эмпирическая проверка и критическое обсуждение которых еще только предстоят, но главная их задача заключается в том, чтобы сломить преобладающий (и политически столь чреватый последствиями)

теоретический монизм мышления в категориях непрерывности, неизменности и, сделав таким образом интерпретации развития занятости (непрерывность/неизменность и цезуру/дискретность) предметом дискуссии, вообще обеспечить в будущем эмпирическую проверку

обеих перспектив. В этом смысле разъясним для начала, что именно может пониматься под «системным изменением» наемного труда (см. также с. 321 слл. наст. изд.). Далее можно будет по пунктам установить,

посредством чего, как и с какими последствиями это системное изменение стимулируется и, возможно, осуществляется, что ему препятствует, какие риски оно порождает и т. д.

Как сказано выше, экстраполяции развития безработицы вплоть до 2000 года, индивидуальное планирование образования и профессии, а также политическое мышление и деятельность заранее предполагают неизменность основ современной системы занятости. При этом делается ряд допущений, которые как раз в условиях нынешнего подъема модернизации и рационализации приобретают весьма сомнительный характер.

Система занятости, возникшая в минувшем столетии в результате тяжелых социальных и политических конфликтов и кризисов, основана на интенсивной

стандартизации всех существенных ее аспектов: трудового

договора, места работы и рабочего

времени. С правовой точки зрения труд подчинен условиям типовых, договоров, которые, в частности касательно тарифных расценок, разрабатываются по целым отраслям и группам занятости. Для нас стало совершенно естественным, что по местоположению труд сосредоточивается в (крупных) производственных организациях. Кроме того, временным организационным масштабом в системе занятости (за редкими исключениями) чуть ли не до конца 70-х годов служила единая норма «пожизненной полной занятости», которая применялась как для планирования и использования рабочей силы на предприятии, так и в биографических обстоятельствах. Эта система — в принципе — обеспечивает четкое разграничение работы и неработы, которое можно зафиксировать в пространстве и времени и которое выражает, помимо этого, социальную и правовую селективность безработицы и занятости. И вот в условиях нынешних и грядущих волн рационализации три столпа этой

стандартизированной системы полной занятости — трудовое право, место работы, рабочее время — мало-помалу, начиная с периферии, прогибаются и утрачивают прочность.

Границы между работой и неработой становятся текучими. Распространяются гибкие, плюральные формы неполной занятости.

Пожалуй, до самых (укромных) закоулков общества уже дошло, что норма пожизненной полной занятости уходит в прошлое и сменяется многообразными гибкими, изменчивыми формами рабочего времени. Куда меньше известно, что, вероятно, уже в недалеком будущем это развитие может затронуть и

пространственную концентрацию, а значит, и

место наемного труда, т. е. предприятие. Кооперативные производственные связи уже сейчас, по крайней мере в подотделах (администрация, контора, менеджмент, обслуживание), вполне осуществимы в электронной форме, а тем самым их можно организовать

децентрализованно, так сказать «рассредоточенно», «независимо от места». Причем эта пространственная деконцентрация наемного труда допускает разнообразные формы — от ослабления жесткости временного режима присутствия, создания новых рассредоточенных отделов и групп вплоть до распределения подфункций в форме частично или полностью домашней работы с компьютером. Однако все эти варианты сопряжены с одним и тем же последствием. Связь между социальными процессами труда и производства ослабевает, подрывая «непреложную естественность» мнения, что прямая кооперация означает «сотрудничество в одном месте». Но тем самым система занятости существенно меняет форму своего проявления. На место

зримой формы предприятия, сосредоточенной в высотных офисах и фабричных цехах, приходит

незримая организация предприятия. Наблюдаемым признаком такого перехода от старой системы занятости к новой станет

опустевание просторных заводских и конторских зданий, которые, как динозавры индустриальной эры, будут напоминать об уходящей эпохе. Незримость сращивания капитала «всего-навсего» перейдет на уровень содержательной организации труда — кстати, с аналогичными плюсами скрытых возможностей организации и создания новых сетей производственного менеджмента.

Разумеется, эта временная и пространственная флексибилизация наемного труда не должна происходить единообразно и параллельно для всех подотраслей системы занятости. Скорее всего, плюрализации рабочего времени и места работы пойдут: независимо друг от друга или друг за другом. Точно так же сейчас еще невозможно предвидеть, где они абсолютно или временно натолкнутся на предметные и/или политические границы, какие функциональные сферы (а значит, профессиональные группы, отрасли и отделы) останутся вне их пределов. Но уже теперь ясно, что флексибилизация рабочего времени, превращение рабочих мест с полной занятостью в различные рабочие места с занятостью неполной, не может осуществиться

нейтрально для дохода. Иными словами, дроблению рабочего времени (которое служит не сверхзанятости, а генерализации

неполной занятости, уменьшению безработицы) сопутствует перераспределение дохода, социальной обеспеченности, карьерных шансов, позиции на предприятии

в сторону понижения, причем понижения коллективного (поперек различий в специальности, профессии и иерархии). В этом смысле политика рабочего времени всегда была и есть

политика перераспределения, создающая новые социальные нестабильности и неравенства. Именно здесь, по сути, коренится сопротивление профсоюзов, а также стремительный прогресс многих начинаний в последние годы. Это справедливо, даже когда гибкие формы

неполной занятости встречают растущий интерес у (особенно молодых) женщин и мужчин, более того, когда они необходимы, чтобы лучше увязать между собой работу по найму и работу в семье, работу и жизнь. Ниже мы увидим, что при пространственной флексибилизации наемного труда приобретаемые трудящимися преимущества в суверенитете могут сочетаться с

приватизацией рисков труда в сфере здоровья и психики. Нормы охраны труда при децентрализованных формах труда не поддаются контролю общественности, и издержки за их нарушение или соблюдение ложатся на плечи самих трудящихся (точно так же, кстати, предприятия экономят затраты на централизованную организацию наемного труда — начиная от расходов по содержанию и эксплуатации зданий и кончая техническим обслуживанием парка электронных приборов).

Суммируя последствия дестандартизации рабочего времени и рабочего пространства, можно сказать, что осуществляется переход от единой индустриально-общественной системы организованного в рамках предприятия пожизненного полнодневного труда (при радикальной альтернативе безработицы) к изобилующей рисками системе гибкой, плюральной, децентрализованной неполной занятости, которая, возможно,

уже не знает проблемы безработицы (в смысле отсутствия занятости). В этой системе безработица, так сказать, в облике различных форм неполной занятости «интегрирована» в систему занятости, но таким образом заменена

генерализацией нестабильностей занятости, которых «старая» система единой полной занятости в этом смысле не знала. Данное развитие, как и в XIX веке, подобно

двуликому Янусу. Прогресс и обнищание сопрягаются по-новому. Выигрыш в производительности труда на предприятиях сопровождается проблемами контроля. Трудящиеся обменивают толику свободы от труда на нового типа принуждения и материальные нестабильности. Безработица исчезает и возникает вновь генерализованно, в новых рискованных формах неполной занятости. Все это означает, что начато двойственное, противоречивое развитие, при котором преимущества и ущерб нераздельно переплетены между собой и отдаленные последствия которого прежде всего для политического сознания и деятельности необозримы. Вот что имеется в виду, когда речь идет о системе неполной занятости в

обществе риска.

Для индустриального общества после продолжительной фазы привыкания труд по найму был, само собой разумеется, трудом

вне дома. Такое разделение труда в семье и труда по найму в системе общества риска вновь упраздняется путем ослабления жесткости временного режима присутствия, посредством электронной сети, связывающей децентрализованные рабочие места и т. д. Можно лишь предполагать, сколь велики будут социальные последствия. Уменьшение нагрузки на транспорт, ежедневно перевозящий трудящихся к месту работы, а тем самым уменьшение нагрузки на природную среду и на людей, возможная деурбанизация, ограничение повседневной местной подвижности, которая как бы делегируется электронным средствам и при пространственной иммобильности может быть таким образом даже усилена и т. д.

Прежние основные категории — предприятие, профессия, работа по найму — уже более не затрагивают возникающую реальность организации труда, которая отчасти становится социально незрима. Они примерно так же применимы к возникающей системе неполной занятости, как трудовые понятия феодального общества к трудовым отношениям общества индустриального. Это не означает, к примеру, что наемный труд по мере данного развития в позитивном смысле упразднится, скорее наоборот: возникающие гибко-множественные

формы неполной занятости суть

более чем когда-либо наемный труд и одновременно

уже не наемный труд, что, однако, всего-навсего означает, что, глядя сквозь линзы наших индустриально-общественных понятий на возникающую реальность труда, мы только портим себе зрение.

Очерченную здесь перспективу можно охарактеризовать и так: то, что до сих пор, как правило, противопоставлялось — формальный и неформальный труд, занятость и безработица, — в будущем

сплавится в совершенно новую систему гибких, множественных, изобилующих рисками форм неполной занятости. Такая интеграция безработицы посредством плюрализации наемно-трудовых отношений не вытеснит известную систему занятости целиком, но наложится на нее или, точнее, будет ее расшатывать и, ввиду в целом сокращающегося объема наемного труда, постоянно на нее давить, вынуждая к адаптации. Данное развитие можно представить и как

разделение рынка труда надвое по стандартизованным и дестандартизованным нормам использования рабочей силы (во временном, пространственном и социально-правовом аспекте). Таким образом, создается новое разделение рынка труда на единообразный рынок труда, типичный для индустриального общества, и гибко-плюральный рынок неполных занятостей, типичный для общества риска, причем этот последний количественно расширяется и все больше доминирует над первым. Почему? До сих пор мы устанавливали не более чем теоретическое различие, набрасывали типологию. Теперь пора обосновать оценку, которая гласит, что поезд информационно-технологической модернизации системы занятости уже двинулся в этом направлении.

Вся политика в области труда — будь то политика государственная или политика предприятия — самое позднее с начала 80-х годов строится под знаком закона, который требует

по-новому распределить систематически продуцируемую нехватку работы. Если до сих пор исходили из того, что оживление в экономике приведет и к сокращению безработицы, то в последние годы становится ясно, что эти величины друг от друга не зависят. Многие предприятия — почти все крупные предприятия немецкой промышленности — за последние три года

увеличили свой оборот и одновременно

сократили персонал. Это возможно благодаря широкому применению микроэлектроники в сочетании с новыми организационными формами остаточного труда. Станки с числовым программным управлением — электронные «рабы автоматизации нового времени» — поначалу берут на себя значительную часть работы в производственной сфере (в автомобильной промышленности, химической индустрии и станкостроении), но коллега компьютер проникает и в управленческую и конторскую сферу, вытесняя человека. Масштаб и чрезвычайная актуальность этого развития отчетливо заметны, если посмотреть на данные о повышении производительности за 1977–1984 годы. Если еще в 1977 году производительность за один рабочий час составляла 2,7 %, то к 1979-му она возросла до 4,7 %, а затем к 1982-му упала до 1,5 %. Лишь в последнем квартале 1983 года она вдруг круто взмывает в верхи в 1984-м (возрастая с первого квартала) достигает показателя 10,8 %. Это означает

значительный рост производительности меньше чем за год! Параллель этому развитию обнаруживается в применении промышленных роботов, которое еще в 1980 году находится

на уровне 1255, в 1982-м возрастает до 3500, а в 1984-м — уже до 6600. Причем речь тут идет о первых волнах развития, конца которому пока что не предвидится [14].

В преобладающей ныне системе полной занятости нехватка работы распределяется по черно-белой схеме занятости и безработицы. В нынешней кризисной ситуации рабочее время как организационный резерв широковещательно объявляют панацеей, пропагандируют и рассматривают все его преимущества и недостатки. При этом очень скоро становится ясно, что свобода действий для

стандартизованных сокращении рабочего времени при полной компенсации заработной платы чрезвычайно мала. Как показывает исход борьбы за введение 35-часовой недели, это справедливо и для продолжительности рабочей недели; но не менее справедливо это и для снижения пенсионного возраста или удлинения обязательного школьного обучения, вдобавок то и другое суть паушальные сокращения объема труда по найму, которые не входят в компетенцию тарифных партнеров. В условиях стандартизованной системы полной занятости — намечается именно такой вывод — сокращение труда по найму неизбежно ведет к массовому отграничению безработных. Соответственно растет принуждение к

флексибилизации отношений занятости в сфере рабочего времени. Данная идея имеет множество приверженцев: это и государственные инстанции, которым ввиду угрозы «политического скандала» массовой безработицы необходимо что-то делать; и женщины и особенно молодые работники, которые усматривают здесь возможность большей гармонизации труда в семье и труда по найму или же большой «временной суверенитет»; и предприятия, которые открывают в организационном использовании рабочего времени новые источники производительности. Этой, казалось бы,

гигантской коалиции работников и производственного менеджмента противостоит

сопротивление профсоюзов (и традиционной рабочей партии), которые видят в этом подрыв основ прежней системы занятости, а значит, и своей властной позиции.

В этой как будто бы патовой ситуации предприятия обнаруживают

производительную силу неполнодневной работы, неполной занятости или более обобщенно: дестандартизации норм использования труда и содержащихся в них организационных возможностей повышения производительности на основе микроэлектроники[15].

Впрочем, происходит это по-разному, противоречиво, скачкообразно.

К удивлению наблюдателей из сферы индустриальной психологии, «на наших глазах в важнейших индустриальных секторах» происходит «принципиальное изменение в использовании оставшейся рабочей силы, описание которого формулой кризиса тейлоризма было бы слишком узким и однобоким. Можно по праву говорить о смене трудополитической парадигмы на предприятиях основной сферы». Замещение и новая организация человеческого труда совершается в условиях тейлористских форм труда при полной

инверсии первоначальной «философии менеджмента». Рестриктивные частные функции в ходе нынешних или предстоящих рационализации могут быть полностью или частично переданы автоматам, а возникающие новые задачи надзора, управления и технического обслуживания сосредоточиваются на немногих профессионально высококвалифицированных позициях. Принцип разделения, или дробления, труда заменяется противоположным принципом

слияния частных задач на более высоком уровне квалификации и профессионального суверенитета. На место большого числа низкоквалифицированных и неквалифицированных работников приходит небольшое число «рабочих — специалистов по автоматике».

Расширение пространства производственной гибкости и резкое сокращение персонала, стало быть, возможны на этом этапе производственной рационализации благодаря объединению и профессиональному обогащению сохранившегося остаточного труда.

Однако, по сути, это затрагивает в первую очередь ситуацию в производственных сферах основных секторов индустрии. Приблизительно в то же время особенно в сфере услуг (розничная торговля, универсальные магазины, гостиницы и рестораны) ускоряется

превращение отношений полной занятости в разнообразные формы занятости неполной. Первоначально встреченное в штыки, это развитие все больше демонстрирует и производительные преимущества для предприятий: заключаются эти преимущества прежде всего в том, что предприятия, с одной стороны, могут гибко увязывать объем рабочего времени с полученными заказами, перекладывая таким образом часть рисков предпринимателя на трудящихся в виде гибкой по времени неполной занятости ниже зримого и тормозящего порога открытой безработицы. С другой стороны, тем самым они попадают в ситуацию, когда приходится разъединить период производства и рабочее время и таким способом использовать производственную организацию плотнее, интенсивнее и дольше. Наконец, частичная и неполная занятость, вместе взятые, расширяют кадрово-политическую свободу действий предприятия, поскольку такие условия позволяют облегчить проведение рабочих перестановок, быстрее компенсировать снижение квалификации ввиду новых технологических требований, а кроме того, все это в целом в силу диверсификации ослабляет властную позицию персонала. В этом смысле можно сказать, что здесь

Тейлорова «философия расчленения» переносится с отношений занятости, затрагивающих содержание труда, на отношения временные и договорные. Отправными точками для такого нового «тейлоризма отношений занятости» является уже не комбинация труда и машины, а установление временных сроков, правовое (не-) охранение и договорная плюрализация использования рабочей силы. Причем возможности гибкой организации рабочего времени на основе микроэлектроники еще далеко не исчерпаны. Главные элементы этой организационной «временной головоломки» — скользящие графики (которые в ФРГ уже в первом полугодии 1985 года действуют для 6 с лишним млн работников) и различные формы неполного рабочего дня (подневно, понедельно, помесечно и т. д.), с которым в настоящее время сталкиваются более 2 млн трудящихся, главным образом женщин.

Наряду с этими возможностями рационализации рабочего времени предприятия начинают опробовать в первых моделирующих экспериментах

сохранение подфункций как резерв производительности. Это развитие заканчивается реорганизацией конторских и управленческих задач. На данном этапе развития производительных сил речь, однако, идет о некой принципиальной возможности, которую после успешного тестирования вполне можно применить к другим функциональным сферам. Центральное место здесь принадлежит потенциальным возможностям микроэлектроники, которые позволят посредством применения информационных технологий снизить и даже упразднить прямые кооперационные принуждения функциональных групп, соотнесенных между собой через разделение труда. В этом смысле использование телекоммуникации и соответствующих ЭВМ позволяет значительно

разделить во времени и пространстве трудовые и производственные процессы, а тем самым создает и новые

децентрализованные формы организации труда, из которых пресловутая «надомная работа с компьютером» всего лишь

один экстремальный случай. Особенность и здесь заключается в том, что развитие производительных сил совпадает с перестройкой прежней «производственной парадигмы»

организации труда: повышение производительности, опробование и внедрение новых, непрофессиональных, заводских форм занятости и организации человеческого труда суть две стороны одной медали.

Такие уже подхваченные на предприятиях возможности гибкой неполной занятости санкционирует вступивший в силу в мае 1985 года Закон о стимулировании занятости. Он создает

правовую основу флексибилизации рынка труда и трудового права (договоры на срок, работа по требованию/до отзыва, работа для другого работодателя с разрешения основного). Хотя эти постановления до 1990 года действуют ограниченно, в ближайшие 5 лет они обеспечат правовой инструментарий, с помощью которого можно укрепить и усовершенствовать преобразование рабочих мест с полной временной загрузкой в рабочие места с частичной загрузкой. Пока невозможно предугадать, в какой мере в 90-е годы можно будет вообще повернуть вспять этот переход предприятий от стандартизированной системы полной занятости к дестандартизированной системе гибкой неполной занятости. «Закавыка» Закона в том, что трудовые договоры можно без всякого объективного обоснования ограничивать 18-месячным сроком, что позволяет обойти законодательные гарантии от необоснованного увольнения. С одной стороны, таким образом создан стимул в рамках ограниченного срока трудовых отношений интегрировать безработных в систему занятости; с другой же стороны, именно это открывает путь к широкому распространению нестабильных форм неполной занятости со всеми вытекающими отсюда рисками.

Что касается масштабов сегодняшнего распространения договорно

«незащищенных» или

«дезорганизованных» трудовых отношений в ФРГ (и в других индустриальных странах Запада), то (надежных) данных и информации почти нет. В исследовательском ландшафте эта часть рынка труда и по объему, и по видовому и отраслевому распределению представляет собой «белое пятно». Значение ее растет в обратной пропорции. В 1982 году Карола Мюллер опубликовала определенные фактические материалы:

легальная работа у другого работодателя (в 1981 году насчитывалось круглым счетом 43 000 таких работников); случаев

нелегальной работы у другого работодателя, по оценкам, вшестеро-вдвевятеро больше; распространение происходит большей частью в форме мнимых трудовых договоров, в первую очередь в строительстве и металлообрабатывающей отрасли и при использовании иностранных рабочих;

незначительная занятость (при менее 20 часов в неделю исключается страхование по безработице, при менее 15 часов исключается также страхование на случай болезни и пенсионное страхование; в 1979 году совокупно в обеих формах было занято около 1,24 млн, особенно женщины),

сезонная занятость (полная занятость на время);

переменное, ориентированное на производственные мощности рабочее время, ограниченный определенным сроком трудовой договор без регламентации рабочего времени; работник должен быть постоянно готов по первому требованию выйти на работу; эта форма в силу большой выгоды для предприятия особенно часто практикуется в розничной торговле; далее следует назвать: подрядные договоры, «свободное сотрудничество», «левую» работу и т. д. (см.: Carola Muller, 1982, 8. 183–200).

Как и прежде, взрывоопасность развития, таким образом, заключается в развертывании

производительных сил. Производительные силы, однако, уже не ломают — как предполагал Маркс — отношений собственности. Выражаясь в терминах марксизма, их революционный потенциал ныне грозит ударить, так сказать, «в тыл»,

ломающая отношения трудового договора и рынка труда, индустриальные социальные формы предложения и использования рабочей силы и создавая таким образом совершенно новые

не-равновесия сил между контрагентами рынка труда и организациями, представляющими их интересы. Ввиду интересов, инвестированных в преобладающую систему наемного труда, и их политической и союзной организационной власти нетрудно предсказать, что это изменение системы общества труда встретит серьезное сопротивление и затянется надолго. Поэтому сейчас еще невозможно прогнозировать, какие части индустриально-общественной системы труда будут охвачены этим изменением, а какие нет. Тем не менее новая система множественной гибкой неполной занятости и децентрализованных форм труда может заявить о себе более высокой производительностью, которая в конечном счете до сих пор всегда играла решающую роль. «Историческое превосходство» новой системы труда состоит в возможностях высвободить усиливающуюся нехватку работы из такой политически скандальной и опасной формы проявления, как

открытая безработица, перераспределить ее и даже превратить в развертывание производительных сил. С точки зрения трудящихся опасности, сопряженные с формами неполной занятости, конкурируют с частичной свободой и суверенитетом, приобретаемыми для формирования собственной жизни.

Многие сочтут, что превращение рабочих мест с полным рабочим днем в рабочие места с неполным рабочим днем внесет существенный вклад в преодоление безработицы. А ведь может произойти и прямо противоположное. Прогрессирующая индивидуализация выталкивает людей на рынок труда. С созданием гибко-множественных возможностей неполной и промежуточной занятости

рушатся еще сохранившиеся барьеры располовиненного общества рынка труда (ср. с. 151 наст. изд.). Препятствия, мешающие ныне участию — несовместимость семьи и участия в занятости, учебы и участия в занятости, — устраняются, и женщины и молодежь, ожидающие в «тихом резерве», могут ринуться на рынок гибкой неполной занятости. С созданием соответствующих предложений, стало быть, спрос может

непропорционально возрасти, и его лавина опрокинет все теперешние расчеты.

Эскизно очерченный здесь проект представляет собой теорию

самореволюционизации системы индустриального общества на наиболее продвинутой стадии его развития. Процесс рационализации идет уже не

в индустриальных формах и не

по рельсам индустриального наемного труда, а все больше направлен

против них. Начавшееся обновление не только меняет количественные распределения на обусловленные категории рабочей силы и рабочих мест, но

переплавляет сами социальные формы и организационные принципы. В этой теоретической перспективе непрерывность и резкое изменение общественного развития определенным способом переплетаются, обуславливают друг друга: при неизменной логике ориентированной на прибыль рационализации происходит коренное изменение от известной, индустриально-стандартизированной системы к будущей системе плюральной, гибкой, децентрализованной неполной занятости. Направляется параллель со специфическим

жизненно этапным распределением массовой безработицы: подобно тому как безработица на определенных жизненных этапах уже стала для больших групп населения компонентом типовой биографии, так и неполная занятость, т. е. синтез полной занятости и безработицы, «интегрируется» теперь в систему занятости. Биографической «нормализации» соответствует «нормализация» институциональная — с открытым исходом. Существенными остаются политические реакции.

Без развития системы социальных гарантий нам грозит будущее нищеты. Установление юридически гарантированного минимального дохода для всех могло бы

заодно отвоевать у этого развития толику свободы.

2. Призрачный вокзал — специальное образование без занятости

Кто смахнет с глаз сон исследовательской рутины и задастся тревожным вопросом о будущем специального образования в условиях такого системного изменения общества труда, тотчас увидит перед собой целую лавину вопросов, очевидную настоятельность которых превосходит разве что невозможность получить на них ответ. Каким же, собственно, образом продолжительная массовая безработица меняет ситуацию

в системе образования? Какие последствия для системы образования влечет за собой переход к неполной занятости? Чем завершится соревнование между информационно-технологическими усилиями реформировать сферу образования и технологиями новых поколений, которые делают эти реформы совершенно ненужными? Стоит ли в данной ситуации усиливать профессиональную соотнесенность образования или же, поскольку это невыполнимо, окончательно от нее отказаться?

Возьмем первую гигантскую проблему. Доказано, что массовая безработица радикально изменила ситуацию в коридорах образования. Причем призрак безработицы витает уже и в таких образовательных твердынях, которые прежде считались гарантами занятости (медицина, юриспруденция, инженерные дисциплины, экономика, квалифицированные рабочие специальности). Однако профессионально ориентированные циклы обучения, чье профессиональное будущее омрачается, существенно меняют свою смысловую соотнесенность даже при неизменных содержаниях обучения. Организаторы и исследователи образования могут сколько угодно списывать все это за счет «разногласий между образованием и занятостью», а преподаватели и мастера производственного обучения (сами вполне обеспеченные) могут сколько угодно не обращать на это внимания, но

это отчетливо видит молодежь, которая самое позднее на выходе из системы образования наталкивается на закрытые двери системы занятости и, разумеется, предугадывает это и в процессе обучения. Иными словами, это означает:

внешние вторжения рынка труда повреждают и даже разрушают имманентную образованию смысловую основу профессионально ориентированной подготовки. Предугадываемое, (еще) не существующее профессиональное будущее, т. е. «ирреальная переменная», вызывает радикальное изменение ситуации

внутри системы образования. Чтобы избежать безработицы, молодые люди дольше остаются в школах, нередко выбирают дополнительную специальную подготовку. Но чем дольше они остаются в школах, тем больше обучение, соотнесенное с их имманентной претензией на профессиональное будущее, представляется им бессмысленной тратой времени. Возможно, у некоторых и в самом деле разгорается «аппетит» к образованию. Однако школы как

институциональные учреждения легко превращаются в этикие камеры хранения, «залы ожидания», уже не выполняющие предписанных им задач специальной профессиональной подготовки. Соответственно страдает авторитет преподавателей, а профессионально ориентированные учебные планы и учебные содержания сползают в область ирреального.

Лишь с незначительным преувеличением можно сказать, что затронутые безработицей секторы системы образования ныне все больше напоминают некий

призрачный вокзал, где поезда уже не ходят по расписанию. Тем не менее все идет по-старому. Кто хочет уехать — а кому охота оставаться дома, читай: обречь себя на безбудущность? — тот должен занимать очередь в кассы, где дают билеты на поезда, которые большей частью уже переполнены или идут вовсе не в указанных направлениях. Делая вид, будто ничего не произошло, восседающие в кассах чиновники от образования с огромным бюрократическим рвением распределяют билеты в Никуда да еще и терроризируют стоящую перед ними очередь «угрозами»:

«Без билетов вы

никогда не сможете уехать на поезде!» И самое ужасное, что они правы!..

Затяжная структурная безработица придает ситуации в профессионально ориентированной системе образования

противоречивый характер. Понятно, что это отнюдь не укрепляет доверие к «системе». В этом смысле подрастающему поколению завуалировано, так сказать в форме «скрытого плана», преподносится

основной курс по иррациональности, который вынуждает его сомневаться в себе самом, во взрослых, в «системе» или во всем сразу, — а в силу психологических и политических причин это развитие вызывает величайшую тревогу.

Аналогичным образом меняется ситуация в институтах социального обеспечения и государства всеобщего благоденствия. В периоды структурной безработицы программы профессиональной подготовки, программы реабилитации для вышедших на свободу правонарушителей, попытки ресоциализации психически больных или старания помочь домохозяйкам на этапе «опустевшего гнезда» вернуться в профессиональный мир столь же необходимы, сколь и неправдоподобны. Социальные работники, психологи и официальные лица, занимающиеся «реабилитацией» и «интеграцией» таких индивидов и групп — что фактически всегда означает интеграцию безработных в систему труда, — наносят ущерб эффективности и авторитету своей деятельности, ибо такие программы не могут ничего изменить в коренной ситуации существующей нехватки работы.

В этом смысле системное изменение общества труда уже омрачает сегодняшний день. Дамоклов меч безработицы висит практически над всеми сферами и ступенями иерархии системы профессионального образования (хотя — статистически — то как нож гильотины, то как кухонный тесак) и соответственно грозит своими кошмарами. Для растущего числа выпускников всех учебных циклов

между обучением и занятостью возникает рискованная серая зона лабильной неполной занятости. Следы будущего — приметы системы гибко-плюральной неполной занятости — заявляют о себе на протяжении последних 15 лет.

Как показывают эмпирико-статистические анализы, в ходе образовательной экспансии 70-х годов особенно резко шансы занятости уменьшились у

выпускников основных школ. Двери системы занятости в этих низших коридорах системы

образования почти наглухо закрыты в силу перераспределений и процессов замещения, а также мероприятий по рационализации производства. В 1970–1978 годах в этом смысле резко сократилось прежде всего количество рабочих мест для молодежи без профессиональной подготовки и для выпускников/выпускниц народных школ с профессиональной подготовкой; одновременно как в государственном, так и в частном секторе заметно явное увеличение притока выпускников, имеющих свидетельство о среднем образовании и профессиональную подготовку, а также выпускников, имеющих аттестат зрелости. Соответственно высок риск занятости для выпускников основных школ без дополнительной профессиональной подготовки. В середине 1983 года 55 % всех пополнений приходилось на безработных без профессиональной квалификации (при около 30 % занятых вообще), и все оценки исходят из того, что система образования будет и впредь продуцировать в нижнем секторе количественно растущий «цоколь» постоянно безработных без перспектив на занятость.

Не столь широко известно, что и в былом раю, каким с точки зрения занятости была сфера квалифицированных рабочих, тоже бесчинствует кошмарный призрак безработицы. Так, в 1981 году глобальная нехватка рабочих-специалистов превратилась в их переизбыток. В 1982 году на более 300 000 безработных рабочих-специалистов приходилось только 50 000 вакантных рабочих мест. Эксперты единодушны в том, что в будущем именно доля рабочих-специалистов среди безработных будет увеличиваться. Некогда хваленое профессионально-производственное обучение ныне тоже не защищает от потери статуса. Если в 1950 году доля тех, кто непосредственно после производственного обучения вынужден был опуститься на более низкий уровень, составляла всего лишь 5,5 %, то в 1950–1969 годах она возросла до 7,6 %, а к 1979 году — даже до без малого 10 %. И здесь мнение экспертов опять-таки едино: опасность снижения статуса в дуальной системе будет в последующие годы скорее возрастать, нежели убывать.

Выпускники

специальных высших учебных заведений тоже испытывают значительные трудности с вхождением в сферу занятости: если в 70-е годы по причине поглотительной способности государственной сферы услуг доля безработных в этом секторе образования была еще относительно низка, то в начале 80-х годов ситуация стремительно ухудшается при поляризации безработицы по специальностям (например, в системе социального обеспечения — 14 %, зато инженеры-электрики и инженеры-связисты почти не пострадали): за 2 года по окончании учебы 33 % выпускников специальных вузов однажды были безработными (среди них женщины непропорционально чаще, нежели мужчины).

Однако начиная с 80-х годов ножницы между численностью выпускников и количеством вакансий в общественной и частной системе занятости необычайно драматизировали ситуацию для

выпускников высшей школы. Вопреки многим предположениям сравнительный эмпирический анализ показывает, что преобладающее большинство высококвалифицированных специалистов (выпускников высших и высших специальных учебных заведений), т. е. образовательной экспансии в целом, включались не в сферу экономики, а в расширявшуюся в 70-е годы государственную сферу услуг, — в 80-е годы этот спрос хиреет, и ситуация для молодежи с университетскими дипломами быстро ухудшается. Для этой группы начинающих профессионалов опасность особенно велика еще и потому, что они, как ни одна другая группа выпускников,

именно в силу профессиональной привязки образования чрезвычайно зависимы от рабочих мест в государственном секторе. Так, в 1978 году более 80 % зависимо занятых начинающих профессионалов со (специальным) высшим образованием (в том числе женщин — даже 91

%) трудились на государственной службе. Кроме того, для большинства выпускников — например, социальных работников, педагогов, судей, гимназических преподавателей, а также для большинства ученых-гуманитариев и специалистов по общественным наукам — практически нет альтернативы в частном секторе. Не образование как таковое, но имманентная ему профессиональная соотнесенность привязывает выпускников таких специальностей к монополии государственного заказа и инверсивно обременяет соответствующие сферы системы образования

роковой ипотекой грандиозной ошибочной квалификации. Только реквалификация вне приобретенной специальности могла бы в будущем дать этим группам возможность трудиться. Пусть даже рабочие места с полным рабочим днем будут в широком масштабе преобразованы в рабочие места с неполным рабочим днем, а тем самым и в этом секторе осуществится прорыв к системе гибкой неполной занятости.

На всех ступенях образовательной иерархии растет стремление

избежать грозящей безработицы

через получение дополнительного образования и повышение квалификации. Так под нажимом скудости рынка труда растет готовность после окончания высшего специального учебного заведения начать учебу в университете. Также и на переходе от школы к производственному обучению все большее значение приобретают «силки ожидания». Все больше молодежи посещает сначала среднее специальное профучилище, проходит годичный общеобразовательный курс по специальности или годичный курс профессиональной подготовки и только после этого начинает производственное обучение. Но и фазы без профессиональной подготовки, например безработица или военная либо альтернативная служба, все чаще предшествуют производственному обучению. Конечно, предлагаются «места парковки» и меры по подыскиванию рабочих мест, а также иные компенсации. Но даже после успешного завершения профессионального образования нормой все чаще становится

лабильная переходная фаза, на которой плохие рабочие места чередуются с безработицей, краткосрочными трудовыми отношениями и неполной занятостью.

Большинство молодежи

пока на удивление спокойно воспринимает эту глобальную и отчасти драматичную «лабилизацию» вхождения в систему занятости. Со смешанным чувством разочарования и надежды многие мирятся с огульным обесцениванием своих аттестатов, с профессиональной некупаемостью своих образовательных усилий. Одновременно они по-прежнему черпают мужество в надежде, что «когда-нибудь» их старания «окупятся». Так, по окончании учебы большинство молодых людей под угрозой безработицы в конечном итоге готовы «временно» (как они надеются) согласиться на

любую работу, чтобы для начала вообще хоть как-то интегрироваться в систему занятости. Впрочем, они видят и опасность того, что, соглашаясь на неквалифицированную и среднеквалифицированную работу, могут навсегда остаться в сфере низкоквалифицированного труда. Насколько сильно уже теперь проявляется этот нажим, заставляющий соглашаться на неполноценные отношения занятости, во многом зависит от социального окружения и частных условий жизни молодежи. Метания между разочарованием и надеждой захватили уже и возможности улучшить профессиональные перспективы посредством переквалификации или продолжения учебы.

3. Распределение шансов через образование?

Объем труда в обществе труда сокращается, и система наемного труда переплавляется в самих своих организационных принципах. Переход из системы образования в систему занятости становится нестабильным и лабильным; между этими системами вклинивается серая зона рискованной неполной занятости. Ввиду таких предвестий системного изменения общества труда профессиональное программирование образовательной системы все больше превращается в

анахронизм . В этом смысле за последние годы внутренность образовательной системы подверглась радикальному изменению «извне», со стороны рамочных условий. В образовательных институтах это до сих пор еще недостаточно признано, и уж тем более не проработано педагогически. Если различать

«организацию образования» и

«значение образования», подразумевая под организацией институциональные рамки, порядки, сертификацию, учебные планы и содержания, а под значением — смысл, который индивиды связывают со своим обучением, то можно сказать:

организация и значение профессионального образования разъединились и стали самостоятельны относительно друг друга . Образование утратило свое «имманентное Потом», смысловую нить, выводящую за собственные его пределы. Теперь некоторые — скорее, неформально и «вопреки» предписанной профессиональной ориентации — ищут смысл и цель профессионального образования в нем же самом. Отрезанное от цели, которой организация образования формально по-прежнему служит, образование вновь раскрывается как самоценное переживание поисков и формирования собственной личности.

Меж тем как институциональные рамки профессионального образования бюрократизируются, т. е. запоздало расцветает

тейлоризм , внутри этого «бюрократического кожуха образовательного послушания» неформально воскресает Гумбольдт. Там, где утрачивается «трансцендентная» профессиональная смысловая основа, самые находчивые молодые люди апеллируют к тому, что единственно способно придать смысл реальному многолетнему Теперь обучения, — к

самоценности образования . В пользу этого говорит, например, никем не предусмотренная внезапность, с какой прежде редкие специальности становятся поистине массовыми, или исподволь возрождающийся на семинарах интерес к дискуссиям и теории.

Пока что невозможно предугадать, как надлежало бы или следовало бы содержательно формировать профессиональное обучение для гибкой системы плюральной, мобильной неполной занятости в электронно-опосредованных, децентрализованных «обстоятельствах кооперации». Для начала здесь, пожалуй, не повредил бы публичный мозговой штурм касательно проблемных ситуаций, встроенных в эту систему неполной занятости. Тем не менее уже сейчас можно сказать: мы не избежим

ослабления профессиональной соотнесённости , в результате чего исторически возникнет шанс фантастического обратного превращения профессиональной подготовки в образование,

в совершенно новом осмыслении . Центральное место должна занять целевая, соотнесенная с образованием полемика, выдвигающая на обсуждение многообразные проблемы, с которыми столкнутся жизнь (выживание) и (политическая) деятельность в будущем обществе риска.

Необходимо также вновь обсудить распределение (неравных) социальных шансов через образование. Как свидетельствуют эмпирические исследования, в 1970–1982 годах резко уменьшились вероятности получить вместе с аттестатом о среднем (специальном) образовании также и доступ к соответственно более высокой статусной позиции. В ходе данного развития

образовательная система в 70-е годы утратила свою статусораспределяющую функцию : среднего (специального) образования уже недостаточно, чтобы достичь определенной профессиональной позиции, а тем самым определенного дохода и авторитета.

Впрочем, профессиональное образование избыточным не стало. Напротив, без квалификационного аттестата о среднем специальном образовании профессиональная будущность полностью закрыта. Зато начинает пробивать себе дорогу формула, что квалификационные аттестаты

все менее достаточны и одновременно

все более необходимы , чтобы добиться желанных, но столь немногочисленных рабочих мест. Что же это означает? На ничейной земле между «достаточным» и «необходимым» условием система образования утратила приписываемое ей ни много ни мало с времен Просвещения, а в 60-е годы столь желанное функциональное назначение — подконтрольное общественности распределение социальных шансов! Как и по каким критериям скудные социальные шансы будут теперь и в будущем распределяться между формально равноквалифицированными? Как утрата распределяющей функции влияет на педагогическую ситуацию в разных секторах образовательной системы — в основной, профессиональной, высшей и вспомогательной школе, — где профессиональное будущее закрыто весьма по-разному? Что это означает для отношений авторитета между обучающими и обучаемыми, для готовности учиться и профессионального выбора подрастающего поколения? Эти вопросы мы здесь можем только затронуть. Но, во всяком случае, правомерно сказать: статусопределяющая функция профессионального образования за истекшее десятилетие распалась на две обособленные ветви, а именно

негативный отбор не имеющих права на участие в конкурентной борьбе за статус и действительно позитивное

распределение статусных шансов. Образовательная система уступила свою реальную распределяющую функцию отделам кадров предприятий и их начальникам, а общественный контроль за распределением шансов в образовательной системе сведен к негативному отбору с целью незаконного

лишения шансов. Подоплекой этого сдвига функций является обветшалость и хрупкость взаимосвязи образования и занятости.

Во времена полной занятости выдача немногочисленных сертификатов об образовании, так сказать, (почти) предупреждала решение данного (или некого) отдела кадров о зачислении на работу. Во времена инфляционного избыточного предложения квалификаций такое решение касательно равноценных аттестатов, напротив, делегируется системе занятости. С помощью собственных вступительных тестов или иных аналогичных методов предприятия могут теперь решать, кому они предоставят (ученическое) место. Иными словами, сертификаты, выдаваемые в системе образования, более не являются ключом к системе занятости, они всего лишь ключ к

приемным , где раздают ключи к дверям системы занятости (каковы бы ни были критерии и правила игры). Но эта утрата значимости приобретает теперь в разных секторах и на разных иерархических ступенях системы образования совершенно разное значение.

Экстремальные последствия имеют место там, где аттестат уже не отворяет и двери «приемных» и даже становится

критерием отсева . Это все чаще происходит, когда

закончена только основная школа . Успешное окончание

любого курса профессионального обучения все больше становится условием для того, чтобы вообще включиться в трудовую жизнь. По мере того как удостоверение о рабочей квалификации становится «входным билетом», молодежь,

не имеющая законченного профессионального образования, маргинализируется. Выпускники основных школ становятся «неквалифицированными», доступ на рынок труда им закрыт.

Обучение в основной школе превращается в дорогу с односторонним движением к профессиональной безнадежности . Так основная школа сползает на общественную периферию, становится школой низших,

навечно приписанных к профессиональной безбудущности статусных групп.

Новая негативная функция незаконного отнятия шансов проявляется в основной школе, таким образом, как бы в «чистом» виде. И это развитие весьма примечательно, поскольку с возрастанием образовательных предпосылок окончание основной школы деградирует до уровня «не-образования», исторически аттестат основной школы

почти приравнивается к неграмотности . Говоря обобщенно: в XVIII веке было еще вполне «естественно» зарабатывать на жизнь,

не зная азбуки. В XIX веке владение чтением и письмом все больше становится предпосылкой для интеграции в расширяющуюся промышленную систему занятости. В последней четверти XX века

один только аттестат основной школы уже все менее достаточен, чтобы через посредство рынка труда обеспечить материальное существование. На примере основной школы видно, что «образование» —

тот самый классический признак

приобретаемого статуса — может исторически совершить обратное превращение в признак

квазиаскриптивный : основная школа распределяет

отсутствие шансов и

как образовательный институт грозит, таким образом, сделаться стеною гетто, за которой навсегда изолируются низшие статусные группы, обреченные на постоянную безработицу (и соответственно на социальную помощь).

Развитое общество образования порождает в этом смысле новую, парадоксальную «квазинеграмотность» низших образовательных групп (выпускники основных и особых школ). Заметим на полях, что здесь опять-таки отражается заорганизованная профессиональная соотнесенность обучения — особенность немецкой образовательной системы, которая, например, для США в этом смысле силы не имеет.

При такой маргинализирующей функции основная школа, как ранее школа специальная (особая), превращается в

«кладовую» для безработной молодежи, в образовательно ориентированную «молодежную базу» где-то между улицей и тюрьмой. Функциональное ее содержание сдвигается в направлении трудотерапии. Соответственно ухудшается педагогическая ситуация. Легитимность учителей и учебных планов находится под угрозой. На них проецируются противоречия «профессионально ориентированного обучения без перспективы». Школа, которой больше нечего «предложить» ученикам или отнять у них, теряет свой авторитет.

Анемические реакции молодежи в подобных образовательных гетто профессиональной безбудущности (фактически или потенциально) прямо-таки предначертаны. Экстремальная и зримая примета этого, скажем, рост насилия, обращенного против учителей, особенно в больших городах с высокой постоянной безработицей среди молодежи.

Но одновременно ключевое значение приобретает и

внутренний отбор в основной школе: прыжок в среднюю школу или в гимназию становится прыжком на «спасительный берег»

возможного профессионального будущего. Точно так же необходимо, по крайней мере, не ухудшать

характером аттестата основной школы исходную ситуацию в конкурентной борьбе с более сильными выпускниками средних школ и гимназий за немногие ученические места.

Квалифицирующий аттестат основной школы в этом смысле, так сказать, проводит различие по степеням отсутствия шансов. В конечном счете выводы касательно педагогической ситуации в основной школе (как и касательно всей образовательной системы в целом) неоднозначны. С одной стороны, как мы уже говорили, аттестат основной школы как таковой почти не дает шансов интегрироваться в систему занятости. С другой стороны, он пока что представляет собой необходимый минимальный шанс, чтобы все-таки добыть одно из немногих ученических мест. «Необходимая функция» образовательных аттестатов содержит и

стимулы к достижению результата, и дисциплинарный потенциал, ибо лишение аттестата означает полную маргинализацию. Выставляемые учителем оценки постоянно грозят захлопнуть дверь в приемные, где раздаются шансы. Именно там, где образовательный успех ведет лишь в серую зону возможной (неполной) занятости, негативный отбор ставит под угрозу само материальное существование, а погоня за хорошими оценками и аттестатами становится гонкой за надеждой, попыткой «взбежать» на этаж выше по едущему вниз эскалатору общественной иерархии. Лозунг Спonti: «Шанса у тебя нет, используй же его!» — становится в таких условиях весьма реалистическим девизом выживания.

Ситуация в верхних эшелонах системы образования — высшем специальном учебном заведении и университете — изменилась более тонко и не столь очевидно.

«Предварительное распределение шансов» означает здесь, что студенты уже не в состоянии планировать свою карьеру на длительный срок. Кризис рынка труда и общества труда проявляется для них не столько как утрата профессии, сколько как утрата планируемой хорошо оплачиваемой и престижной стабильности трудоустройства. Профессиональная потусторонность образовательной карьеры не утрачивается, но становится непредсказуемой и не поддается планированию. Соответственно долгосрочное планирование зачастую заменяется сосредоточенностью на временно возможном. Это

может означать, что при «закармливании» ирреальными профессиональными образовательными содержаниями вновь обнаруживается голод на образование. Но с тем же успехом это

может и означать, что, осознавая обесценивание содержательных квалификаций, человек стремится лишь к формальному завершению образования как к страховке от грозящего падения в бездну безработицы. Диплом об образовании ничего более не сулит, но он по-прежнему и даже более, чем когда-либо, есть условие, могущее предотвратить грозящую безнадежность. И с этой бездной за спиной — причем уже не имея перед глазами приманки-карьеры — молодежь проедает себе путь сквозь сладкую кашу бюрократизированных образовательных требований. Неудивительно (если остаться в рамках сказочного образа), что «рот открыть невозможно».

Смещение статусов означавшей функции из системы образования в систему занятости имеет в итоге — как показывает статистика безработицы — глубокие последствия: проблемными группами на рынке труда, особенно подверженными риску долговременной безработицы, являются женщины (прежде всего при значительном перерыве в трудовой деятельности), лица с нарушениями здоровья, пожилые люди и неквалифицированная, а также социально ущемленная молодежь.

Приведенные примеры показывают, что в результате реформы профессионального обучения новое значение приобретают критерии отбора, которые имели силу

до ее начала и с развитием общества образования должны были быть преодолены, а именно:

распределения по признакам пола, возраста, здоровья, а также мировоззрения, манеры держаться, связей, региональной привязки и т. д. Поэтому возникает вопрос, в какой мере экспансия системы образования (при сокращении общества труда) де-факто ведет к возрождению

сословных критериев в распределении социальных шансов. Ряд признаков говорит о том, что дело идет ни много ни мало к (сейчас замаскированной образованием)

рефеодализации в распределении шансов и рисков на рынке труда. И возможно это потому, что при выборе среди формально равноквалифицированных вновь вступают в силу критерии, находящиеся за пределами образовательных аттестатов и не подчиняющиеся оправдательным принуждениям. Прежде столь высоко ценимая и восхваляемая подконтрольность процесса распределения в целом сузилась или утратилась вообще. Как долго еще будут мириться с этим откатом постобразовательного общества к распределению шансов, характерному для общества дообразовательного, и когда он станет политически взрывоопасен и приведет к новым волнам протеста, в настоящее время сказать невозможно.

Часть третья

Рефлексивная модернизация. Генерализация науки и политики

Ретроспектива и перспектива

В двух предыдущих частях главная теоретическая

рефлексивной модернизации индустриального общества разрабатывалась по двум линиям аргументации: во-первых, на основе логики распределения рынков (часть первая), во-вторых,

на основе теоремы

индивидуализации (часть вторая). Как соотнести эти ветви аргументации между собой и с основной идеей?

(1) Процесс индивидуализации теоретически мыслится как продукт рефлексивности, при которой защищенный государством всеобщего благоденствия процесс модернизации

детрадиционализирует включенные в индустриальное общество жизненные формы. Место предмодерна заняла «традиция» самого индустриального общества. Как на рубеже XVIII и XIX веков подверглись изменению формы жизни и труда аграрного феодального общества, так ныне меняются формы жизни и труда развитого индустриального общества: социальные классы и слои, малая семья с вплетенными в нее «типовыми биографиями» мужчин и женщин, нормирование профессионального труда и т. д. Тем самым разволшебствуется легенда, придуманная в XIX веке и до сих пор властвующая мыслями и делами в науке, политике и быту, — легенда, что индустриальное общество с его схемой труда и жизни как раз и есть общество

модерна. Наоборот, заметно, что тот проект модерна, который поначалу исторически выступил в форме индустриального общества, уже и в этой форме

институционально располавливается. В важнейших принципах — скажем, в «нормальности» опосредованного рынком труда обеспечения существования —

развитие означает

упразднение индустриального общества. Генерализация защищенного государством всеобщего благоденствия рыночного общества подрывает как социальные основы классового общества, так и социальные основы малой семьи. Шок, который при этом испытывают люди, — шок двойной: они

высвобождаются из

мнимых природных форм жизни и естественностей индустриального общества; и этот конец «постистории» совпадает с

утратой исторического осознания форм его мышления, жизни и труда. Традиционные формы подавления страха и нестабильности в социально-моральной сфере, в семьях, браке, мужской и женской роли более не действуют. Но индивидам по-прежнему необходимо с ними справляться. Из связанных с этим социальных и культурных потрясений и нестабильностей рано или поздно возникнут новые требования к общественным институтам в профессиональном образовании, консультировании, терапии и политике.

(2) Рефлексивность процесса модернизации можно пояснить также на примере соотношения производства богатства и риска: только там, где процесс модернизации детрадиционализирует свои индустриально-общественные основы,

монизм, которым мышление в категориях индустриального общества подчиняет распределение рисков логике распределения богатства, утрачивает прочность. Не связанность с рисками отличает общество риска от общества индустриального, и не только возросшее качество и диапазон рисков, порождаемых новыми технологиями и рационализациями. Главное, что в процессе рефлексивной модернизации радикально меняются общественные рамочные условия: онаучивание рисков модернизации ликвидирует их латентность. Победоносный поход индустриальной системы размывает границы природы и общества. Соответственно и разрушения природы впредь уже невозможно сваливать на «окружающую среду», по мере индустриальной их универсализации они превращаются в

системно имманентные социальные, политические, экономические и культурные противоречия. Но риски модернизации, которые системно обусловленно глобализируются и уже утратили свою латентность, уже нельзя рассматривать по модели индустриального общества, имплицитно при допущении конформности со структурами социального неравенства, они развивают конфликтную динамику, которая высвобождается из индустриально-общественной схемы производства и воспроизводства, классов, партий и подсистем.

Различение между индустриальным обществом и обществом риска, таким образом, не совпадает с различием между «логикой» производства богатства и «логикой» производства и распределения рисков, а вытекает из того, что

опрокидывается соотношение приоритетов. Понятие индустриального общества предполагает

преобладание «логики богатства» и утверждает

сравнимость распределения рисков, тогда как понятие общества риска утверждает

несравнимость распределения богатства и рисков и

конкуренцию их «логик».

В следующей, третьей части, эти аргументы будут разработаны далее в двух направлениях: все концепции индустриального общества исходят из

специализируемости, т. е. возможности разграничения и монополизации научного познания и политической деятельности. Не в последнюю очередь это находит свое выражение в особых социальных системах и их институтах — «системе науки» и «политической системе». Мы же намерены показать, что рефлексивная модернизация, затрагивая условия

высокоразвитой демократии и

осуществленного онаучивания, ведет к характерному

размыванию границ науки и политики. Монополии познания и изменения вычлениваются, сдвигаются с предусмотренных мест и в определенном, измененном смысле делаются в целом более доступны. И внезапно становится совершенно неясно, чему принадлежит примат изменения человеческого сосуществования

по ту сторону демократического согласия и согласования —

все еще семейной политике или

уже человеческой генетике. Иными словами, проявляющиеся ныне риски, выходя за рамки выработанных до сих пор характеристик, отличаются от всех прежних, во-первых, своим

общество-изменяющим масштабом (глава VIII), а во-вторых, особой

научной конституцией.

Глава VII

Наука по ту сторону истины и просвещения? Рефлексивность и критика научно-технического развития

Ниже мы остановимся прежде всего вот на чем: если раньше речь шла об опасностях, обусловленных

«извне» (боги, природа), то ныне исторически новое качество рисков заключается в их одновременно

научной и социальной конструкции, причем в тройном смысле — наука становится

(со)причиной, средством дефиниции и

источником разрешения рисков и именно благодаря этому открывает для себя новые рынки онаучивания. В изменчивости самопроизведенных и самодефинированных рисков и в их публичной и социальной критике научно-техническое развитие становится

противоречивым. Попытаемся обрисовать эту перспективу и наглядно ее продемонстрировать с помощью

четырех тезисов.

(1) В соответствии с различием модернизации традиции и модернизации индустриального общества различаются две конъюнктуры в отношениях науки, практики и общественного мнения:

простое и

рефлексивное онаучивание. Сначала происходит приложение науки к «данному» миру природы, человека и общества, на рефлексивной стадии науки сталкиваются уже с собственными продуктами, изъянами, последующими проблемами, т. е. со

вторым цивилизаторским творением. Логика развития первой фазы основана на

располовиненном онаучивании, где притязания научной рационализации на познание и просвещение еще не затронуты методическим самоприложением научного сомнения. Вторая фаза основана на

сплошном онаучивании, которое распространяет научное сомнение на имманентные основы и внешние последствия самой науки. Так

разволшебствуются и притязание на истину, и притязание на просвещение. Переход от одной конъюнктуры к другой осуществляется, с одной стороны, в

непрерывности онаучивания; но как раз в силу этого, с другой стороны, возникают

полностью измененные внутренние и внешние отношения научного труда.

Первичное онаучивание черпает свою динамику в противопоставлении традиции и модернизации, дилетантов и экспертов. Лишь в условиях такого разграничения можно генерализировать сомнение во внутренних взаимоотношениях наук и одновременно

авторитарно ускорить применение научных результатов вовне. Данная ситуация непререкаемой веры в науку и прогресс типична для индустриально-общественной модернизации до середины XX века (с убывающей стабильностью). На этом этапе наука противопоставляет себя практике и общественному мнению, сопротивление которых она, опираясь на очевидность успехов, может отменить посулами освобождения от непонятых принуждений. По мере того как

рефлексивная конъюнктура набирает значения (а признаки этого вместе с развитием социологии знания, критики идеологии, научно-теоретического фаллибилизма, экспертной критики и т. д. прослеживаются вспять вплоть до начала XX века), ситуация коренным образом меняется.

Теперь при переходе в практику науки сталкиваются с собственным объективированным прошлым и настоящим: с самими собой как продуктом и продуцентом реальности и проблем, которые им надлежит проанализировать и преодолеть. Они предстают уже не только как источник решения проблем, но одновременно и как

источник причин проблем. На практике и в общественном мнении науки противопоставлены не только балансу своих побед, но и балансу поражений, а тем самым — и во все большем масштабе — отражению своих невыполненных обещаний. Причины тому многообразны: именно вместе с успехами как будто бы непропорционально растут и риски научно-технического развития; претворенные на практике разрешения проблем и посулы освобождения успели отчетливо раскрыть свои сомнительные стороны, и эти последние опять-таки стали предметом интенсивного научного анализа; и в уже научно разделенном и профессионально управляемом мире — как это ни парадоксально — перспективы и шансы научной экспансии связаны также и с критикой науки.

На этапе, когда наука обращается на науку, а научная

экспансия предусматривает и осуществляет подобную

критику науки и существующей экспертной практики, научная цивилизация подвергает себя сотрясающей ее основы и ее самопонимание, опосредованной общественным мнением самокритике, обнаруживая такую степень нестабильности своих основ и воздействий, какую превосходит разве что высвобождаемый ею потенциал рисков и перспектив развития. Так начинается процесс

демистификации наук, в ходе которого весь комплекс науки, практики и общественного мнения подвергается коренному изменению.

(2) В результате происходит чреватая множеством последствий

демонополизация научных притязаний на познание : наука становится все

более необходимой и одновременно все

менее достаточной для социально обязательного определения истины. Эта утрата функции не случайна. И отнюдь не навязывается наукам извне. Она возникает, скорее, как следствие

реализации и вычленения научных притязаний на значимость, является

продуктом рефлексивности научно-технического развития в условиях риска: с одной стороны, наука, которая внутренне и внешне наталкивается на самое себя, начинает распространять методическую силу своего сомнения на собственные основы и практические последствия. Соответственно спасаясь от фаллибилизма, который со всей научной педантичностью

успешно форсируется, притязание на познание и просвещение систематически слабеет. Место допускаемого поначалу посягательства на реальность и истину занимают решения, правила, договоренности, которые могли бы быть и иными. Разволшебствление перекидывается на разволшебствующего, изменяя тем самым условия разволшебствления.

С другой стороны, по мере вычленения науки необычайно расширяется поток условных, сомнительных, бессвязных частных результатов. К этой

сверхсложности гипотетического знания уже нельзя подходить с одними только методическими правилами проверки. Здесь отказывают и такие вспомогательные критерии, как репутация, характер и место публикации, институциональный базис и т. д. Соответственно нестабильность, систематически порождаемая онаучиванием, захватывает внешние отношения и в свою очередь делает адресатов и пользователей научных результатов в политике, экономике и общественном мнении

активными копродуктами в общественном процессе определения познания. «Объекты» онаучивания становятся также

«субъектами» в том смысле, что они могут и должны активно применять гетерогенные предложения научной интерпретации. Причем не только в форме выбора из противоречивых высокоспециализированных притязаний на значимость; эти последние могут противопоставляться и всякий раз должны заново комбинироваться, составляя дееспособную картину. Для общественных адресатов и пользователей науки рефлексивное онаучивание открывает, стало быть,

новые возможности воздействия и раскрытия в процессах производства

и применения научных результатов. Данному развитию присуща очень высокая степень амбивалентности: в нем содержится шанс эмансипации социальной практики

от науки

посредством науки; с другой стороны, оно

иммунизирует действующие в обществе идеологии и позиции интересов от научных притязаний на просветительство и открывает пути к

феодализации практики научного познания через экономико-политические интересы и «новые силы веры».

(3) Пробным камнем критической самостоятельности научного исследования становятся именно возникающие вместе с реализацией научных притязаний на познание и действующие в обратном направлении

табу неизменяемости : чем дальше вперед продвигается онаучивание и чем отчетливее общество осознает опасные ситуации, тем сильнее становится принуждение к политическому действию и тем больше научно-техническая цивилизация грозит превратиться в научно созданное «общество табу». Все больше отраслей, инстанций, условий, в принципе вполне изменимых, систематически исключаются из сферы таких возможных изменений путем разработки «обстоятельственных (объективных) принуждений», «системных принуждений», «собственных динамик». Науки более не в состоянии удерживать свою исконную позицию

«сокрушителя табу»; они вынуждены отчасти взять на себя еще и противоположную роль

«конструктора табу». Соответственно общественная функция наук колеблется между открытием и закрытием возможностей действия, и эти противоречивые внешние ожидания разжигают внутрiproфессиональные конфликты и раскол.

(4) Генерализированная возможность изменения не щадит и

основы научной рациональности . Сделанное людьми может быть людьми же и изменено. Как раз рефлексивное онаучивание выявляет и ставит под сомнение самотабуирование научной рациональности. Допущение гласит: «обстоятельственные (объективные) принуждения», «латентные последствия», которые отвечают за «собственную динамику» научно-технического развития, в свою очередь

созданы и потому в принципе

упразднимы. Проект модерна, просвещения, не закончен — реанимация разума может сокрушить его фактические закостенелости в исторически господствующем понимании науки и технологии и перевести их в динамическую теорию научной рациональности, которая перерабатывает исторический опыт и, обучаясь, продолжает свое развитие.

Решающее значение в том, вносит ли наука таким образом вклад в самоконтроль своих практических рисков, имеет вовсе не ее возможный выход за пределы собственной сферы влияния и стремление к (политическому) участию в реализации своих результатов. Главное вот что:

какого типа наукой занимаются уже с точки зрения обозримости ее якобы необозримых побочных последствий. И самое важное в этих обстоятельствах, остановимся ли мы на

сверхспециализации, которая продуцирует вторичные последствия и тем самым как бы снова и снова подтверждает их «неизбежность», или же вновь будет найдена и развита сила для

специализации по взаимосвязи; будет ли в обращении с практическими последствиями вновь обретена

способность к обучению или же без учета практических последствий создадутся

необратимости, основанные на

допущении непогрешимости и изначально делающие невозможным обучение на практических ошибках; в какой мере именно в обращении с рисками модернизации можно заменить устранение

симптомов подлинным устранением

причин; в какой мере рассматриваемые переменные и причины научно отображают или выявляют

практические табу рисков, «с точки зрения цивилизации возникших по собственной вине»; т. е. будут ли риски и опасности методологически объективно интерпретироваться и научно раскрываться или же, наоборот, умаляться и замазываться.

1. Простое и рефлексивное онаучивание

С этим различием связана определенная оценка: начальная фаза

первичного онаучивания, когда дилетанты подобно индейцам изгонялись из своих «охотничьих угодий» и оттеснялись в четко маркированные «резервации», давно закончилась, а вместе с нею ушли в прошлое миф о превосходстве и перепад власти, который характеризовал соотношение науки, практики и общественного мнения на этом этапе. Если логика их развития (а она всегда была центральной темой классической социологии) ныне вообще просматривается, то лишь на периферии модернизации[16]. Почти повсюду ее место заняли конфликты и отношения

рефлексивного онаучивания: научная цивилизация вступила в такую фазу развития, когда она онаучивает уже не только природу, человека и общество, но все более — самое себя,

свои продукты, воздействия, ошибки. Стало быть, речь теперь идет не об «освобождении от изначально данных зависимостей», а о дефиниции и распределении ошибок и рисков, возникших по собственной вине.

Однако для «вторичных проблем» модернизации, которые выдвигаются таким образом на передний план научно-технического развития, типичны иные условия и процессы, иные средства и актеры, нежели для процессов обработки ошибок на этапе простого онаучивания: на первых порах ученые, представляющие различные дисциплины, могут опираться на — иногда реальное, а зачастую лишь мнимое — превосходство научной рациональности и методов мышления над традиционным знанием, преданиями и любительскими практиками. Это превосходство, безусловно, вряд ли можно отнести за счет того, что научный труд лишь незначительно обременен ошибками, скорее, оно связано со способом,

каким на этом этапе социально организовано обращение с ошибками и рисками.

Прежде всего научное проникновение в еще не затронутый наукой мир позволяет четко разграничить решения проблем и причины проблем, причем эта граница однозначно проходит между науками, с одной стороны, и их (актуальными и потенциальными) «объектами», с другой. Приложение науки осуществляется, таким образом, с установкой на отчетливую

объективацию возможных источников проблем и ошибок: в болезнях, кризисах, катастрофах, от которых страдают люди, «виновата» дикая, непонятая природа, «виноваты» нерушимые принуждения традиции.

Такая проекция источников проблем и ошибок на еще не изученную «ничейную землю» наук, очевидно, связана с тем, что науки пока недостаточно пересекаются в сферах своего приложения. Далее, она связана и с тем, что собственные источники теоретических и практических ошибок наук определенным образом дефинируются и организуются: с полным основанием можно исходить из того, что история наук изначально была не столько историей приобретения знаний, сколько историей заблуждений и практических промахов. Так, научные «знания», «объяснения» и «предложения по практическому решению» крайне противоречивы во времени, в различных местах, в рамках различных научных школ, культур и проч. Это не подрывает достоверности научных притязаний на рациональность до тех пор, пока наукам удается в значительной мере разбираться с ошибками, заблуждениями и критикой своих практических последствий

в собственном кругу, а тем самым, с одной стороны, сохраняя относительно вненаучного общественного мнения монопольное притязание на рациональность, с другой же стороны, обеспечивая возможность внутривидовых критических дискуссий. При такой социальной структуре возможно даже обратное — отнесение возникающих проблем, технических изъянов и рисков онаучивания за счет давних недостатков в

уровне развития системы научного обеспечения, которые затем можно преобразовать

в новые технические сдвиги и проекты развития и тем самым в конечном счете укрепить научную монополию рациональности. На первом этапе такое

преобразование ошибок и рисков в шансы экспансии и перспективы развития науки и техники существенно

иммунизировало научное развитие от критики модернизации и цивилизации и, так сказать, сделало его

«ультрастабильным» . Однако фактически эта стабильность основана на «располовинивании» методического сомнения: во внутреннем пространстве наук (по меньшей мере согласно притязанию) правила

критики генерализируются, но одновременно вовне научные результаты

авторитарно осуществляются.

Фактически эти условия опять-таки явно усиливаются в той мере, в какой наука — междисциплинарно опосредствованно — ориентирована на науку. Однако теперь именно стратегия «проекции» источников ошибок и причин проблем должна, напротив, привлечь внимание к

науке и технике как возможным причинам проблем и ошибок . Риски модернизации, перемещаясь на этом этапе в центр, ломают модель внутридисциплинарного преобразования ошибок в шансы развития и заставляют пошатнуться уже достаточно устоявшуюся к концу XIX века модель простого развития с ее отлаженными властными отношениями между профессиями, экономикой, политикой и общественным мнением.

Научная обработка рисков модернизации предполагает, что научно-техническое развитие — междисциплинарно опосредствованно — становится проблемой для самого себя; онаучивание онаучивается здесь

как проблема . Тем самым прежде всего неизбежно проявляются все сложности и противоречия, которые имеют место во взаимоотношениях между отдельными науками и профессиями. Ибо наука здесь сталкивается с наукой, а значит, со всем скепсисом и пренебрежением, какие одна наука способна выказать по отношению к другой. На место нередко столь же агрессивного, сколь и бессильного сопротивления дилетантов приходят возможности сопротивления наук наукам же: контркритика, методологическая критика, а также цеховое «блокирующее поведение» на всех полях боев за профессиональное распределение. Последствия и риски модернизации в этом смысле можно выявить только «транзитом» через

критику (и контркритику) систем научных услуг с позиций различных наук. Шансы рефлексивного онаучивания представляются поэтому прямо пропорциональными рискам и балансам недостатков модернизации и обратно пропорциональными нерушимой вере в прогресс со стороны научно-технической цивилизации. Ворота, через которые можно подойти к рискам, научно раскрыть их и обработать, — это критика науки, критика прогресса, критика экспертов, критика техники. Таким способом риски взламывают традиционные, внутрипрофессиональные, внутридисциплинарные возможности обработки ошибок и вынуждают к созданию

новых структур разделения труда в отношениях науки, практики и общественного мнения.

Раскрытие рисков прежней модернизации, таким образом, неизбежно ворошит осиное гнездо конкурентных взаимоотношений между научными профессиями и возбуждает все и всяческие сопротивления «экспансионистским посягательствам» на собственный «проблемный пирог» и на тщательно отлаженный «механизм выкачивания финансовых средств на исследования», который всякая научная профессия, не жалея сил (в том числе научных), выстроила на протяжении нескольких поколений. Общественное признание рисков и их обработка разбиваются о возникающие при этом конкурентные проблемы и непримиримые методологические споры между школами и направлениями до тех пор, пока не возрастает

общественная восприимчивость к определенным проблематичным аспектам модернизации, оборачиваясь критикой, а возможно, и накапливаясь в социальных движениях, артикулируясь в них и в конце концов выливаясь в протесты против науки и техники. Итак, риски

модернизации могут быть «навязаны», «продиктованы» наукам только

извне, через их общественное признание. Они базируются

не на

внутринаучных, а на

общесоциальных дефинициях и взаимосвязях и внутринаучно воздействуют также только через движущую силу на заднем плане — актуальность для общества в целом.

В свою очередь это предполагает прежде неизвестную силу критики науки и культуры, которая, как минимум отчасти, основана на

рецепции контрэкспертиз. Дело в том, что в рефлексивных условиях возрастает вероятность, что существующее в различных сферах социальной активности научное знание о вторичных проблемах активизируется, подхватывается вовне или выносится вовне и приводит к

формам онаучивания протеста против науки. Этим онаучиванием нынешняя критика прогресса и цивилизации отличается от критики минувших двухсот лет: темы критики генерализируются, критика, по крайней мере отчасти, получает научную основу и со всей дефинирующей силой науки выступает против науки же. Таким образом дается стимул движению, в ходе которого науки испытывают все более энергичное принуждение к тому, чтобы публично обнажить свои внутренне давно известные беспомощности, косность и «природные недостатки». Возникают формы «контрнауки» и «адвокатской науки», которые соотносят весь «научный фокус-покус» с иными принципами, иными интересами — и приходят к совершенно противоположным результатам. Короче говоря,

в ходе онаучивания протеста против науки сама наука «проходит сквозь строй». Возникают новые, ориентированные на общественное мнение формы экспертного научного действия, основы научной аргументации с контрнаучной обстоятельностью раскрываются во всей своей сомнительности, и многочисленные науки подвергаются в своих соотнесенных с практикой пограничных областях «тесту политизации» доселе невиданного масштаба.

В ходе этого развития наука переживает не только быстрое снижение своей общественной достоверности, но и открывает для себя

новые поля воздействия и применения. Так в последние годы именно естественные и технические науки подхватили многое из публичной критики по своему адресу и умело преобразовали это в шансы экспансии — в сфере понятийного, инструментального и технического вычленения «еще» или «уже не» допустимых рисков, опасностей для здоровья, рабочих нагрузок и т. д. Здесь явственно заметно самопротиворечие, в которое как будто бы попадает научное развитие на этапе рефлексивного онаучивания, —

общественно опосредствованная критика прежнего развития становится двигателем экспансии.

Это такая логика развития, где риски модернизации социально конституируются в напряженном взаимодействии науки, практики и общественного мнения и снова возвращаются в науки, вызывая там новые «кризисы идентичности», новые формы организации и труда, новые теоретические основы, новые методические разработки и т. п. Обработка ошибок и рисков подключена, таким образом, к круговороту общесоциальных полемик и происходит, в частности, в конфронтации и соединении с общественными движениями критики науки и модернизации. Однако обольщаться не стоит: сквозь все противоречия здесь прокладывали путь научной

экспансии (либо продолжали в несколько измененной форме старый путь). В условиях рефлексивного онаучивания публичное выторговывание рисков модернизации

есть путь превращения ошибок в шансы экспансии.

Особенно наглядно это взаимоперехлестывание критики цивилизации, междисциплинарных антагонизмов интерпретации и публично-действенных движений протеста можно показать на примере развития

экологического движения. охрана природы существовала с самого начала индустриализации, причем точечная критика, которую вели природоохранные организации (не связанная, впрочем, ни с крупными расходами, ни с принципиальной критикой индустриализации), так и не смогла отделаться от ярлыка реакционности и отсталости. Ситуация изменилась, только когда социальная очевидность ущерба, наносимого природе процессами индустриализации, возросла и одновременно, совершенно независимо от давних идей охраны природы, были предложены и подхвачены научные системы интерпретации, которые объясняли, подтверждали, отделяли от конкретных частных случаев и поводов, генерализировали растущее общественное недовольство явно разрушительными последствиями индустриализации и включались в общий протест против индустриализации и технизации. В США это происходило главным образом через посредство ангажированных

биологических исследований, которые сосредоточивались на разрушительных последствиях индустриализации для естественных экологических сообществ и поистине забили тревогу, т. е. на понятном общественности языке с применением научных аргументов высветили уже начавшиеся и еще предстоящие последствия индустриализации для природной жизни на Земле и обрисовали их как образы грядущей гибели ². Как только эти и другие аргументы были подхвачены общественными движениями протеста, началось то, что выше было названо онаучиванием протеста против определенных форм онаучивания. Цели и темы экологического движения мало-помалу отделились от конкретных поводов и легковыполнимых частных требований (заккрытие доступа в некую лесную зону, охрана определенного вида животных и проч.) и настроились на протест против условий и предпосылок «такой» индустриализации вообще. Поводами к протесту являются теперь уже не исключительно частные случаи, угрозы явные и соотнесенные с осознанным вмешательством (нефтяное загрязнение, заражение рек промышленными стоками и т. д.). В центр внимания все больше попадают угрозы, которых дилетант не видит и не чувствует, угрозы, которые могут проявиться даже не при жизни нынешнего поколения, а лишь во втором поколении его потомков, т. е. угрозы,

которые требуют научных «органов восприятия» — теорий, экспериментов, измерительных приборов, — чтобы вообще стать «зримыми», интерпретируемыми как угрозы. В онаученном экологическом движении, как ни парадоксально это звучит, поводы и темы протеста значительно обособились от носителей протеста, возмущенных дилетантов, в экстремальных случаях даже отделились от их возможностей восприятия и уже не только научно опосредствуются, но в строгом смысле

научно конституируются. Это не умаляет значения «дилетантского протеста», но показывает его зависимость от «контрнаучных» опосредствований: диагностика грозящих опасностей и устранение их причин зачастую возможны лишь с помощью совокупного арсенала научных инструментов измерения, экспериментирования и аргументации. Она требует высокого уровня специальных знаний, готовности и способности к неконвенциональному анализу, а также, как правило, дорогостоящей технической аппаратуры и измерительных приборов.

Этот пример — один из многих. Можно сказать, наука трояко участвует в возникновении и углублении цивилизационных опасностей и соответствующего кризисного сознания: промышленное использование научных результатов создает не только проблемы, наука

обеспечивает и средства — категории и инструменты познания, — для того чтобы вообще распознать в проблемах

проблемы и представить (или выставить) их как таковые, и наоборот. В конечном итоге наука создает и предпосылки для «преодоления» угроз, возникших по ее же вине. Если еще раз вернуться к примеру экологических проблем, то в профессионализированных частях экологического движения ныне уже мало что осталось от некогда провозглашенного воздержания от воздействий на природу.

«Напротив, соответствующие требования подкрепляются новейшими и лучшими достижениями физики, химии, биологии, системного анализа и компьютерного моделирования. Концепции, которыми оперирует исследование экосистем, чрезвычайно современны и направлены на то, чтобы охватить природу не только по частям (с риском вызвать последствия вторичного и даже n -ного порядка по причине систематически порождаемого таким образом невежества), а в целом... Мюсли и джутовая сумка на самом деле

предвестники нового модерна, чьей характеристикой будут много более совершенные и действенные, а главное, еще и более полные онаучивание и технизация природы».

Обобщая, можно сказать, пожалуй, так: именно осознание зависимости от объекта протеста в свою очередь придает «противонаучной» позиции львиную долю ее язвительности и иррациональности.

2. Демонополизация познания

Не несостоятельность, а

успешность наук

свергла науки с

их трона. Можно даже сказать: чем успешнее действовали науки в этом столетии, тем быстрее и основательнее релятивизировались их изначальные притязания на значимость. В этом смысле научное развитие второй половины нашего столетия переживает

в своей непрерывности коренное изменение, причем не только во внешнем отношении (как показано выше), но и во внутреннем (как будет показано сейчас), т. е. в своем научно-теоретическом и социальном самопонимании, в методологических основах и прикладной соотнесенности.

Модель простого онаучивания опирается на «наивное представление», что методический скептицизм наук, с одной стороны, может быть институционализирован, с другой же — ограничен

объектами науки. Основы научного познания здесь точно так же исключены, как и вопросы практического внедрения научных результатов. Вовне

догматизируется то, что внутри подвергается мучительным вопросам и сомнениям. Под этим фасадом прячется не только разница между «освобожденной от действия» исследовательской практикой и активными принуждениями практики и политики, где сомнения должны быть системно обусловленно сокращены и сняты посредством ясных форм решений. Такое

располовинивание научной рациональности по границам между вовне и внутри особенно

отвечает рыночным и профессионализирующим интересам научных экспертных групп. Потребители научных услуг и знаний платят не за признанные или вскрытые заблуждения, не за фальсифицированные гипотезы, не за возрастание хитроумных сомнений в себе, а за «знания». Лишь тот, кому удастся отстоять на рынке притязания на познание перед лицом конкурирующих профессиональных и дилетантских групп, может вообще разрабатывать материальные и институциональные предпосылки, чтобы внутренне предаваться «роскоши сомнения» (именуемой теоретическим изучением основ). То, что в аспекте рациональности надлежит генерализировать, в аспекте самоутверждения на рынке должно обратиться в свою противоположность. В процессе «успешного» онаучивания искусство сомнения и искусство

догматизирования дополняют друг друга

и противоречат друг другу. Если успех внутренний основан на

ниспровержении «полубогов в белом», то внешний успех, как раз наоборот, основан на целевом

возвышении, восхвалении, ожесточенной защите «притязаний на непогрешимость» от всех «подозрений иррациональной критики». Результаты, которые по условиям своего возникновения всегда могут быть лишь «заблуждениями до отзыва», должны в то же время стилизоваться под «знания» вечного характера, практическое пренебрежение которыми есть предел невежества.

В этом смысле в модели простого онаучивания

модерн и контрмодерн всегда были противоречиво сплавлены. Неделимые принципы критики разделяются; радиус их действия располовинивается. Абсолютность притязаний на познание, которые проявляются вовне, своеобразно контрастирует с генерализацией подозрения в ошибке, которое внутри возводится в ранг нормы. Все, что соприкасается с наукой, моделируется как

изменяемое — но только не сама научная рациональность. Эти разграничения не-разграничимого не случайность, а

функциональная необходимость. Именно они сообщают наукам их когнитивное и социальное

превосходство над преобладающими традициями и дилетантскими практиками. Только так можно (противоречиво) увязать между собой критицистические притязания на познание и усилия профессионализации.

Эта оценка приводит к двум выводам: во-первых, процесс онаучивания в XIX веке и вплоть до сегодняшнего дня следует понимать

также и как

догматизацию, как тренировку науки в «догматах веры», которые без спросу притязают на значимость. Во-вторых, «догматы» первичного онаучивания

лабильны совершенно иначе, нежели догматы (религии и традиции), вопреки которым науки развивались:

они несут в самих себе масштабы своей критики и упразднения. В этом смысле научное развитие в непрерывности своих успехов подтачивает собственные же демаркации и основы.

В ходе

осуществления и обобщения научных норм аргументации таким образом возникает совершенно измененная ситуация: наука становится

непреложной и одновременно

лишается своих изначальных притязаний на значимость. В той же мере раздуваются «проблемы практики». Методичная автодестабилизация науки внутри и вовне обуславливает

упадок ее власти. Следствие этого — чреватые конфликтами

тенденции уравнивания в перепаде рациональности между экспертами и дилетантами (индикатором чего для многих, к примеру, служит рост числа судебных исков по поводу «врачебных ошибок»). Более того, привычные понятия, отражающие перепад власти,

отказывают: модерн и традиция, эксперты и дилетанты, производство и применение результатов. Это

размывание границ скептицизма в условиях рефлексивного онаучивания можно проследить по линии:

а)

научно-теоретической и

б)

исследовательско-практической.

Научно-теоретический фаллибилизм

Этот переход между простым и рефлексивным онаучиванием; в свою очередь осуществляется

научно-институционально. Актеры этого коренного изменения — дисциплины критического самоприложения науки к науке: теория науки и история науки, социология знания и социология науки, психология и эмпирическая этнология науки и т. д., которые с переменным успехом подгрызают фундаменты автодогматизации научной рациональности с самого начала нашего столетия.

С одной стороны, ими занимаются профессионально и институционально, причем согласно требованиям

еще действующей модели простого онаучивания; с другой стороны, они отменяют условия применения этой модели и в этом смысле уже суть предвестники самокритичного варианта онаучивания. В этом смысле «антинаука» отнюдь не изобретение 60-х или 70-х годов. Скорее, она с самого начала входит в состав институционализированной программы науки. Одной из первых «контрэкспертиз» с долговременным воздействием вплоть до нынешнего времени была — с данной точки зрения — Марксова критика «буржуазной науки». В ней уже содержались все противоречивые и напряженные отношения между научным верованием в собственное дело и генерализированной критикой идеологии тогдашней науки, которые затем «озвучиваются» во все новых и новых вариантах — скажем, в социологии знания К.

Маннгейма, в фальсификационизме К. Р. Поппера или в научно-исторической критике научно-теоретического нормативизма Т. С. Куна. Происходящее здесь систематическое «опорочивание своих» есть последовательное самоприложение поначалу располовиненно институционализированного фаллибилизма. Причем этот процесс самокритики идет не прямолинейно, а в последовательном развенчании новых и новых попыток спасения «коренной рациональности» дела научного познания. Этот, впрочем, в конечном счете кощунственный процесс (догадок и опровержений) можно проследить на множестве примеров. Но нигде он не осуществляется в такой классической форме, так «образцово», как в ходе научно-теоретической дискуссии нынешнего столетия.

По сути, еще Поппер использовал против обосновывающего мышления «кинжал», жертвой которого затем падают все его «попытки доказать» принцип фальсификации, сконструированный им для защиты от шарлатанства. Все «остатки обоснований» в принципе фальсификации мало-помалу вскрываются и при последовательном самоприложении опровергаются, пока не уничтожаются опоры, на которых должен базироваться принцип фальсификации. Знаменитое выражение П. Файерабенда (P. Feysrabend) «anything goes» («все годится») только обобщает это состояние, осмысленное с большой научно-теоретической компетентностью и дотошностью[17].

Как вообще понять существование в поисках фальсификаторов? Допустим, эксперимент не оправдывает теоретических ожиданий. И что тогда — теория раз и навсегда

опровергается или выявляются только

неувязки между ожиданиями и результатами, которые указывают на разные возможности решения и в этом смысле могут быть очень по-разному обработаны и подхвачены (скажем, предполагая в эксперименте ошибки или, наоборот, расширяя и развивая теорию и проч? Эссе Томаса С. Куна 1970 года, ставшее знаком научно-теоретического поворота, отнимает у научно-философской рефлексии эмпирический базис. Таким образом в ретроспективе статус научной теории как теории

без эмпирики становится проблематичным: есть ли теория науки только нормативное учение с логистическими оговорками, высшая цензурная инстанция для «хорошей» науки, а значит, как бы научный эквивалент средневековой церковной

инквизиции? Или она выполняет собственные требования к эмпирически проверяемой теории? Но в таком случае ввиду фактически противоположных принципов производства и фабрикации знания ее притязания на значимость необходимо резко сократить.

Этнологически ориентированное научное исследование в конце концов «открывает» даже в допустимом месте рождения естественнонаучной рациональности — в лаборатории, — что преобладающие там риски сходны, скорее, с современными вариантами танцев, призывающих дождь, или с ритуалами плодородия, которые ориентированы на принципы карьеры и социальной акцептации (К. Кпогг-Сейпа, 1984).

Фаллибилизм исследовательской практики

Теперь в

практике науки могут сказать и действительно говорят:

so what — ну и что! Какое нам дело до саморазрыва научной теории, которая всегда была не

более чем «философским фиговым листком» исследовательской практики, причем та и другая нимало друг другом не интересовались. Но защита принципа фальсификации и последующее заявление о его и так уже известной бесполезности не проходят безнаказанно. Ничего не случилось. Совершенно ничего. Только научная практика «на ходу»

потеряла истину— как мальчишка школьник теряет деньги на молоко. За последние три десятка лет она превратилась из деятельности

ради истины в деятельность

без истины, при том что более чем когда-либо с необходимостью социально жиреет на ниве истины. Дело в том, что научная практика целиком следовала за научной теорией на ее пути в догадку, самосомнение,

условность. Внутренне наука сосредоточилась на решении. Внешне пышно разрастаются риски. Ни внутренне, ни внешне ее более не осеняет благословение разума. Она стала непреложной

и неспособной к истине.

Это не случайность и не несчастный случай. Истина шла обычным путем модерна. Научная религия, уверенная, что лишь она владеет истиной и вправе провозглашать ее,

секуляризировалась в ходе своего онаучивания. Притязание науки на истину не выстояло перед дотошным научно-теоретическим и эмпирическим самодопросом. С одной стороны, притязание науки на объяснение сосредоточилось в области

гипотезы, предположения впредь до отмены. С

другой стороны, реальность растворилась в

произведенных данных. Тем самым «факты» — давние дары реальности — суть всего-навсего ответы на вопросы, которые можно было бы поставить и иначе. Продукты правил сбора и опущения. Другой компьютер, другой специалист, другой институт — другая «реальность». Чудо, если бы это было не так, чудо, а не наука. Лишнее доказательство иррациональности (естественно)научной исследовательской практики — это чуть ли не безнравственность. Задать ученому вопрос об истине означает ныне совершить почти такую же бестактность, как спросить священника о Боге. Произнести в научных кругах слово «истина» (равно как и слово «реальность») все равно что расписаться в невежестве, посредственности, непродуманном пользовании многозначной, эмоциональной лексикой повседневного языка.

Конечно, эта потеря имеет и приятные стороны. Истина была неземным усилием, возвышением до богоподобного. Иными словами, весьма сродни догме. Однажды овладев ею, высказав ее, было крайне трудно ее изменить, а ведь она менялась постоянно. Наука становится человеческой, изобилует заблуждениями и ошибками. Ею можно заниматься и без истины, причем, пожалуй, даже честнее, лучше, многостороннее, наглее, отважнее. Противоположное дразнит и всегда имеет шансы. Сцена становится пестрой. Когда вместе собираются три науки, происходит стычка полтора десятков мнений.

Инверсия внутреннего и внешнего

Но главная проблема остается: в условиях рефлексивного онаучивания с необходимостью

прогрессирует

упразднение притязаний на реальность и познание. В этом отходе в сферу решения, в произвольность, научная теория и научная практика соединяются. Параллельно растут копродуцированные и кодефинируемые наукой

риски. Теперь можно делать ставку на то, что конвенционализация приводит также к возрастанию произвольности взаимонейтрализующих предположений о риске и тем самым топит всю проблему в тумане конфликтов мнений. Но дефиниции риска возникают относительно наук вовне и нередко задаются им (наукам) так же, как и умаление и отрицание рисков. Тем самым науки в условиях риска совершенно по-новому отдают себя во власть общественных влияний.

Занимаясь рисками научно-технического развития, исследование вплетается в общественные интересы и конфликты (см. выше). В той же мере центральное и одновременно

гипотезообразующее значение приобретает

контекст применения научных результатов, которым философия науки до сих пор преступно пренебрегала. Но таким образом конститутивная для исследовательской практики граница между значимостью и происхождением преступается или упраздняется. Исследование уже в самой своей основе включено в общую рефлексивность, что

может обеспечить таким категориям, как социальная и экологическая совместимость, ключевое, путеводное значение, но в любом случае

отдает решение о гипотезах во власть имплицитных критериев общественной акцептации. «Предписанная философией науки обособленность науки как автономной сферы, изоляция от вопросов истины в попперовском третьем мире становится тем самым если не принципиально невозможной, то все же фактически иррелевантной. То же самое происходит с контрольной и защитной функцией философии науки по отношению к общественным и политическим стремлениям управлять наукой. Ведь ввиду такого развития значимость — уже не только вопрос истины, но и вопрос общественной акцептации, этической совместимости» Теоретический фиговый листок обеспечивает этому развитию

лжеучение об образовании гипотез. Роковая суть этого «учения», возводящего теоретическую кажимость в ранг программы, выявлена давно. Хайнц Хартман еще в 1970 году писал: «Разработка теорий принадлежит к числу тех немногих процессов, которые и ныне осуществляются произвольно. Способов такой «ловли гипотез» предлагается великое множество. Интуицию и мужество восхваляют так же, как и формальное выведение из аксиом. Абстрактно мыслящие ученые признаются, что в конечном счете исходили все-таки из здравого смысла или из единичного исторического прецедента, другие рекомендуют переключаться с рассмотрения на существующую теорию. Третьи справляются с этой проблемой, непринужденно объявляя, что все гипотезы одинаково хороши; а четвертые напоминают нам, что даже такой гений, как Галилей, отдал разработке одной гипотезы тридцать четыре года жизни. Тот, кто осознает, что всякое исследование в принципе исходит из гипотез, и одновременно видит всю хаотичность практики образования гипотез, обычно в некотором недоумении спрашивает себя, как же эмпирическая наука могла так долго мириться с этим противоречием».

Эта практика в образовании гипотез находит свою противоположность в принуждениях общественного «менеджмента риска». Там, где реальность как корректив отступает в сферу решений и условностей, общественное применение начинает (со)определять, что считается «познанием», а что нет. Место контроля и характер критериев сдвигаются — изнутри наружу, от методологии к политике, от теории к общественной акцептации. Плата за это развитие высока. Сегодня мы можем различить разве что самые ее начала. Путь прагматизма

исследовательской практики

по ту сторону истины и просвещения, уверенной в своей востребованности, пока что вводит в заблуждение касательно последствий, которые метят в самую сердцевину.

Границы, долженствующие служить защитой и фиксировать компетентность, более не существуют : значимость и происхождение, контекст возникновения и применения, ценностный и предметный аспект исследований, науки и политики проникают друг в друга, образуют новые, трудно делимые зоны пересечения. Таким образом вновь встает вопрос о возможностях и пределах научного познания, но встает уже иначе, нежели в рамочных условиях первичного онаучивания. Например, речь идет не о

принципиальной демаркации границы между предметным и ценностным аспектами и не о ведении научно-теоретических дебатов об этом. Проблемы

такой демаркации в ходе овеществления исследований, пожалуй, утратились. Вместо этого внутри соблюдаемых правил овеществления и

внутри «жестких» методов научного установления фактов выпячивается нормативность (ср.: и. Беек, 1974). Во взаимодействии конвенционализации и внешней эксплуатации науки

имманентно размываются основы аналитике — методического исследования. Происходит инверсия внутреннего и внешнего:

самое внутреннее — решение об истине и познании — уходит вовне; а внешнее — «непредсказуемые» побочные последствия — становится постоянной внутренней проблемой самой научной работы . То и другое — тезис

экстернализации познания и тезис

интернетизации практических последствий — будет рассмотрено ниже.

Феодализация практики познания

Ныне у нас на глазах начинает разваливаться общественная

монополия науки

на истину . Обращение к научным результатам с целью общественно обязательного определения истины становится

все более необходимым , но одновременно и

все менее достаточным . В этом распадении необходимого и достаточного условия и возникающей таким образом серой зоны отражается утрата наукой ее функции в самой исконной ее сфере — заместительном определении познания. Адресаты и пользователи научных результатов — в политике и экономике, СМИ и повседневной жизни — хотя и становятся зависимее от научных аргументов

вообще , одновременно все менее зависят от

отдельных данных и от суждения науки об истинности или ложности ее высказываний. Перенос притязаний на познание во внешние инстанции

основан — парадокс здесь мнимый — на

вычленении наук. С одной стороны, это связано с избыточной сложностью и многообразием данных, которые если и не противоречат друг другу открыто, то и не дополняют друг друга, утверждая большей частью различное, часто несопоставимое, а тем самым прямо-таки

принуждают практика вынести собственное решение о познании. Вдобавок им свойственна самоутвержденная полупроизвольность, которая в конкретике (как правило) отрицается, но в диссонансе множества данных и в методическом отходе к решению и условности все же выступает на передний план. Все эти «да, но», «с одной стороны и с другой стороны», в которых с необходимостью двигается наука гипотез, открывают, в свою очередь, возможности выбора в сфере дефиниции познания. Поток данных, их противоречивость и сверхспециализация превращают рецепцию в партиципацию, в независимый процесс образования знания

вместе с наукой и против нее. Могут сказать: так было всегда. Автономия политики или экономики относительно науки столь же стара, сколь и сами эти отношения. Правда, при этом опускают две упомянутые здесь особенности: данный вид автономии

создан наукой. Она возникает в

изобилии науки, которое одновременно отодвинуло собственные притязания в область гипотетического и являет взору образ саморелятивирующегося плюрализма интерпретаций.

Последствия оказывают глубокое обратное воздействие на условия производства знания: науке, утратившей истину, грозит опасность, что другие предпишут ей, что

следует считать истиной. И это касается не только прямого воздействия на цветущую пышным цветом «придворную науку». Таковую возможность предоставляют приблизительность, нерешенность и доступность результатов для решения. Критерии отбора, не поддающиеся строгой научной проверке, при избыточной сложности, которую так или иначе нужно преодолеть, обретают новое, едва ли не важнейшее значение: единодушие в принципиальных политических взглядах, интересы заказчика, предупреждение политических импликаций — словом,

социальная акцептация. На пути к методологической конвенционализации науке — ввиду сверхсложности, ею же порождаемой, — грозит

имплицитная феодализация ее «познавательной практики». Соответственно возникает

новый партикуляризм во внешних отношениях — большие и малые группы ученых, обособляющиеся друг от друга и толпящиеся вокруг имплицитных приматов применения. Главное, так происходит не задним числом, не в контакте с практикой, а в исследовательских лабораториях, в кабинетах, в святая святых продуцирования самих научных результатов. Чем серьезнее становятся риски научно-технического развития и чем энергичнее они определяют общественное сознание, тем больше усиливается активный нажим на политические и экономические инстанции и тем важнее для социальных актеров убедиться в посягательстве на «дефинирующую власть науки», будь то с целью умаления опасности, отвлечения, переопределения, будь то ради драматизации или методокритического блокирования «внешних превышений дефиниции».

Но у этого процесса есть и другие стороны. При его посредстве можно осуществить толику просвещения. Люди высвобождаются из заданного, «отнимающего дееспособность» знания экспертов. Растет число тех, кто умело пользуется «научным критиканством». Изменение функции, совершающееся при этом обобщении фигур научной аргументации, — как показывают Вольфганг Боне и Хайнц Хартман — вызывает раздражение ученых. «Научные

аргументации, со времен Просвещения признанные единственно компетентной легитимирующей инстанцией, в ходе своей генерализации как бы утрачивают ниб рационально непререкаемого авторитета и становятся социально свободными. В социологической перспективе сам этот тренд представляет собой

результат процессов онаучивания. Тот факт, что научные высказывания более не неприкосновенны, а могут быть оспорены на уровне повседневности, означает вот что: систематическое сомнение как структурно несущий принцип научного дискурса более не является привилегией этого последнего. Разница между «непросвещенной чернью» и «просвещенным гражданином», или, выражаясь более современно, между дилетантами и экспертами, исчезает и превращается в конкуренцию различных экспертов. Практически во всех общественных подсистемах место интернализации норм и ценностей занимает рефлексия в свете конкурирующих составных частей систематического знания».

Чтобы существовать в этой внутри- и межпрофессиональной конкуренции экспертов, уже недостаточно предъявить «чистые» тесты значимости. Порой необходимо прийти самому и произвести убедительное впечатление.

Производство (или мобилизация) веры в условиях рефлексивного онаучивания становится главным источником социального осуществления притязаний на значимость[18].

Там, где раньше наука убеждала посредством науки, ныне, ввиду противоречивой разноголосицы научных языков, все более важную роль играет

вера в науку или

вера в антинауку (или соответственно в

данный метод,

данный подход,

данное направление). Быть может, лишь «особенное» в презентации, личная убедительность, контакты, доступ к СМИ и т. д., придает «единичным данным» высшие социальные атрибуты «познания». Там, где вера выносит решение о научных аргументах или участвует в таком решении, она может вскоре снова прийти к власти. Правда, по внешней форме уже не

как вера, а

как наука. Соответственно в возникающей промежуточной зоне, где наука становится: все более необходимой, но и все менее достаточной для производства познания, могут вновь угнездиться самые разные власти веры. Тем самым становится возможно многое: фатализм, астрология, оккультизм, прославление «я» и отречение от «я», в соединении и смешении с частичными научными данными, радикальной научной критикой и научной доверчивостью. Эти

новые алхимики на редкость невосприимчивы к критике науки, ибо нашли свою «истину» и приверженцев не донаучно, а в общении с наукой.

Этот научный иммунитет имеет силу не только для таких экстремальных случаев. Идеологии и предрассудки вообще, теперь вооруженные научно, способны вновь обороняться от научной критики. Они обращаются к самой науке, чтобы отвергнуть ее же требования. Нужно лишь

больше читать, в том числе и исследования противоположного характера. Возражения

воспринимаются

до результатов, как бы по предварительному заказу. Несколько (методических) принципиальных возражений на все случаи и про запас заставляют рассыпаться те или иные строптивые научные сведения. Если вплоть до 60-х годов наука еще могла рассчитывать на неспорящее, верящее в науку общественное мнение, то сегодня на ее усилия и успехи смотрят с недоверием. Предполагают недоговоренности, приплюсовывают побочные эффекты и готовятся к худшему.

Реакции. Наука между подозрением в иррациональности и монополизацией

Реакции в науках на эту ускользающую от них монополию истины многообразны и противоречивы. Диапазон их простирается от полного непонимания до затягивания гаек профессионализации и попыток либерализации.

Внутренне наука становится делом без истины, внешне — делом без просвещения. И все же большинство ученых ахает от изумления, когда заявляют о себе серьезные сомнения в «обеспеченности» их притязаний на познание. Тогда они бьют тревогу: под угрозой сами устои современного мира, наступает эпоха иррационализма! При этом диапазон и размах общественной критики науки и техники суть большей частью лишь дилетантское подобие давно известной и хорошо обеспеченной фундаментальной критики, с которой науки издавна сталкиваются в своем внутреннем многообразии.

Широко распространен успокоительный

ошибочный вывод о растущей вынужденности обращения к научным аргументам насчет нерушимого значения или даже растущей определяющей силы наук. Резкая критика науки действительно никоим образом не чинит препятствий ее (науки) развитию. Наоборот, в научно-технической цивилизации распространенный скептицизм касательно научного познания вычленяет предприятие науки из конечности ее притязаний на познание. «Познание», которое снова и снова оборачивается заблуждением, становится

институционализированной естественной потребностью общества, сравнимой с потребностью в пище, питье, сне, т. е. незавершаемым проектом. Науки же в силу такого (зачастую недобровольного) ослабления своих притязаний в ориентированной на конкуренцию, междисциплинарной самокритике не только доказывают свою скромность касательно познания, но одновременно создают

бесконечный рынок своих услуг.

Хотя все считают своим долгом ссылаться на науку («индустрии будущего»[19] — новое волшебное слово), это отнюдь не обязательно ведет к линейному росту определяющей власти научных интерпретаций, напротив, (как мы показали), этому может сопутствовать коллективная девальвация научных притязаний на значимость. Иными словами, на первый взгляд взаимоисключающее соединяется: наука утрачивает свой нимб

и становится непреложной. Обрисованные линии развития — утрата истины и просвещения, необходимость науки — суть симптомы

одного и того же развития, а именно наступающей эпохи общества риска, которое зависимо от науки и

критикует науку.

Стремительная потеря стабильности отнюдь не обязательно ведет в науках к раскрытию или новому осознанию; не ведет уже потому, что сопровождается

обострением конкуренции внутри профессий и между ними. Систематическая дестабилизация обуславливает принуждения внешне «обрубать» всякое сомнение и авторитетно продавать «надежные знания». Но тем самым усилия познания и

усилия ремонополизации вступают в более или менее отчетливое противоречие. Посредством технико-методологических или теоретических усовершенствований и различий во многих областях научной работы предпринимаются попытки обосновать новое превосходство знания. «Ядрами профессионализации» становятся при этом определенные методологически высокоразвитые способы или теоретические формы мышления, которые соответственно ведут к внутридисциплинарной разбивке на малые группы и «конфессиональные общины». Они-то и защищают теперь «истинное знание» от разгула «дилетантского знания» полуэкспертов и «коллегиальных шарлатанов». Депрофессионализация компенсируется, таким образом,

сверхпрофессионализацией — с опасностью интеллектуально и институционально до смерти академизировать предмет.

Контрстратегии либерализации, наоборот, грозит опасность отказаться от профессионального тождества, чтобы в итоге, возможно, еще и вопрошать «озадаченных», что наука (за деньги) способна выдвинуть и представить как познание.

Обе формы реакции не замечают вызовов, которые теперь занимают центральное положение, а именно

интернализации «побочных последствий».

3. Практические и теоретические табу

В условиях простого онаучивания поиски объяснений следуют за интересом к овладению природой. Существующие обстоятельства мыслятся изменимыми, поддающимися формированию, а тем самым технически полезными. В условиях рефлексивного онаучивания ситуация резко меняется. Там, где научная работа сосредоточивается на самопорождаемых рисках, доказательство их

неизбежного принятия становится центральной задачей поисков научного объяснения. В

развитом техническом обществе, иными словами, там, где (почти или в принципе) все «осуществимо», интересы в общении с наукой меняются и приобретают принципиальную

двойственность : на передний план вновь выступает интерес к объяснениям, которые гарантируют

неизменность отношений принципиальной осуществимости. Если при простом онаучивании заинтересованность в объяснении совпадает с заинтересованностью в техническом использовании, то при онаучивании рефлексивном все это начинает расщепляться, и центральное место занимают научные толкования, в которых объяснение означает —

на словах упразднить риски . Точно так же по-новому сопрягаются модерн и контрмодерн: зависимое от науки общество риска все больше и больше попадает в

функциональную зависимость и от научных результатов, которые умахают риски, отрицают их или обрисовывают в их неизбежности, именно

потому, что они в принципе формируемы. Но эта функциональная необходимость одновременно

противоречит притязанию подручных теоретических и методических программ на техническое объяснение. Изображение «реальных принуждений», «собственных закономерностей» рискованных развития исподволь попадает в разряд возможностей их отмены или по крайней мере становится таким противоречивым противовесом. Слегка утрируя, можно, сказать: заинтересованность в техническом овладении, возникшую в противоборстве с природой, нельзя просто так взять и стряхнуть, когда рамочные условия и «предметы» научных вопросов и исследований исторически сдвигаются и доминирующей темой становится созданная своими руками «естественная судьба модерна». Конечно, заинтересованность в овладении может трансформироваться в заинтересованность в

создании и приобретении «собственной динамики» научной «естественной судьбы». Однако формы мышления и вопросов, сложившиеся в процессе овладения существующей природой, именно там, где они должны устанавливать «объективные принуждения», муссируют вопрос об их осуществимости и предотвратимости и тем привносят в «фатум», который им надлежит создавать,

утопию самоовладения модерном , во избежание которой они и финансируются. Это противоречивое развитие можно наглядно показать на примере онаучивания побочных последствий.

Незамеченные побочные последствия утрачивают в ходе исследований свою латентность, а значит, и свою легитимацию и становятся причинно-следственными отношениями, которые отличаются от других своим теперь имплицитно заданным политическим содержанием. Они вплетены во внутренние «финализации», которые заданы соотносительностью с риском. С одной стороны, это основано на том, что давние «побочные последствия» социально в большинстве случаев суть явления, считающиеся крайне проблематичными («гибель лесов»). Но с другой стороны, теперь с помощью волшебной палочки изучения причин устанавливаются не только причины, но имплицитно и

виновники . Здесь находит свое выражение социальная конституция побочных последствий модернизации (см. выше). Они суть выражение

созданной — а тем самым изменяемой и

более способной к ответственности — второй реальности. В таких рамочных условиях вопрос о причине всегда совпадает с вопросом об «ответственных» и «виновных». Последние могут прятаться за цифрами, химическими веществами, показателями содержания ядовитых компонентов и т. д., но эти овеянные защитные конструкции тонки и хрупки. Как только полностью установлено, что вино (сок, резиновые медвежата и т. д.) содержит гликоль, идти до виновных погребов уже недалеко. Причинный анализ в зонах риска — хотят исследователи знать это или нет — есть

политико-научный скальпель для оперативного вмешательства в зонах промышленного производства . Впрочем, на операционном столе исследования рисков лежат мелкие кусочки экономических концернов и политических интересов с их упорным нежеланием оперироваться. А это значит: само применение причинного анализа становится рискованным, причем для всех, чьи интересы поставлены здесь на карту, включая и исследователей. В

отличие от последствий первичного онаучивания эти последствия можно если не предусмотреть, то хотя бы

оценить. Предполагаемые риски и последствия становятся, таким образом, ограничительными условиями для самих исследований.

Параллельно с растущим побуждением к действию ввиду ситуаций, обостряющих угрозу цивилизации, развитая научно-техническая цивилизация все больше и больше превращается в «общество

табу»: сферы, отношения, условия, которые в принципе можно

было бы изменить, систематически изолируются от этих возможных изменений — посредством ссылок на «системные принуждения», на «собственную динамику». Кто дерзнет дать умирающему лесу глоток кислорода, прописав немцам «социалистическую смиренную рубашку», то бишь ограничив скорость на магистральных шоссе? Соответственно восприятие проблем и отношение к ним переводятся посредством

системы табу в спокойное русло. Именно

потому, что проблемы представляются созданными в условиях рефлексивного онаучивания, а стало быть, принципиально изменяемыми, радиус «дееспособных переменных» изначально ограничивается, и как ограничение, так и снятие оно отданы на откуп наукам.

В научно-технической цивилизации повсюду кишат

табу неизменности. В этой чаше, где тому, что возникает из обстоятельств действия, не дозволено быть возникшим из них, ученый, который стремится дать «нейтральный» анализ проблемы, попадает в новое

затруднение. Всякий анализ должен принять решение о том, как поступить с социальным табуированием активных переменных —

обойти их при исследовании или

изучить. Эти возможности решения затрагивают (даже там, где их задает заказчик) характер самого исследования, т. е. относятся к исконной практической сфере наук: к способу постановки вопроса, выбора переменных, направления и диапазона изучения причинных предположений, к понятийному аппарату, методам расчета «рисков» и т. д.

В отличие от последствий простого онаучивания последствия данных исследовательских решений имманентно скорее поддаются оценке: если первые находились

вне промышленности и производства в (безвластных)

латентных сферах общества — здоровье природы и человека, — то ныне установления рисков оказывают обратное воздействие на

центральные властные зоны — экономику, политику, институциональные контрольные инстанции. А все они располагают «институционализированным вниманием» и «корпоратистскими локтями», чтобы громко заявить о побочных последствиях, которые их затрагивают и сопряжены с большими расходами. Таким образом, с учетом социальной ситуации «незамеченность» весьма ограничена. Примерно то же можно сказать и о «побочном характере» последствий. Наблюдение за этим развитием относится к официальной компетенции ведомства по исследованиям риска (или его подотдела). Директивы известны, правовые основы тоже. Скажем, каждый знает, что такое-то

доказательство такой-то концентрации ядовитых веществ и превышения экстремальных величин, по всей вероятности, чревато для такого-то такими-то радикальными (правовыми, экономическими) последствиями.

Но это означает: с онаучиванием рисков оценимость побочных последствий превращается из внешней проблемы в проблему

внутреннюю, из проблемы

применения в проблему

познания. Внешнего больше не существует. Последствия находятся внутри. Контексты возникновения и использования вдвигаются друг в друга. Автономия исследования тем самым становится

сразу и проблемой познания,

и проблемой практики, а возможное нарушение табу — имманентным условием хорошего или плохого исследования. До поры до времени все это, вероятно, еще таится в серой зоне исследовательских решений, которые можно принять так или этак. С точки зрения институциональной, научно-теоретической и моральной конституции исследованию необходимо поставить себя в такое положение, когда оно сможет принять имеющиеся у него исторические импликации и разобраться в них, чтобы при первом щелчке бича не ринуться очертя голову сквозь подставленные обручи.

Эту целостность наука способна доказать именно через

противостояние господствующему нажиму превратить практические табу в теоретические. При таком понимании требование «нейтральности» в смысле независимости научного анализа действительно получает новое, прямо-таки революционное содержание. Возможно, Макс Вебер, который знал и о латентном политическом содержании конкретной науки,

ныне выступил бы в поддержку данной интерпретации

независимого от табу, конструктивного анализа рисков, который черпает политическую ударную силу именно в своей ангажированной, оценочной конструктивности.

Одновременно здесь заметно, что шансы влияния на научную практику познания и управления ею размещены в пространствах выбора, которые с точки зрения их законности до сих пор выводились за рамки научной теории и совершенно не учитывались. Согласно действующим критериям образования гипотез, причинную цепь можно проецировать в совершенно различных направлениях,

не наталкиваясь (что касается подтверждения собственных предположений) на какие бы то ни было стандарты законности. В развитой цивилизации практика научного познания приобретает характер

имплицитного, овеществленного «манипулирования» латентно политическими переменными, спрятанного под маской решений о выборе, которые не требуют оправдания. Это не означает, что овеществление исключается. И опять-таки не означает, что предполагаемые причинные связи могут быть созданы политически. Кстати говоря, причинный анализ и анализ действий — независимо от самопонимания ученых — сопряжены друг с другом.

Удвоенная, созданная реальность рисков политизирует объективный анализ их причин. Если при таких условиях наука в ложно понятой «нейтральности» ведет исследования, соглашаясь с табуированием, она способствует тому, что закон незамеченных побочных

последствий по-прежнему властвует развитием цивилизации.

4. Возможность оценки «побочных последствий»

Со сказкой о непредсказуемости последствий более мириться нельзя. Последствия не аист приносит, их

создают. И в том числе как раз

в самих науках, при всей невозможности расчета и несмотря на нее. Увидеть это можно, если проводить систематическое различие между

рассчитываемостью фактических внешних последствий и их имманентной

возможностью оценки.

Согласно общепринятой точке зрения, в ходе вычленения наук нерассчитываемость побочных последствий научной работы

с необходимостью обостряется. Ученые фактически изолированы от использования своих результатов; здесь у них отсутствует всякая возможность влияния; это относится к компетенции других. Значит, ученых нельзя и привлечь к ответу за фактические последствия результатов, полученных ими с аналитических позиций. И хотя многие сферы мало-помалу находят общий язык, последствия от этого не уменьшаются, напротив, только становятся более резкими дистанции, а также возможности пользователя применить результаты в своих интересах.

Такая оценка основана на понятии «рассчитываемости» — ключевом понятии классического онаучивания, чье смысловое содержание и условия применения как раз теперь становятся сомнительными. Возможности оценить побочные последствия, однако же, попадают в поле зрения, только если видишь, что с

переходом к рефлексивной модернизации изменяется само понятие «рассчитываемого и нерассчитываемого»: рассчитываемость означает теперь не только целесообразную овладеваемость, а нерассчитываемость — не только невозможность целесообразной овладеваемости. Будь оно так, «нерассчитываемость побочных последствий» не только сохранилась бы в нынешнем научном предприятии, но даже бы и выросла, потому что целесообразность «контекстуализируется» и неопределенность увеличивается.

Понимание же рассчитываемости как

«возможности оценки» в точности соответствует ситуации, возникающей в условиях рефлексивной модернизации:

реальные последствия фактически

более, чем когда-либо, остаются непредвидимы. Но одновременно побочные воздействия лишаются своей латентности и тем самым «поддаются оценке» в следующем тройном смысле: знание о них (в принципе) доступно; к тому же более невозможно оправдываться классической неовладеваемостью и потому на основе знания о

возможных следствиях возникает принуждение к формированию. Стало быть, убывающая «рассчитываемость» сопровождается растущей

«возможностью оценки» побочных последствий; более того: одно

обуславливает другое. Знание о побочных последствиях уже достаточно вычленено и всегда (потенциально) присутствует. Необходимо взвешивать и сопоставлять самые разные выводы и круги соотнесенности в их значении для самих себя и для других. Таким образом,

фактические последствия в конечном счете все меньше поддаются расчету,

ибо возможные следствия все больше поддаются оценке, а эта их оценка действительно все больше и больше осуществляется в процессе исследования и в обращении с его имманентными запретными зонами и определяет его ход и результаты (см. выше). Но это означает также: в самом процессе исследований имплицитное обращение с

ожидаемыми последствиями приобретает все большую важность. Побочные последствия оговариваются на уровне ожиданий (и ожиданий ожидания), в полной мере вторгаясь таким образом в процесс исследований, хотя окончательные последствия остаются в то же время непредвидимыми. Это

необычайно эффективные ножницы в головах ученых. В той же мере, в какой ожидаемые последствия фактически определяют их работу, исходные положения и пределы вопросов и объяснений, растет упорство, с каким они настаивают на абсолютной нерассчитываемости реальных поздних последствий.

Этот лишь мнимо противоречивый двойственный тезис о

а)

растущей нерассчитываемости при одновременно

б)

растущей возможности оценки «экс-побочных последствий» будет рассмотрен подробнее в двух следующих подразделах. Лишь совокупная аргументация может затем выявить первые отправные точки для того, насколько и в каком смысле преодолим «фатализм последствий» научно-технической цивилизации.

Автономизация применения

На этапе вторичного онаучивания меняются

места и участники производства знания. Адресаты наук в управлении, политике, экономике и общественном мнении становятся — как показано выше — в изобилующем конфликтами сотрудничестве и противостоянии

копродукентами социально значимых «знаний». Но тем самым одновременно приходят в движение

отношения внедрения научных результатов в практику и политику. «Соакционеры» ликвидированного «капитала познаний» в науке совершенно новым, авторитетным образом управляют переводом науки в практику.

В модели простого онаучивания соотношение науки и практики мыслится

дедуктивно. Выработанные наукой знания — согласно притязанию —

авторитарно внедряются сверху вниз. Там, где это натывается на сопротивление, преобладают — согласно научному самопониманию — «иррациональности», которые можно преодолеть посредством «повышения рационального уровня» практиков. В условиях подрыва внутренней и внешней стабильности наук данная авторитарная модель дедуктивистского применения уцелеть не способна. Применение все более дробится в процессах внешнего производства знания, т. е. в сортировании и отборе, взятии под сомнение и новой организации ассортимента интерпретаций, а также в их целевом обогащении «знанием практиков» (шансы осуществления, неформальные властные отношения и контакты и т. д.). Таким образом брезжит

конец управляемого наукой, целевого контроля над практикой. Наука и практика в условиях независимости науки вновь отмежевываются друг от друга. Пользовательская сторона с

помощью науки начинает приобретать все большую независимость

от науки. В известном смысле можно сказать, что сейчас у нас на глазах

опрокидывается иерархический перепад рациональности[20].

При этом

новая автономия адресатов основана не на незнании, а на знании, не на недоразвитости, а на вычленении и сверхсложности ассортимента научных интерпретаций. Она — лишь мнимо парадоксально —

порождена наукой. Успешность наук делает спрос менее зависимым от предложения. Важным показателем этого тренда к автономизации является прежде всего специфическая

плюрализация ассортимента знаний и их

методокритического отражения. По мере своего вычленения (и не обязательно при ухудшении или моральной легковесности) науки (в том числе и естественные) превращаются в

магазины самообслуживания для заказчиков, имеющих большие финансовые возможности и нуждающихся в аргументации. При избыточной сложности отдельных научных выводов потребителям предоставляются также шансы выбора внутри экспертных групп

и между ними. Нередко решения о политических программах принимаются заранее уже в силу того, какие специалисты вообще включены в круг советников. Практики и политики, однако, могут не только выбирать те или иные экспертные группы, они могут и

противопоставить их

друг другу внутри или между дисциплинами и таким образом повысить автономию в обращении с результатами. И как раз в ходе успешного обучения в контакте с науками происходит это будет все менее дилетантски. Ведь от экспертов и на их внутренних явных (или неявных) принципиальных спорах можно научиться тому, как

профессионально (например, посредством критики метода) заблокировать неблагоприятные результаты. Поскольку же в процессе самодестабилизации наук поводов для этого становится все больше, растут шансы дистанцирования, которые открываются через рефлексивные онаучивания практической стороны.

Тем самым науки оказываются все менее способны удовлетворить потребность клиентов, находящихся под нажимом решений, в

стабильности. С генерализацией фаллибилизма наука перекладывает свои сомнения на пользователя да еще и навязывает ему таким образом противоположную роль

необходимо активного сокращения нестабильности. Все это — подчеркиваю еще раз — не как выражение несостоятельности и недоразвитости наук, а, наоборот, как продукт их интенсивного вычленения, усложнения, самокритичности и рефлексивности.

Создание объективных принуждений

Остановиться на этой аргументации — значит скрыть

доли активного участия науки, т. е. ее основанной на разделении труда структуры и научно-теоретического программирования в непредсказуемости ее практических последствий. В таком случае исходят прежде всего из того, что путь наук в

генерализацию нестабильности невозможно изменить. Одновременно наука в ее исторических предпосылках и формах принимается за

константу. Однако вряд ли найдется другая сила, которая изменила мир так, как наука. Почему же изменение мира не может принудить к изменению самую науку? Там, где все становится изменимым, наука, привнесшая в мир эту изменимость, уже не может ссылаться на неизменяемость своих основ и рабочих форм. Шансы самоизменения возрастают с автономизацией потребительской стороны. Отщепление вынуждает и допускает новое осмысление и определение научного познания в каноне притязаний на интерпретацию и использование со стороны общественного мнения, политики и экономики. Вопросы гласят: где

внутри самой научной практики расположены отправные точки, позволяющие при продолжении и расчленении процесса познания сократить самопорожденную нестабильность? Можно ли таким образом одновременно вновь обосновать практический и теоретический суверенитет наук? Как вновь внешне и внутренне гармонизировать между собой генерализацию сомнения и редукцию нестабильности? С этой целью стоит привести ряд соображений, иллюстрирующих общую мысль.

Общепринятая в научно-теоретических кругах аксиома гласит: науки не могут выносить оценочные суждения авторитетом своей рациональности. Они дают так называемые «нейтральные» цифры, информации, объяснения, которые должны служить самым разнообразным интересам как «беспристрастная» основа решений. И все же:

какие цифры они выбирают, на

кого или на

что проецируют причины,

как интерпретируют проблемы общества и на решения

какого характера заставляют обратить внимание — все это решения отнюдь не нейтральные. Другими словами: науки развивали свои практические способности управлять

независимо и

по ту сторону эксплицитных оценочных суждений. Возможности их практического воздействия

заклучены именно в этом

как в окончательной научной конструкции. Так, («чисто объективная») интерпретация «потребности» и «риска» в самых разных сферах деятельности может послужить прикрытием, под которым выторговываются установки и направления будущего развития. Что именно считается «потребностью» и «риском» — вот ключевой вопрос для решения о выборе между ядерными электростанциями, энергией угля, энергоэкономными мероприятиями или альтернативными источниками энергии, равно как и в пенсионном страховании, социальном страховании, при установлении черты бедности и т. д. При этом каждый содержит имплицитные для себя решения касательно связанных с ними

серий последствий, которые в конечном счете выливаются в иную форму совместной жизни. Определения понятий и их операционализации, гипотетические предположения и т. д. суть, таким образом, — забудем на время о свободе от оценочных суждений — рычаги, посредством которых выносятся принципиальные решения о будущем общества.

Иными словами: рассматривая вопрос, вносят ли науки вклад в самоконтроль и обуздание своих практических рисков, следует в первую очередь учитывать вовсе не то, выходят ли они за пределы собственных сфер влияния и стремятся ли к (политическому) участию в реализации своих результатов. Существенно другое:

какой характер носит наука уже с точки зрения обозримости ее якобы непредсказуемых побочных последствий. Это не означает, что наука впадает из одной крайности в другую и, беспредельно переоценивая, объявляет себя единственно ответственной за то, что возникает в обществе из ее результатов. Зато сюда входит, что она воспринимает обратную информацию об опасностях и рисках как эмпирический вызов ее самопониманию и реорганизации ее работы. В этом смысле для наукоимманентного сокращения внешней нестабильности важно:

а) в какой мере «лечение»

симптомов можно заменить устранением

причин ;

б) будет ли сохранена или появится вновь

практическая способность к обучению либо же в отвлечении от практических последствий создадутся

необратимости, основанные на ложном допущении

непогрешимости и изначально исключаящие возможность учиться на практических ошибках; в) останется ли способ рассмотрения

изолированным или же вновь будут найдены и развиты силы

специализации на контексте.

Устранение причин или подавление симптомов

В ходе вторичного онаучивания конструкции объективного принуждения, с помощью которых условия и продукты простого онаучивания были изъяты из сферы активного доступа,

сплавляются с возможностями изменения. Чем больше создается объективных принуждений, тем труднее сохранить характер объективных принуждений — повсюду просвечивает их происхождение. «Технологический или экономический детерминизм», объявляемый и продуманный с позиций технического распоряжения, не может более сохранить свою детерминирующую силу и остаться запечатанным относительно требований легитимации и альтернативных возможностей формирования. Он сам — по крайней мере в принципе — становится формируемым. Самопродуцированные объективные принуждения при вторичном вмешательстве наук тоже превращаются в

конструкции объективных принуждений, в

созданные объективные принуждения, а именно по тому же принципу, по которому, например, выявленные причины насморка можно использовать для его преодоления и профилактики. Содержания и выбросы ядовитых веществ, поначалу считавшиеся «латентными», а затем «неизбежными» побочными следствиями, на глазах у наук шаг за шагом соотносятся со скрытой в них областью решений и с условиями их подконтрольности.

Так, в ходе исследований на стадии рефлексивного онаучивания срывается покров «объективных принуждений», который на этапе первичного онаучивания был наброшен на все условия и актеров модернизации и индустриализации. Таким образом, все условия становятся в принципе, во-первых,

формируемыми, а во-вторых,

зависимыми от легитимации. «Могло-бы-быть-иначе» как угрожающая возможность на заднем плане все больше открыто или скрыто властвует своими аргументационными принуждениями над всеми полями действий. И происходит это — по крайней мере имплицитно — даже там, где науки со всей дефинирующей силой своих теорий и методов пытаются воздвигнуть новые дамбы неизменности продуцированных рисков. Но таким образом центральное место занимает вопрос не только о том,

что изучается, но и

как, т. е. каким способом, с каким мыслительным радиусом, в каких пределах и т. д. относительно увеличения или избежания рисков индустриализации.

В обращении с рисками цивилизации, стало быть, друг другу принципиально противостоят две оптации: устранение причин в первичной индустриализации или рынкорасширяющая вторичная индустриализация следствий и симптомов. До сих пор почти повсюду выбирали

второй путь. Он сопряжен с большими расходами, оставляет причины в неизвестности и позволяет превращать ошибки и проблемы в подъем рынка. Процесс обучения систематически сокращается и тормозится: тот факт, что модернизация сама создает собственные опасности, тонет в детальном рассмотрении и устранении симптомов. На примере лечения болезней цивилизации, таких, как диабет, рак, сердечные заболевания, можно показать это наглядно. Эти болезни можно побороть там, где они возникают: устраняя рабочие перегрузки, загрязнения окружающей среды или внедряя здоровый образ жизни и полноценное питание. Или же можно смягчить их симптомы с помощью химических препаратов. Эти разные направления борьбы с болезнями, разумеется, не исключают друг друга. Однако во втором случае, откровенно говоря, и речи нет о собственно излечении. Тем не менее до сих пор мы упорно принимали решение в пользу медико-химического способа.

Все больше и больше становится областей, где индустриализация, игнорируя собственное авторство, стремится извлечь выгоду из своих вторичных проблем. Это опять-таки создает альтернативы решений для науки и исследований: наука

либо дает для этого в своей отдельной специализации соответствующие определения рисков и каузальные интерпретации,

либо ломает это все более дорогостоящее устранение симптомов и развивает собственные, теоретически обоснованные контрперспективы, сама указывая и высвечивая источники проблем и их устранения в индустриальном развитии. В одном случае наука становится акционером и легитимирующей инстанцией продолжающих действовать объективных принуждений, в другом случае она указывает подходы и пути их ломки и обретения доли суверенитета

в модернизации

через модернизацию.

В этом смысле общество риска по своим возможностям есть общество самокритичное. В нем всегда сопорождаются пункты соотнесенности и предпосылки критики в форме рисков и опасностей. Критика рисков — это не нормативная критика ценностей. Именно там, где традиции и ценности

пришли в упадок, как раз и возникают риски. Основой критики являются не столько традиции прошлого, сколько угрозы будущего. Чтобы выявить содержание ядовитых веществ в воздухе, воде и пищевых продуктах, куда меньше нужны действующие ценности, нежели дорогостоящие измерительные инструменты, а также методические и теоретические знания. Констатации рисков, таким образом, располагаются как бы поперек различия масштабов объективных и ценностных. Моральные масштабы они демонстрируют не открыто, а в виде

количественно-теоретико-каузальной «имплицитной морали». Соответственно в исследовании рисков с во многом конвенциональным пониманием науки сопряжена своего рода «овеществленная каузальная мораль». Суждения о рисках суть моральные суждения онаученного общества. Всё: соотнесенности и предмет критики, возможности раскрытия и обоснования — самопродуцируется в большом и в малом в процессе модернизации. В этом смысле вместе с обществом риска возникает, таким образом, общество по своим возможностям детрадиционализированное

и самокритичное. Понятие риска сравнимо с зондом, который позволяет снова и снова просвечивать как весь план строительства, так и каждую крупницу цемента на предмет потенциалов самоугрозы.

Безошибочность или обучаемость

Если впредь отказаться от примирения с побочными последствиями, то научно-техническое развитие при всем своем темпе и формах осуществления должно обеспечивать

способность обучаться на любом этапе. Это предполагает избежание развития, создающих

необратимости. Напротив, необходимо находить и разрабатывать такие варианты научно-технического развития, которые оставляют свободное пространство для ошибок и исправлений. Исследования технологий и их политика должны исходить из до сих пор наилучшим образом себя оправдывавшей и симпатичнейшей «теории», а именно

из того, что человеческому мышлению и поступкам свойственны ошибки и заблуждения. Там, где технологические развития вступают в противоречие с этой — быть может, последней и, по сути, успокаивающей — достоверностью, они взваливают на человечество невыносимое

бремя практической

непогрешимости . С многократным увеличением рисков растет принуждение

допустить собственную безошибочность, а тем самым лишить себя способности учиться. Самое естественное — признание человеческой несостоятельности — совпадает тогда с развязыванием

катастроф , и потому его необходимо всеми средствами предотвратить. Так увеличение рисков и допущение безошибочности соединяются и пускают в ход принуждения, умаляющие опасность и находящиеся в прямой корреляции с масштабом угроз. Затем все это нужно любой ценой затуманить «объективной законностью» собственных действий.

Стало быть, нам надо исследовать практические развития на предмет того, содержат ли они «гигантизм рисков», который лишает человека его человечности и отныне и вовек

обрекает его проклятию безошибочности . Научно-техническое развитие все больше скатывается в новое скандальное противоречие: его познавательные основы высвечиваются в институциональном аутосомнении наук, меж тем как технологическое развитие герметизируется против сомнения. А именно с ростом рисков и принуждения к действию возобновляются давно ставшие неудержимыми, абсолютистские притязания на познание, непогрешимость и безопасность. Под активным нажимом технических наук процветает догма. Освобожденное и систематически подогреваемое сомнение наталкивается в технологическом развитии на

контрмодерн научных табу непогрешимости. А эти последние с ростом рисков ужесточаются. «Стабильнее всего» в конечном счете непредсказуемое: атомные бомбы и ядерная энергия с их опасностями, превосходящими всякое воображение. Значит, необходимо освободить фаллибилизм от его теоретико-эмпирической раздвоенности, обесценить технику как возможность и прощупать возможные варианты технического развития с точки зрения «человечности», т. е. непогрешимости.

В этом смысле ядерная энергия — крайне опасная игра с допущенной «непогрешимостью» технического развития. Она освобождает объективные принуждения от объективных принуждений, которые едва ли возможно контролировать и которые лишь ограниченно способны обучаться. Она (скажем, в области ликвидации или хранения ядерных отходов) связывает людей на несколько поколений, т. е. на периоды, когда не обеспечена даже равнозначность ключевых слов. Она бросает тень необозримых последствий и на другие области. Это касается общественного контроля, которого она требует и который нашел свое выражение в формуле «авторитарного ядерного государства». То же касается и долговременных биолого-генетических последствий, которые сейчас вообще нельзя предвидеть. Зато возможны децентрализованные формы энергетического обеспечения, не содержащие этой «собственной динамики объективных принуждений». Варианты развития могут, стало быть,

либо перекрыть будущее,

либо оставить его открытым. Смотря по тому, будет ли принято

решение «за» или «против» путешествия в неведомую ничейную зону хотя и незримых, но предвидимых «побочных последствий». Если поезд тронется, остановить его будет трудно. Значит, мы должны выбрать варианты развития, которые не перекрывают будущее и превращают сам процесс модернизации в

процесс обучения , где в силу изменяемости решений всегда есть шанс отменить осознанные позднее побочные последствия.

Специализация на обстоятельстве контексте

Следующее, главное условие для производства латентных побочных последствий заключено в

специализации практики познания. Точнее: чем

выше степень специализации, тем

больше диапазон, количество и неисчисляемость побочных последствий научно-технической деятельности. Вместе со специализацией

возникает не только «невидимое» и «побочный характер» «невидимых побочных последствий». С нею растет и вероятность, что придумываются и реализуются выборочные разрешения, чьи намеренные главные следствия постоянно перекрываются ненамеренными побочными следствиями. Сверхспециализированная научная практика становится таким образом «сортировочной станцией» для проблем и дорогостоящего «лечения» их симптомов. Химическая промышленность продуцирует ядовитые отходы. Что с ними делать?

Принимается «решение» — хранить, вследствие чего проблема отходов становится проблемой грунтовых вод, которая превращается в источник прибыли, например, для химической промышленности, производящей «очищающие добавки» к питьевой воде. А там, где питьевая вода из-за этих добавок негативно сказывается на здоровье людей, есть под рукой медикаменты, «латентные побочные последствия» которых можно компенсировать» одновременно продлить посредством широкой системы медицинского обеспечения. Так возникают — в соответствии с моделью и степенью сверхспециализации — бесконечные цепочки

решений и созданий проблем, которые вновь и вновь «подтверждают» «миф» о невидимых побочных последствиях.

Генетическая структура, порождающая «объективные принуждения» и «собственные динамики», по сути есть модель сверхспециализированной практики познания в ее ограниченностях, ее понимании методов и теории, ее карьерных ступенях и т. д. Доведенное до крайности разделение труда порождает всё — и побочные последствия, и их непредсказуемость, и реальность, которая придает этой «судьбе» облик неотвратимости. Сверхспециализация есть действующая модель общественной практики, которая сгущает фатализм последствий в своего рода круг самоподтверждения.

Наука, желающая переломить этот «фатум», должна

научиться новым формам

специализации на обстоятельстве контексте. Изолированный, аналитический подход при этом не теряет своей правомочности, однако он становится

ложным и практически порождающим риски, если превращается в руководящую линию полумер и якобы научно обоснованного «латания дыр». Центральное место в таком специализированном изучении обстоятельного контекста могли бы занять, например,

«проблема-сортировочные станции» (вроде тех, какие имеют место в сфере рисков и экологических проблем, а также, судя по всему, и во многих других областях, например в социальной политике и в сфере медико-социальных услуг), а также поиски важных альтернатив развития и содержащихся в них

направляющих установок по избежанию или увеличению нестабильности. Так, например, во взаимосвязи обеспечения продовольствием, сельского хозяйства, промышленности и науки скрыты варианты моделей разделения труда, которые сами по себе либо порождают цепочки проблем-следствий, либо их сокращают. Центральная развилка маркирована вопросом, пойдет ли сельское хозяйство и дальше по пути

химической обработки почвы и продукции или вернется к тем формам обращения с природой, которые

учатся у самой природы, ведь, например, посредством надлежащего севооборота можно победить сорняки и повысить здоровье и плодородие почвы. Если будет продолжен старый, химический путь, то исследования сосредоточатся на создании все более эффективных биоцидов, а значит, на изучении воздействия таких ядов, установлении предельных значений, что, в свою очередь, потребует изучения вредных влияний на здоровье (рак и т. д.), а стало быть, будут (зачастую варварские) эксперименты на животных, протесты общественности, полицейские и юридические меры и проч. Путь

биологически сознательного сельского хозяйства тоже требуют поддержки со стороны исследований, но это исследования иного рода. Они должны расширить и улучшить знание о севооборотах и о возможностях землепользования без истощения почвы. Но таким образом одновременно будут разорваны цепочки следствий и объективных принуждений, которые пока что постоянно ширятся. Итак, взаимосвязь между сельским хозяйством и питанием таит в себе

возможности разных социальных будущих — в одном случае посредством порождающих риски «объективных, принуждений» с долговременным воздействием создается цепочка, соединяющая сферы промышленности, исследования, поли-, тики и права, а в другом нет.

В защиту обучающей теории научной рациональности

Рациональность и иррациональность науки никогда не являются только вопросом настоящего или прошлого, они также и, вопрос

возможного будущего. Мы можем учиться на своих ошибках — а значит, всегда возможна и

другая наука. И не просто другая теория, но другая

теория познания, другие взаимоотношения, теории

и практики и другая

практика этих взаимоотношений». Если верно, что настоящее есть не что иное, как гипотеза, которую мы еще не превзошли, то ныне настало время контргипотезы. «Пробные камни», на которых должны проверяться такие предприятия, очевидны без слов: проекту модерна необходима первая помощь. Ему грозит опасность задохнуться от собственных аномалий. Наука в ее существующей ныне форме — одна из них.

Нам необходима теория объективных принуждений научно-, технической деятельности, в центре внимания которой будет

порождение объективных принуждений и «непредсказуемых побочных следствий» научно-технической деятельности. Рычаг претворимости, устранения фатализма последствий тоже должен быть найден в рамках действий, в самопонимании наук как

таковых. Не

после научной практики, а

в ней — в том, что она считает существенным, а что нет, как она ставит вопросы, забрасывает «сети» причинных гипотез, как принимает решения о справедливости своих предположений и что при этом опускает или утаивает, — необходимо отыскать отправные точки процесса, порождающего непредсказуемость последствий,

и способы ее избежания. Выражаясь фигурально, мы должны вмонтировать

штурвал и тормоз в «неуправляемый механизм» стремительного, высвобождающего поистине взрывные силы научно-технического развития, изменив его самопонимание и политическую форму. В принципе это возможно — вышеизложенные соображения скорее иллюстрация тому, чем доказательство. Во всяком случае, требования к такой концепции мы в целом обрисовали: науку нужно рассматривать как (со)автора объективных принуждений, из которых вырастает нестабильность, принимающая всеобщий характер. Эту нестабильность наука должна переломить посредством практически эффективного изменения самопонимания. Будем надеяться, что разум, умолкший в науке, может активизироваться, мобилизоваться против нее.

Наука способна изменить самое себя и в критике своего исторического самопонимания оживить просвещение теоретически и практически.

Для выполнения этого требования ключевое значение имеет вопрос о том, удастся ли вообще — а если да, то каким образом —

скорректировать путь науки к конвенционализации (будь то производство данных или «теоретическая гимнастика на семантических ветвях» и в проектируемом смысле вновь увязать научную работу на уровне ее методологической рефлексии и самокритики с

реальностью. В свете изложенных аргументов это безусловно означает, что для независимо критического и практического потенциала наук чрезвычайно важно выявить теоретические взаимосвязи. Но это означает также, что как раз на основе теоретического и исторического понимания необходимо заново продумать и дефинировать понятие эмпиризма. При нынешнем уровне научно порожденной нестабильности мы более не можем строить предположения относительно того, что «есть» эмпиризм; нам необходимо вывести это понятие теоретически. Предположение звучит так: только в

теории эмпиризма можно вновь соотнести спекулятивную силу мышления с «реальностью» и одновременно вновь обрисовать и разметить комплементарные роли теории и эмпиризма в их противостоянии и совместности.

Здесь могут внести свой вклад и общественные науки. Они могли бы стимулировать освобождение наук от созданной по их же вине роковой несамостоятельности и слепоты перед рисками. Патентованного рецепта для этого не существует, и советов тоже ждать особенно неоткуда. Но для общественных наук, по крайней мере, есть путеводный вопрос: каким образом соотнести между собой общественную теорию и общественный опыт так, чтобы спектр невидимых побочных следствий уменьшился и социология — при всей раздробленности на специальные рабочие поля — оказалась способна внести вклад

в научную специализацию на обстоятельном контексте (т. е., по сути, в достижение истонной своей цели)?

Нужно отыскать

«обучающую теорию» научной рациональности, которая мыслит эту последнюю изменимой в столкновении с самопорожденными опасностями. Не в пример аналитической научной теории, которая допускает и пытается реконструировать рациональность науки в ее фактическом историческом состоянии, здесь притязание науки на познание станет

проектом будущим, который только лишь на основе форм современности нельзя ни опровергнуть, ни счесть выигрышным. Как опровержение ньютоновской механики вовсе не означало конца физики, так и доказательство иррациональности преобладающей научной практики не означает конца науки. Предпосылкой тому — распространение способности к содержательной критике и обучению, которая традиционно имеет место в исследовательской практике, на основы познания и использования знаний. Тем самым

фактически латентная рефлексивность процесса модернизации одновременно поднялась бы на уровень научного сознания. Но там, где модернизация сталкивается с модернизацией, изменяется смысл этого слова. При общественном и политическом самоиспользовании модернизации столь широко распространенный интерес к возможности распоряжаться теряет свою техническую хватку и принимает форму «самообладания». В сутолоке противоречий и новых спорностей, быть может, появится и

шанс практического самообуздания и самоизменения научно-технической «второй природы», ее теории и практики.

Глава VIII

Размывание границ политики. Соотношение политического управления и технико-экономического изменения в обществе риска

В противоположность всем предшествующим эпохам (включая индустриальное общество) общество риска отмечено одним существенным

недостатком — невозможностью ответственно осознать опасные ситуации

извне. В отличие от всех прежних культур и фаз общественного развития, которые видели перед собою множество опасностей, ныне в отношении рисков общество

противостоит самому же себе. Риски — продукт исторический, отражение человеческих поступков и допущений, выражение высокоразвитых производительных сил. В обществе риска проблемой и темой становится

самопорождение социальных условий жизни (прежде всего негативно в требовании предотвратить опасности). Стало быть, когда люди обеспокоены рисками, происхождение опасностей коренится уже не во внешнем, чуждом, нечеловеческом, а в исторически приобретенной способности людей к самоизменению, самоформированию и самоуничтожению условий воспроизводства всякой жизни на этой планете. Но это означает, что источники опасностей коренятся уже не в невежестве, а в

знании, не в сфере, недоступной человеческому воздействию, а как раз наоборот, в

системе решений и объективных принуждений, которая создана индустриальной эпохой. Модерн взял на себя еще и роль собственного антипода — традиции, которую необходимо преодолеть, естественного принуждения, которым надо овладеть. Она — угроза

и обетование избавления от угрозы, которую сама же создает. С этим связан главный вывод,

стоящий в центре внимания этой главы: в индустриальном обществе риски становятся двигателем

самополитизации модерна, более того, вместе с ними меняются

понятие, место и средства «политики».

1. Политика и субполитика в системе модернизации

Предварительно представим данную оценку системного изменения политики в условиях обостряющихся ситуаций риска в виде

четырёх тезисов.

Первое : отношения общественного изменения и политического управления изначально мыслятся в проекте индустриального общества по модели «раздвоенного гражданина». Этот последний, с одной стороны, как

гражданин осознает свои демократические права на всех аренах формирования политической воли, а с другой стороны, как

обыватель отстаивает в сфере труда и экономики свои личные интересы. Соответственно происходит вычленение политико-административной и технико-экономической системы. Аксиальный принцип политической сферы есть участие граждан в институтах представительной демократии (партиях, парламентах и т. д.). Процесс принятия решений, а вместе с ним осуществление власти следуют максимах законности и принципу: власть и господство могут осуществляться только с согласия подвластных.

Действия, сферы технико-экономических интересов, напротив, принято считать неполитикой. Такая конструкция, с одной стороны, базируется на приравнивании технического прогресса к прогрессу

социальному , а с другой — на том, что направление развития и результат технических изменений считаются выражением неизбежных

объективных технико-экономических

принуждений . Технологические инновации умножают коллективное и индивидуальное благосостояние. А такие повышения жизненного уровня всегда оправдывают и негативные эффекты (декавалификацию, риски высвобождения, внедрения и занятости, угрозы здоровью, разрушение природы). Даже разногласия касательно «социальных последствий» не препятствуют осуществлению технико-экономических новшеств, которое, по сути, остается неподвластно политической легитимации и даже — именно по сравнению с демократическо-административными процедурами и этапами осуществления — обладает пробивной силой, фактически невосприимчивой к критике.

Прогресс заменяет голосование . Более того, прогресс заменяет все вопросы, это своего рода заблаговременное согласие с целями и следствиями, которые остаются неизвестны и анонимны.

В этом смысле процесс нововведений, осуществляемый в модерне вопреки господству традиции, в индустриальном обществе

демократически располавливается . Лишь одна часть формирующего общество компетенции на принятие решений сосредотачивается в политической системе и подчиняется принципам парламентской демократии. Другая часть выводится из подчинения правилам общественного контроля и оправдания и делегируется свободе инвестирования (предприятиям) и свободе исследования (науке). Согласно институциональной установке социальное изменение в этих обстоятельствах происходит

смещение — как латентное побочное следствие экономических и экономико-технических решений, принуждений и расчетов. Делают нечто совсем иное: утверждают на рынке, используют правила экономического формирования прибыли, стимулируют постановку научных и технических вопросов, а тем самым вновь и вновь перепахивают обстоятельства социального общежития. Иными словами, с развитием индустриального общества происходит взаимопроникновение двух противоположных процессов организации социального изменения — создания политико-парламентской демократии и создания неполитического, недемократического социального изменения под легитимационной эгидой «прогресса» и «рационализации». Друг с другом они соотносятся как модерн и контрмодерн: с одной стороны, институты политической системы (парламент, правительство, политические партии)

функционально и системно обусловленно предполагают производственный круг промышленности, экономики, технологии и науки. С другой стороны, непрерывное изменение всех сфер общественной жизни тем самым изначально надевает оправдательную маску технико-экономического прогресса и

противоречит простейшим нормам демократии — знанию целей социального изменения, обсуждению, голосованию, согласию.

Второе , оглядываясь назад, можно сказать, что в XIX и в первой половине XX века разграничение политики и неполитики при постулированности перманентного процесса обновления модерна опиралось по меньшей мере на две важные исторические предпосылки, которые начиная с 70-х годов становятся сомнительными во всех западных индустриальных странах (особенно в ФРГ):

а) на

социальную очевидность неравенств классового общества , которая придавала политический смысл и стимул

строительству социального государства ;

б) на

уровень развития производительных сил и онаучивание , потенциалы изменения которого не превышают радиус возможностей политической деятельности и не упраздняют легитимационные основы прогрессивной модели социального изменения. За два последних десятилетия в ходе рефлексивной модернизации эти предпосылки утратили прочность. По мере осуществления проект социального государства потерял свою утопическую энергию. Одновременно были осознаны его границы и теневые стороны. Однако же тот, кто оплакивает и критикует лишь начинающийся таким образом

паралич политической сферы, упускает из виду, что одновременно

справедливо и

прямо противоположное.

Волны уже происходящих, заявленных или наметившихся изменений пронизывают и сотрясают общество. По глубине и размаху они, вероятно, затмят все попытки реформ последних десятилетий. Политический застой подтачивается

лихорадкой изменений в технико-экономической системе, и эта лихорадка изменений испытывает смелость человеческой фантазии. Научная фантастика все больше превращается в воспоминания о прошлом. Стержневые проблемы известны и в этой книге уже не раз обсуждались: затяжное разрушение внешней и внутренней природы, системное изменение труда, подрыв общепринятой сословно-половой иерархии, детрадиционализация классов и обострение социальных неравенств, новые технологии, балансирующие на грани катастроф. Впечатление «политического» зстоя обманчиво. Оно возникает только потому, что политическое сужают до политически

этикетированного , до деятельности

политической системы . Если же смотреть шире, то становится ясно, что общество находится в вихре изменения, которое — независимо от нашей оценки — можно вполне заслуженно назвать «революционным». Однако реализуется это социальное изменение в форме неполитического. Недовольство политикой в этом смысле есть не просто недовольство самой политикой, оно выливается прежде всего в

разлад между официальными полномочиями, которые осуществляются политически и теряют силу, и широким изменением общества, которое, будучи закрыто для решений, неслышно, но неудержимо приближается по рельсам неполитического. Соответственно понятия политики и неполитики утрачивают четкость и нуждаются в систематическом пересмотре.

Третье : оба развития — ослабление государственного интервенционизма социального государства в ходе успешного развития этого государства, а также волны крупных технологических инноваций с неизвестными пока опасностями для будущего — в совокупности приводят к

размыванию границ политики , причем в двояком смысле: с одной стороны, осуществленные права ограничивают свободу действий

внутри политической системы, с другой стороны,

за ее пределами они способствуют возникновению притязаний на политическое участие в формах

новой политической культуры (гражданские инициативы, общественные движения). Ослабление формирующей и осуществляющей государственной власти есть в этом смысле не выражение политической несостоятельности, а продукт

развитой демократии и социальной государственности, где граждане в целях обеспечения своих интересов и прав умело пользуются всеми средствами общественного и судебного контроля и участия в решениях.

С другой стороны, технико-экономическое развитие параллельно с диапазоном потенциалов своих изменений и опасностей утрачивает характер неполитики. Казалось бы, контуры иного общества намечаются уже не в дебатах парламента или решениях исполнительных органов, а во внедрении микроэлектроники, реакторной технологии и человеческой генетики, но тут-то и рушатся конструкции, которые до сих пор политически нейтрализовали процесс модернизации. Одновременно технико-экономическая деятельность уже в силу своего характера остается защищена и от парламентских требований легитимации. Техничко-экономическое развитие оказывается, таким образом, между категориями политики и неполитики. Оно становится чем-то третьим, приобретает опасный двойственный статус

субполитики, в которой диапазон развязанных социальных изменений обратно пропорционален их легитимации. С возрастанием рисков обнажаются места, условия и средства их возникновения и интерпретации их технико-экономических объективных принуждений. Юридически компетентные, государственные контрольные инстанции и чувствительная к рискам общественность СМИ начинают вмешиваться в «интимную сферу» производственного и научного менеджмента и управлять ею. Направление развития и результаты технологического изменения становятся обсуждаемы и обязаны иметь легитимацию. Тем самым производственная и научно-техническая деятельность получает

новое политическое и моральное измерение, которое ранее казалось чуждым ее сущности. Если угодно, можно сказать, что бес экономики должен окропить себя святой водой общественной морали и окружить себя нимбом экологической и социальной заботливости.

Четвертое: этим запускается движение, по направлению противоположное развитию проекта социального государства в первых двух третях нынешнего столетия. Если тогда политика завоевала властные потенциалы «интервенционистского государства», то теперь потенциал формирования общества сдвигается из политической системы в субполитическую систему научно-техничко-экономической модернизации. Происходит опасная инверсия политики и неполитики.

Политическое становится неполитическим, а неполитическое — политическим. Этот ролевой обмен при сохранении фасадов, как ни парадоксально, совершается тем энергичнее, чем более естественно цепляются за разделение труда политического и неполитического социального изменения. Стимулирование и обеспечение «экономического подъема» и «свободы науки» становятся направляющим рельсом, по которому примат политического формирования соскальзывает из политико-демократической системы в демократически нелегитимированные обстоятельства экономики и научно-технической неполитики. Происходит

революция под маской нормы, которая недоступна возможностям демократического вмешательства, но демократические инстанции с необходимостью оправдывают ее, ограждая от всякой критики со стороны общественного мнения, и упорно осуществляют.

Эта тенденция чревата серьезнейшими последствиями и чрезвычайно проблематична: в проекте социального государства политика могла по причинам политической интервенции в происходящее на рынке развивать и утверждать

свою относительную автономию по сравнению с технико-экономической системой. Теперь же, наоборот, политической системе — при наличии демократической конституции! — грозит

утрата власти. Политические институты становятся администраторами развития, которое они не могли ни планировать, ни формировать, но за которое каким-то образом должны нести ответственность. С другой стороны, решения в экономике и науке нагружаются действительно политическим содержанием, на которое актеры не имеют ни малейшей легитимации. Решения, изменяющие общество, лишены места, где они могут проявиться, а потому безгласны и анонимны. В экономике их включают в инвестиционные решения, которые оттесняют их изменяющий общество потенциал в область «невидимых побочных следствий». Эмпирико-аналитические науки, задумывающие новшества, в своем самопонимании и институциональной принадлежности остаются отрезаны от технических последствий и последствий последствий, которые вытекают из этих новшеств. Неузнаваемость последствий, ненесение ответственности за них — вот программа развития науки. Формирующий потенциал модерна начинает прятаться в «латентные побочные следствия», которые, с одной стороны, вырастают до угрожающих существованию рисков, с другой же — теряют покров латентности. То, чего мы

не видим и

не желаем, все более заметно и опасно изменяет мир.

Спектакль с переменной ролей политики и неполитики при сохранении фасадов становится страшноватым. Политики вынуждены слушать, куда ведет путь без плана и сознания, причем командуют ими те, кто этого опять-таки не знает и чьи интересы направлены совсем на другое,

опять-таки вполне достижимое, а затем они (политики) привычным жестом блекнувшего доверия к прогрессу должны ловко преподнести избирателям этот путь в неведомую враждебную страну как собственное изобретение — и если быть точным, по одной-единственной причине: потому, что альтернативы изначально не было и нет. Необходимость, безальтернативность технического «прогресса» становится скрепкой, которая скрепляет совершение с его демократической (не)легитимацией. На развитой стадии западных демократий «ничейное господство» (уже не) невидимого последствия берет на себя режим.

2. Утрата функций политической системы. Аргументы и развития

Научные и публичные дебаты о влиятельных потенциалах политики относительно технико-экономического изменения отличаются своеобразной амбивалентностью. С одной стороны, многообразными способами ссылаются на

ограниченные управленческие и интервенционистские способности государства по сравнению с актерами модернизации в промышленности и исследованиях. С другой стороны, при всей критике системно необходимых или предотвратимых ограничений свободы политического действия по-прежнему сохраняется

фиксация на политической системе как эксклюзивном центре политики. Политическую дискуссию последних двух-трех десятилетий в науке и общественном мнении можно прямо-таки представить как обострение этого противоречия. Раскрытие ограничительных условий политической деятельности, которое началось уже давно, а в последние годы с разговорами о «неуправляемости» и «демократии общественного мнения» вновь оживилось, никогда не останавливается перед вопросом, не рождается ли в мастерских технико-экономического развития без всякого плана, голосования и осознания

другое общество. Сетования на утрату политического, как правило, соотносятся с якобы «нормальным» ожиданием, что решения, изменяющие общество, хоть и не сведены теперь в институтах политической системы, но все же должны быть в ней сосредоточены.

Так, издавна и с весьма различных сторон критиковали

утрату значения парламента как центра рационального формирования воли. Решения, которые согласно букве конституции относятся к компетенции парламента и отдельного депутата, как утверждают, все больше и больше принимаются, во-первых, руководством фракций (и шире — партийным аппаратом), а во-вторых, государственной бюрократией. Эта утрата парламентской функции зачастую толкуется как неизбежное следствие прогрессирующего усложнения отношений в современных индустриальных обществах. Критичные наблюдатели, во всяком случае, говорят о заложенном в самом принципе представительности, прогрессирующем обособлении аппарата государственной власти от воли граждан.

С примечательным единодушием далее констатируется, что сдвиг давних парламентских полномочий на фракции и партии, с одной стороны, и государственную бюрократию, с другой, сопровождается еще двумя тенденциями развития:

технократическим расширением свободы решений в парламенте и исполнительных органах и возникновением

корпоративно организованных властных и влиятельных групп. С растущим онаучиванием политических решений — а аргументируют именно так — политические инстанции (например, в области экологической политики, но и при выборе промышленных технологий и их местоположений) лишь выполняют рекомендации научных экспертиз. В последние годы неоднократно обращали внимание на то, что диапазон рассматриваемых политических актеров таким образом все же слишком узок.

Союзы — профсоюзы, предприниматели, все организованные интересы, которые вычленяет индустриальное общество, — пока что имеют некоторое право голоса. Политическое сместилось с официальных арен — парламента, правительства, политического управления — в

серую зону корпоративизма, где с помощью организованной власти объединений куют горячее железо политических решений, которые затем совсем другие люди отстаивают как свои собственные. Исследования показывают, что влияние союзов, которые, в свою очередь, пользуются бюрократически организованным аппаратом, распространяется как на решения государственных исполнительных органов, так и на формирование воли политических партий. В зависимости от местоположения этот процесс опять-таки подвергают нападкам как подрыв государства со стороны частных объединений квазиобщественного характера или, наоборот, приветствуют как корректив предшествующего обособления и упрочения государственного аппарата власти.

В марксистской теории и критике государств, не знающих автономного понятия политического, эта привязка государственной власти к частичным интересам доводится до крайности. В такой перспективе государство как «идеальный совокупный капиталист» в смысле Марксова определения так или иначе полностью редуцируется касательно свободы действий до «руководящего комитета господствующего класса». Минимум самостоятельности, который признается за государственным аппаратом и его демократическими институтами, вытекает с этой точки зрения из системной необходимости обобщать ограниченные, кратковременные, противоречивые, не вполне сформулированные «отдельно капиталистические» интересы и осуществлять их вопреки сопротивлению в собственном лагере. Политическая система и здесь рассматривается как центр политики, но теряет всякую самостоятельность. Против такого мышления в упрощенных категориях «базиса» и «надстройки» издавна выдвигали аргумент, что оно одинаково недооценивает как степень обособления политической деятельности в развитой парламентской демократии, так и опыт новейшей политической истории, которые свидетельствуют, что организация производства в развитых капиталистических индустриальных обществах прекрасно уживается с самыми разными формами политической власти (ср., например, Швецию, Чили, Францию и ФРГ).

В 70-е годы в качестве исторического подтверждения «сравнительной автономии» политико-административной системы относительно принципов и интересов системы экономической ссылались прежде всего на построение социального государства и государства всеобщего благоденствия в послевоенной Западной Европе. Например, в теориях государства «позднего капитализма» эта интервенционистская власть государства возводится к тому, что с развитием индустриального капитализма начинается

«необходимое для существования образование структурно

чуждых системных элементов». В этой перспективе власть, принимающая политические решения, черпает потенциалы влияния не только из дисфункциональных побочных следствий рыночного механизма, но и из того, что «интервенционистское государство быстро занимает функциональные ниши рынка» — скажем, для улучшения материальной и нематериальной инфраструктуры, расширения системы образования, гарантий против рисков занятости и т. д.

За минувшие десять лет эта дискуссия заметно отошла на задний план. Понятие кризиса в своей генерализации (кризис экономический, легитиматорный, мотивационный и т. д.) не просто утратило свою теоретическую и политическую остроту. С разных сторон единодушно констатируют, что по мере своей реализации проект интервенционистского социального государства растерял утопическую энергию. Внутри себя социальное государство — чем более успешно оно развивалось, тем заметнее — наталкивается на сопротивление частных инвесторов, которые отвечают на рост прямых и побочных расходов по заработной плате уменьшением инвестиционной готовности или же рационализациями, которые интенсивно высвобождают рабочую силу. Одновременно все отчетливее проступают теневые стороны и побочные следствия самих достижений социального государства:

«Административно-правовые средства реализации социально-государственных программ не суть средства пассивные, как бы лишенные всяких свойств. Напротив, с ними связана практика обособления фактических обстоятельств, нормализации и надзора, чья овеществляющая и субъективирующая власть вплоть до тонкостей повседневного общения изучена Фуко... Короче говоря, проекту социального государства как таковому присуще противоречие между целью и методом». В силу исторических развития — переплетений международного рынка и концентраций капитала, но и глобального обмена вредными и ядовитыми веществами и сопутствующих ему всеобщих опасностей для здоровья и разрушений природы (см. выше) — также и вовне к диапазону компетенции национального государства предъявляются чрезмерные требования.

Более или менее растерянная реакция на такие развития отчетливо видна в формуле

«новой необозримости» (Хабермас). Она справедлива и для двух других ситуаций: во-первых, для

расшатывания социальной структуры и политического поведения избирателей, которое в последние десять лет стало тревожным фактором политики; во-вторых, для

мобилизации граждан и гражданских протестов, а также для различных

социальных движений, которые весьма эффективно выступают по всем вопросам, затрагивающим их интересы.

Во всех западных демократиях партийные центры теряются в догадках по

поводу растущей доли переменных избирателей, из-за которых политический гешефт становится непредсказуем. Если, например, в 60-е годы в ФРГ еще рассчитывали круглым счетом на 10 % переменных избирателей, то ныне, по данным различных исследований, их доля оценивается в 20–40 %. Исследователи электората и политики единодушны в диагнозе: переменные избиратели с их «ртутной текучестью» ввиду важности малого большинства в будущем станут на выборах решающей силой. В инверсии это означает следующее: партии все меньше могут опираться на «постоянный электорат» и всеми доступными им средствами вынуждены перевербовывать гражданина — а ныне в особенности и гражданку. Одновременно как раз благодаря заметной уже пропасти между притязаниями населения и их представительством в спектре политических партий гражданские инициативы и новые общественные движения получают совершенно непредусмотренную политическую силу и широкую поддержку.

Хотя оценка всех этих «диссонирующих» развития колеблется в зависимости от их

политического места и хотя в этом «разволшебствовании государства» во многом заявляют о себе элементы «размывания границ политики», данные диагнозы эксплицитно или имплицитно, фактически или нормативно в конечном счете остаются соотнесены с представлением о

политическом центре, который имеет или должен иметь свое место и свои средства влияния в демократических институтах политико-административной системы. Здесь же мы, напротив, попытаемся обрисовать тезис, что предпосылки такого раздела политики и неополитики в ходе рефлексивной модернизации становятся непрочны. За формулой «новой необозримости» прячется глубокое

системное изменение политического, а именно в двояком отношении: во-первых,

а) в утрате власти, которая происходит с централизованной политической системой в ходе осуществления и соблюдения гражданских прав; во-вторых,

б) в социально-структурных изменениях, связанных с переходом от неополитики к субполитике, а при этом развитии давняя «формула примирения» — технический прогресс равен прогрессу социальному — как будто бы теряет условия своего применения. Обе перспективы складываются в «размывание границ политики», возможные последствия которого в заключение будут намечены по трем сценариям[21].

3. Демократизация как утрата политикой власти

Не несостоятельность, но

успешность политики привела к утрате государством интервенционной власти и к размыванию места политики. Можно даже сказать: чем успешнее в этом столетии была борьба за политические права, чем успешнее эти права реализовывались и

наполнялись жизнью, тем настойчивее подвергался сомнению примат политической системы и тем фиктивнее одновременно становилось провозглашаемое сосредоточение решений в верхах политико-парламентской системы. В этом смысле политическое развитие во второй половине XX века переживает

разрыв в своей непрерывности, причем не только в отношении полей активности технико-экономического развития, но и в своих внутренних обстоятельствах: понятие, основы и инструменты политики (и неополитики) становятся нечеткими, открытыми и требуют исторически нового определения.

Центровка полномочий решения в политической системе, предусмотренная в проекте буржуазного индустриального общества соотношением, основана на наивном представлении, что, с одной стороны, можно осуществить демократические права граждан, с другой же — сохранить в сфере поисков политических решений иерархические авторитарные отношения. В основе монополизации демократически оформленных, политических прав на решение, по сути, лежит противоречивый образ

демократической монархии. Правила демократии ограничены выборами политических представителей и участием в политических программах. Заняв высокий пост, не только сам «монарх на время» развивает диктаторские качества руководства и авторитарно реализует свои решения сверху вниз, но и затронутые решениями инстанции, группировки и гражданские инициативы тоже забывают свои права и становятся «демократическими

вассалами», которые, не задавая вопросов, принимают претензию государства на господство.

В ходе рефлексивной модернизации эта перспектива во много раз усиливается: становится все яснее, что именно с реализацией демократических прав нахождение политических «решений» приобретает

случайный характер. В сферах политики (и субполитики) нет ни единственного, ни «наилучшего» решения — их всегда

несколько. В результате процессы политических решений, на каком бы уровне они ни происходили, уже нельзя понимать просто как осуществление некой модели, которая за ранее разработана какими-то вождями или мудрецами и рациональность которой не подлежит обсуждению и может или должна реализоваться даже наперекор воле и «иррациональному сопротивлению» подчиненных инстанций, объединений и гражданских инициатив. Как формулирование программы и поиски решения, так и их реализацию необходимо понимать, скорее, как процесс

коллективной деятельности, а в лучшем случае это означает также процесс коллективного обучения и коллективного творчества. Но в силу этого официальные полномочия политических институтов с необходимостью сконцентрируются. Политико-административная система тогда не может более быть единственным и центральным местом политического процесса. Именно вместе с демократизацией

поперек формального вертикального и горизонтального членения полномочий и компетенции возникают сетки договоренностей и соглашений, выторговывания, перетолкования и возможного сопротивления.

Представление о центре политики, культивируемое в модели индустриального общества, основано, таким образом, на своеобразном

расщеплении, располвинивании демократии. С одной стороны, поля деятельности субполитики остаются свободны от применения демократических норм (см. выше). С другой же — политика и внутренне, в соответствии с систематически подогреваемыми внешними притязаниями, несет в себе монархические черты. По отношению к администрации и объединениям «политическое руководство» не может не развить сильной руки, а в конечном счете диктаторской власти осуществления. По отношению к гражданам оно — равное среди равных и должно прислушиваться к ним и принимать всерьез их заботы и страхи.

Здесь не только обобщенно отражается принуждение всей и всяческой деятельности к прекращению вопросов, сокращению дискуссий и согласований. Здесь находят свое выражение и имманентные напряженные отношения и противоречия в структуре политико-демократической системы, скажем, отношения между парламентскими дебатами и общественным мнением и неким исполнительным органом, который, с одной стороны, подотчетен парламенту, с другой же — «успешность его деятельности» оценивается по той силе, с какой он способен провести решения в жизнь. В особенности система «предвыборной борьбы»

принуждает к взаимовменению компетенции решения — будь то в провозглашении успехов прежней политики, будь то в ее осуждении, — которые опять-таки питают и обновляют реальную

фикцию квазидемократического «временного диктатора». Здесь

системно обусловлено приходится допускать, будто назначенное правительство и поддерживающие его партии отвечают за все хорошее и плохое, что имеет место в течение

срока их полномочий, о чем речь явно могла бы идти только в случае, если бы это правительство как раз не было тем, что оно есть: демократически избранным и действующим в обществе, где все инстанции и граждане располагают многообразными возможностями участия в решениях именно благодаря осуществлению демократических прав и обязанностей.

В этом смысле в модели специализируемости и монополизируемости политики в той политической системе, как она изначально пропагандируется в проекте гражданского индустриального общества, демократизация и (демократизация, модерн и контрмодерн уже в принципе сплавлены воедино. С одной стороны, центровка и специализация политической системы и ее институтов (парламента, исполнительной власти, администрации и т. д.)

функционально необходимы. Только так и можно вообще организовать процессы формирования политической воли и представительства гражданских интересов и групп. Только так возможно и практиковать демократию в смысле выбора политического руководства. Таким образом из инсценировок политики снова и снова возникает

фикция управляющего центра современного общества, где в конечном счете через все вычленения и переплетения сходятся нити политической интервенции. С другой стороны, такое авторитарное понимание высших политических позиций как раз

при осуществлении и соблюдении демократических прав систематически

подрывается и становится ирреальным. Демократизация в этом смысле приводит к тому, что политика как бы сама лишает себя власти и места, и, во всяком случае, в итоге происходит вычленение участия в решении, контроля и возможностей сопротивления.

Хотя нам далеко еще до конца этого пути, в целом все же справедливо: везде, где обеспечены права, перераспределены социальные нагрузки, стало возможно участие в решениях, активизируются граждане, — границы политики все больше размываются и генерализируются; параллельно представление о центровке иерархической власти в принятии решений становится в верхах политической системы воспоминанием о до-, полу- и формально-демократическом прошлом. В целом в юридически обеспеченных демократиях порой имеют место

и моменты самоусиления. Небольшой прирост

соблюденной демократии порождает все новые масштабы и притязания, которые при всем расширении опять-таки заставляют настроение измениться в сторону недовольства «застоем» и «авторитарным характером» существующих отношений. В таком смысле «успешная» политика в демократии может привести к тому, что институты политической системы утратят вес, лишатся своей сути. Стало быть,

развитая демократия, в которой граждане сознают свои права и наполняют их жизнью, требует другого понимания политики и прочих политических институтов, нежели общество, находящееся на пути к ней.

Соблюдение гражданских прав и вычленение культурной субполитики

Для ограничения политической власти развитые демократии Запада создали множество способов контроля. Уже в начале этого развития, в XIX веке, появилось

разделение властей, которое институционально обеспечивает контрольные функции не

только за парламентом и правительством, но и за

судебными органами . С развитием ФРГ была юридически и социально реализована

тарифная автономия . Тем самым центральные вопросы политики занятости препоручены упорядоченному соглашению контрагентов рынка труда, а государству вменен в обязанность нейтралитет в трудовых конфликтах. Один из последних шагов на этом пути — правовая защита и содержательное наполнение

свободы печати , которая в сочетании со СМИ (газетами, радио и телевидением) и новыми техническими возможностями создает многообразно дифференцированные

формы общественного мнения . Даже если эти последние отнюдь не преследуют благородных целей просвещения, а являются — и даже в первую очередь — «наемниками» рынка, рекламы, потребления (будь то всевозможных товаров, будь то институционально изготовленной информации) и, возможно, порождают или усиливают безмолвность, неконтактность, даже глупость, то все же остается фактическая или потенциальная контрольная функция, которую управляемое СМИ общественное мнение исполняет относительно политических решений. Таким образом в ходе реализации основных прав создаются и обретают стабильность центры субполитики — причем ровно в той мере, в какой эти права содержательно наполнены и защищены в своей самостоятельности от вмешательства политической (или экономической) власти.

Если этот процесс реализации гражданских и основных прав на всех его этапах толковать как процесс

политической модернизации , становится понятно на первый взгляд парадоксальное высказывание: политическая модернизация

лишает политику власти, размывает ее границы и политизирует общество, — а точнее, обеспечивает мало-помалу возникающим при этом центрам и сферам активности субполитики шансы внепарламентского со-и контрконтроля. Таким образом вычленяются более или менее четко дефинированные сферы и средства частично автономной политики содействия и противодействия, основанные на завоеванных и защищенных правах. А это означает также: через осуществление, расширительное толкование и оформление этих прав соотношение сил внутри общества несколько изменилось. «Верхи» в политической системе столкнулись с кооперативистски организованными противниками, с «дефинирующей силой» управляемого СМИ общественного мнения и т. д., которые способны в значительной степени соопределять и изменять повестку дня политики. Суды тоже становятся повсеместными контрольными инстанциями для политических решений; причем, что характерно, как раз в той мере, в какой, с одной стороны, судьи осуществляют свою «судейскую независимость» даже вопреки политическим симпатиям, а с другой стороны, граждане из покорного атрибута государственных указов становятся участниками политики и в случае необходимости пытаются обжаловать свои права даже

против государства.

Лишь мнимо парадоксально, что этот вид

«структурной демократизации» происходит помимо парламентов и политической системы. Здесь зримо проступает

противоречие , в какие процессы демократизации попадают на стадии рефлексивной модернизации: с одной стороны, на фоне

осуществленных основных прав вычленяются и оформляются возможности участия в

управлении обществом и возможности контроля во многих сферах субполитики. С другой стороны, это развитие проходит мимо исконной колыбели демократии — парламента. Формально существующие права и компетенции на принятие решений истончаются. Политическая жизнь в изначальных центрах формирования политической воли теряет содержательность, грозит окостенеть в ритуалах.

Иными словами, наряду с моделью

специализированной демократии все более реальными становятся формы

новой политической культуры, через которые разнообразные центры субполитики, опираясь на соблюденные основные права, влияют на процесс формирования и осуществления политических решений. Все это, конечно, не означает, что государственная политика полностью утрачивает влияние. Она по-прежнему сохраняет свою монополию в важнейших областях внешней и военной политики, а также в использовании государственной власти для поддержания «внутренней безопасности». Но что речь здесь идет о важнейшей сфере влияния государственной политики, видно лишь из того, что со времен революций XIX века существует

относительно тесная связь между мобилизацией граждан и технико-финансовым обеспечением полиции. И ныне подтверждается — скажем, на примере дискуссии о высоких технологиях, — что исполнение государственной власти и политическая либерализация безусловно взаимосвязаны.

Новая политическая культура

Основные права являются в этом смысле главными звеньями децентрализации политики, причем действуют как долговременные усилители. Они предоставляют многообразные возможности толкования, а в измененных исторических ситуациях — новые отправные точки для опровержения ныне действующих, ограничительно-избирательных интерпретаций. Последний на сегодняшний день пример тому —

широкая политическая активизация граждан, которые в дотоле невиданном многообразии форм — от инициативных групп до так называемых «новых общественных движений» и альтернативной, критической профессиональной практики (у врачей, химиков, физиков-атомников и т. д.) — воспринимают свои пока лишь формальные права во внепарламентской прямоте и наполняют их тем жизненным содержанием, которое считают для себя желанным. Именно такая активизация граждан по самым разнообразным темам приобретает особое значение, ибо для них открыты

и другие центральные форумы субполитики (судопроизводство и общественное мнение СМИ), которые, как показывает развитие, по меньшей мере выборочно можно весьма эффективно использовать именно для осуществления их интересов (в защите окружающей среды, в движении против атомной энергетики, в защите информации).

Здесь-то и проявляется «эффект усилителя»: основные права могут осуществляться

постепенно и развиваться,

подкрепляя друг друга, а тем самым усиливая и «мощь сопротивления» «базиса» и «подчиненных инстанций» непопулярным вмешательствам «сверху». Все демоскопические исследования говорят о растущем самосознании и заинтересованности граждан в участии

столь же впечатляюще, сколь многообразие изменчивых гражданских инициатив и политических движений свидетельствует об авторитарном понимании демократии как о «сопротивлении государственной власти», пусть даже для ученых, которые по давней доброй привычке рассматривают политическую систему как место политики, это выглядит неудачной попыткой политического воздействия. Но это очередной логический шаг после осуществления демократических прав, причем шаг в направлении

реальной демократии. В таких многообразных развитиях заявляет о себе

обобщение политической деятельности, темы и конфликты которой определяются уже не одним только завоеванием, но и оформлением и использованием прав всем обществом в совокупности.

Основные права с универсалистским притязанием на значимость, каковые осуществились в западных обществах за добрые две сотни лет, прорывами и скачками, но в целом все же в (покуда)

направленном процессе, образуют, стало быть, шарниры политического развития: с одной стороны, они завоеваны парламентскими средствами; с другой — вызываемые ими к жизни центры субполитики могут развиваться и вычлениваться помимо парламентов, открывая тем самым новую страницу в истории демократии. Проиллюстрируем этот тезис на примере двух вышеназванных

мест и форм субполитики : судопроизводства и общественного мнения, создаваемого СМИ.

В профессиональном положении

судьи , защищенном в ФРГ совокупностью нормативных актов, регулирующих правовое положение государственных служащих, отчасти благодаря новым формам соблюдения и толкования, отчасти же благодаря внешним изменениям, зримо проявляется частичная автономия пространства свободы решений, которая, как с удивлением обнаруживают и сами судьи, и общественность, используется в последние годы также и

против них. По своему происхождению эта автономия основана на издавна существующей законодательной конструкции — «независимости судей». Тем не менее лишь с недавних пор — в частности, вероятно, по причине смены поколений и по причине процессов онаучивания — она приводит к активному осуществлению этой независимости и сознательному судебному ее оформлению. Из многих условий, имеющих здесь первоочередное значение, следует особо выделить два: благодаря рефлексивному онаучиванию предметов и процессов решений, связанных с вынесением судебного приговора,

изначально действовавшие «конструкции объективного принуждения» утратили прочность и, по крайней мере отчасти, индивидуально, стали доступны решению . Во-первых, это касается научного анализа толкования законов и вынесения судебных решений, который позволил видеть и использовать

варианты судопроизводства в рамках, заданных буквой закона и нормами его толкования, — варианты, до той поры скрытые под набором общепринятых официальных концепций. Стало быть, онаучивание раскрыло здесь полезные приемы аргументации и таким образом подвергло профессию судьи дотоле неизвестной, внутренней,

профессионально-политической плюрализации.

Эта тенденция подкрепляется тем, что многие темы и конфликтные ситуации, рассматриваемые в суде,

потеряли свою социальную однозначность. Во многих центральных конфликтных полях — особенно в сфере ядерных технологий и экологических проблем, хотя также и в семейном и брачном праве, а также в праве трудовом — у экспертов и контрэкспертов существуют непримиримые разногласия. Таким образом, решение возвращается к судье — отчасти потому, что уже сам выбор экспертов содержит элементы предварительного решения, а отчасти потому, что судье поручено взвесить аргументы сторон и их мотивации и заново их упорядочить для вынесения приговора. Систематическая самодестабилизация наук, порождаемая перепроизводством гипотетических, бессвязных и противоречивых частичных результатов (см. главу VII), захватывает правовую систему и открывает «независимому» судье пространства решения, т. е. плюрализирует и политизирует вынесение приговора.

Для законодателя отсюда следует вот что: он все чаще попадает на скамью ответчиков. Судебные ревизионные процессы стали уже чуть ли не нормой рассмотрения оспариваемых общественностью административных актов (например, это касается решений о том, строить ли атомные электростанции, и если да, то как и где). Более того, все менее ясно и все менее предсказуемо, каким образом возникают эти процессы в ходе продвижения административных актов по судебным инстанциям и, во всяком случае, как долго они продолжаются. Соответственно появляются серые зоны неопределенности, усиливающие впечатление, что государство ни на что не влияет. В переносном смысле это справедливо для законодательных инициатив вообще. Они так или иначе быстро натываются на стены аналогичных или вышестоящих ведомств, на уровне земель, страны или ЕС. В конфликтных ситуациях ожидаемые судебные ревизионные процессы создают для потенциального приговора судьи своего рода вездесущность в рамках политической системы. Право на

свободу печати со всеми возможностями и проблемами его толкования также дает множество отправных точек для вычленения крупных и частичных общественных мнений (от всемирной телесети до школьной газеты) с сильно партикуляризованными в частности, но в сумме значительными шансами воздействия на дефиницию социальных проблем. Эти последние, конечно, ограничиваются и контролируются материальными условиями производства информации и правовыми и социальными рамочными условиями. Однако же они могут — как показывают высокая политическая конъюнктура экологических тем, а также подъем и спад социальных движений и субкультур вообще — приобрести важное значение для общественного, а стало быть, политического восприятия проблем. Это видно, например, из того, что зачастую дорогостоящие и объемные научные исследования по-настоящему принимаются ведомством-заказчиком в расчет, только когда о них сообщает телевидение или популярный печатный орган. Политическое руководство читает журнал «Шпигель», а не отчет об исследованиях; и не (только) потому, что этот отчет якобы нечитабелен, а потому, что, согласно социальной конструкции, «Шпигель» — совершенно независимо от содержаний и аргументов — печатает политически объективную информацию. Здесь результат разом утрачивает всякий подспудный характер. Каждый знает: он бродит в головах тысяч других людей и тем самым бросает вызов собственной компетентности индивида, вынуждая его публично высказаться «за» (или «против»).

Nota bene — административную монополию юристов) и сужают пространство свободы политического оформления.

Дефинирующая власть проблем и приоритетов, которая способна развиваться в таких условиях (и которую отнюдь не нужно путать с «властью редакторов», ибо она совпадает с несамостоятельной редакционной работой), по сути своей основана безусловно на тиражах, количествах включений, а в итоге на том факте, что политическая сфера лишь с риском потери голосов электората может игнорировать

опубликованное общественное мнение. Поэтому оно усиливается и стабилизируется телевизионными привычками и новыми информационными технологиями, а вдобавок наращивает свое значение путем демистификации научной рациональности в условиях риска (см. выше). Публикация в СМИ выхватывает из великого множества гипотетических данных отдельные информации, которые вдобавок получают толику известности и правдоподобия, что для чисто научного результата в нынешних условиях недостижимо. Вывод для политики сводится к следующему: попавшие в газетные шапки сообщения о находках отравляющих веществ на свалках мгновенно меняют политическую повестку дня. Если общественное мнение считает, что леса умирают, придется сменить приоритеты. Если на общеевропейском уровне наука твердо заявила, что формальдегид действительно вызывает рак, вся политика в области химии оказывается под угрозой краха. На все это — в дискуссиях ли, в юридических ли документах или финансовом планировании — необходимо реагировать политическим спектаклем. При этом дефинирующая власть созданного СМИ общественного мнения, разумеется, отнюдь не способна предупредить политическое решение; со своей стороны она остается многообразно вплетена в экономические, правовые и политические предпосылки и концентрации капитала в сфере информации.

Упомянем здесь еще одно поле субполитики:

сферу частной жизни, приватность. Рождаемость — ключевая величина для всех областей политики, равно как и вопрос, каким образом распределяются родительские обязанности, например, хочет ли мать продолжить работу или полностью посвятить себя семье. Все вопросы, на которые мужчины и женщины, формируя свои жизненные обстоятельства, должны найти ответ, имеют и весьма существенный политический аспект. В этом смысле «проблемные индикаторы» — рост числа разводов, падение рождаемости, увеличение количества небрачных связей — отражают не только ситуацию в семейных и внесемейных взаимоотношениях мужчин и женщин, но и сигнализируют о быстро меняющихся предпосылках для всякого политического планирования и управления. Вмешательству извне выносимые здесь решения (например, заводить ли детей, сколько и когда) не поддаются, даже если с ними связаны важнейшие изменения в сфере пенсионной политики, образовательного планирования, политики рынка труда, социального права и социальной политики. Причем именно потому, что такие возможности решения, согласно конституционно гарантированной организации семьи и частной жизни, относятся исключительно к компетенции совместно живущих пар.

Правовые гарантии частной сферы существуют с давних пор. Но долгое время они не имели столь большого веса. Лишь с

детрадиционализацией жизненных сфер возникают такие пространства свободы, а вместе с ними неопределенность в социальных основах политики. Равенство женщин в области образования и массовый их выход на рынок труда означают, с одной стороны, всего-навсего распространение изначально гарантированного равенства возможностей на группу, ранее из него исключенную. С другой стороны, последствия этого

коренным образом меняют ситуацию

повсюду: в семье, браке, родительских обязанностях, в развитии рождаемости, безработицы, в социальном праве, системе занятости и т. д. В этом смысле процессы индивидуализации расширяют субполитические пространства свободы формирования и решения в частной сфере, причем ниже порога возможностей государственного воздействия. Здесь опять-таки претензия женского движения («частное есть политическое») исторически все больше соответствует складывающемуся положению вещей.

Эти разные субарены культурной и социальной субполитики — общественное мнение СМИ, судопроизводство, частная сфера, гражданские инициативы и новые общественные

движения — в сумме представляют собой отчасти гарантированные институционально, отчасти внеинституциональные

формы выражения новой политической культуры . А она, с одной стороны, не поддается категоризирующему вмешательству, с другой же стороны, сама, именно в своих текущих формах, стала важным фактором воздействия на политическое и технико-экономическое развитие ФРГ за последние два десятилетия. Ее эффективность не в последнюю очередь основана на том, что бумажные буквы права наполняются социальной жизнью, точнее: мало-помалу ломается и преодолевается избирательное толкование универсально действующих основных прав. Как кодовый пароль этого развития во многих социологических опросах и политических дискуссиях — для кого-то призраком, для кого-то надеждой — бродит понятие

партиципации , участия. Начавшееся в связи с этим развитие отнюдь не должно внушать эйфорию, его уродливые потуги на новый мистицизм необходимо критиковать, но с полным основанием можно предполагать, что качество и распространенность такого мышления и таких поисков уже навсегда изменили политический ландшафт Германии и в будущем изменят его еще более заметно.

Социальное и культурное вычленение политики в ходе ее успехов в парламентской системе не прошло бесследно и для политической социологии. Рационалистическо-иерархическая политическая модель «цель — средство» (которая всегда была фикцией, но долгое время культивировалась в исследованиях бюрократии и теории решений) утратила прочность. Ее вытеснили теории, которые делают упор на договоренностях, взаимодействии, переговорах, сетевых системах и т. д., — словом, на

независимом и процессуальном характере всех элементов политического управления, от формулирования программы до выбора мероприятий и форм их осуществления, в совокупности компетентных, затронутых и заинтересованных инстанций и актеров. Если традиционное понимание политики с известной наивностью исходило из того, что, обратившись к надлежащим средствам, политика в принципе способна достичь целей, которые она себе поставила, то при новом подходе политика рассматривается как совместные действия различных актеров, в том числе и в направлениях,

противоположных формальным иерархиям и

рассекающим установленные компетенции.

Так, исследования показали, что в системе административных исполнительных инстанций нередко отсутствуют четкие взаимоотношения авторитетов и преобладают горизонтальные каналы связи. Даже при наличии формально иерархических отношений зависимости между выше- и нижестоящими инстанциями зачастую не используются возможности вертикального воздействия. Возможности соучастия и содействия на разных стадиях политического процесса получают совершенно разные актеры и группы актеров. Все это подчеркивает

контингентность политической сферы, имеющей внешне константную формально иерархическую структуру. Одновременно это «оживление» политики становится

политическим процессом , однако же весьма небрежно осмысленным наукой. Направленность и структурированность этого процесса (скажем, в программе, мероприятии, осуществлении и т. д.) по-прежнему суть

допущения (уже по соображениям практикуемости политологического анализа). Точно так же по-прежнему существует фикция политико-административной системы как средоточия политики. Вот почему развитие, о котором мы говорим, — размывание границ политики — выпадает из поля зрения.

4. Политическая культура и техническое развитие: конец согласия на прогресс?

Модернизация в политической системе сужает свободу действий политики.

Осуществленные политические утопии (демократия, социальное государство)

сковывают — юридически, экономически, социально. Параллельно в результате модернизации в экономико-технической системе, напротив, открываются совершенно новые возможности вмешательства, с помощью которых можно упразднить культурные неизменности и основные предпосылки прежней жизни и труда. Микроэлектроника позволяет изменить систему занятости в ее социальной основе. Генная технология превращает человека в такого полубога: он способен создавать новые материалы и живые существа, которые революционизируют биолого-культурные основы семьи. Такая генерализация принципа формирования и осуществимости, распространенного ныне и на субъект, которому все это должно служить, потенцирует риски и политизирует места, условия и средства их возникновения и толкования.

Не раз подчеркивалось, что «старое» индустриальное общество было «зациклено» на прогрессе. Но, во-первых, при всей критике по его адресу — от эпохи раннего романтизма до наших дней — никогда не ставилась под вопрос та

латентная вера в прогресс, которая ныне, с ростом рисков, стала весьма сомнительной, а именно: вера в метод проб и ошибок, в возможность постепенно и систематически, несмотря на многочисленные рецидивы и проблемы с последствиями, овладеть внешней и внутренней природой (миф, который, к примеру, вопреки всей критике «капиталистической веры в прогресс» вплоть до недавнего времени был обязателен и для левых политиков). Во-вторых, сей аккомпанемент критики по адресу цивилизации

ни на йоту не умалил пробивную силу общественных изменений, происходивших под лозунгом «прогресса». Это указывает на особенности данного процесса, при котором социальные изменения могут происходить как бы «инкогнито»: «прогресс» есть нечто большее, чем идеология; он представляет собой «нормально» институционализированную

внепарламентскую активную структуру перманентного общественного изменения, где — парадоксальным образом — в экстремальном случае осуществляется даже ломка привычных отношений, при необходимости с помощью сил государственного порядка вопреки всем попыткам сохранить существующую ситуацию.

Чтобы понять легитимирующую силу согласия на прогресс, необходимо вновь вспомнить почти забытое обстоятельство:

соотношение социально-политической культуры и технико-экономического развития. В начале XX века был опубликован целый ряд классических трудов по социологии, посвященных культурному влиянию на систему труда, технологии и экономики. Макс Вебер доказал, насколько значительную роль сыграли кальвинистская религиозная этика и содержащаяся в ней «аскеза внутреннего мира» для возникновения и развития «профессионального человека» и капиталистической экономической деятельности. Более полувека назад Торстейн Веблен доказывал, что законы экономики действуют не постоянно и не могут постигаться независимо, а целиком привязаны к культурной системе общества. Когда формы общественной жизни и общественные ценности изменяются, неизбежно изменяются и экономические принципы. Если, например, большинство населения (неважно, по каким причинам) отвергает ценности экономического роста, то ставятся под вопрос все

наши представления об организации труда, критериях продуктивности и направлении технического развития и возникает новое принуждение к политическому действию. Вебер и Веблен аргументировали (по-разному) в том смысле, что труд, технические преобразования и экономическое развитие остаются связаны в рамках системы культурных норм, доминирующих ожиданий и ценностных ориентации людей.

Если эти, по сути, очевидные выводы, разделяемые и целым рядом других авторов[22], до сих пор (не считая риторических заявлений) почти не имеют практической значимости, то причина, видимо, в том, что после второй мировой войны и вплоть до 60-х годов социально-политическая культура, упрощенно говоря, оставалась во многом

стабильна. «Переменная», которая не меняется, выпадает из поля зрения, перестает быть «переменной», и потому ее значение ускользает от внимания. Ситуация резко меняется, как только эта стабильность расшатывается. Значение фонового культурно-нормативного согласия для развития экономики и техники становится зримо как бы задним числом, когда оно уже исчезает. На подъеме послевоенных лет в ФРГ (и в других западных индустриальных государствах)

экономический, технический и индивидуальный «прогресс» явно переплелись друг с другом. «Экономический рост», «повышение производительности», «технические новшества» были не только экономическими целями, соответствовавшими заинтересованности предпринимателей в приращении капитала, но и зримо для каждого вели к восстановлению общества и росту индивидуальных потребительских шансов, а также к «демократизации» некогда эксклюзивных жизненных уровней. Это сцепление индивидуальных, общественных и экономических интересов в осуществлении «прогресса», понимаемого экономически и научно-технически, на фоне военных разрушений удавалось в той мере, в какой, во-первых, действительно происходил подъем, а во-вторых, казался предсказуемым масштаб технологических инноваций. Оба условия остаются вплетены в политические надежды социального государства и таким образом стабилизируют сферы политики и неополитики «технического преобразования». В частности, эта

социальная конструкция технолога-политического согласия на прогресс основывается на следующих предпосылках, которые, впрочем, с возникновением новой политической культуры в 70-е годы утрачивают прочность.

Во-первых, это согласие базируется на общепринятой примирительной формуле

«технический прогресс равен прогрессу социальному». Допущение гласит: техническое развитие продуцирует очевидные потребительные стоимости, которые в вицеоблегчений условий труда, улучшений жизни, подъема уровня жизни и т. д. буквально ощутимы для каждого.

Лишь такое отождествление технического и социального прогресса позволяет,

во-вторых, рассматривать негативные эффекты (такие, как деквалификация, перемещения, риски занятости, опасности для здоровья, разрушение природы)

отдельно как «социальные последствия технических преобразований», причем

задним числом. «Социальные последствия» суть знаменательным образом

нанесение вреда — а именно, частные вторичные проблемы для определенных групп, которые никогда не ставят под вопрос саму социальную пользу технического развития. Разговоры о «социальных последствиях» позволяют, во-первых, отвести всякое притязание на общественное и политическое формирование технического развития, а во-вторых, уладить разногласия о «социальных последствиях»,

никоим образом не нанося вреда процессу технических преобразований. Дискутировать можно и нужно только о «негативных последствиях». Само техническое развитие остается бесспорным, закрытым для решений, следует своей имманентной логике.

В-третьих, носителями и создателями этого технолого-политического согласия на прогресс являются

конфликтные стороны индустрии: профсоюзы и работодатели. Государство выполняет лишь косвенные задачи — а именно приостанавливает «социальные последствия» и контролирует риски. Споры между тарифными партнерами вызывают только «социальные последствия». Антагонизмы в оценке «социальных последствий» изначально

предполагают согласие на осуществление технического развития. Это согласие по коренным вопросам технологического развития подкрепляется давно опробованной

общей враждебностью к «противникам техники», «разрушителям станков», «критикам цивилизации».

Все несущие опоры этого технолого-политического согласия на прогресс — разделение социальных и технических преобразований, допущение системных или объективных принуждений, формула согласия (технический прогресс равен прогрессу социальному) и первичная компетентность тарифных сторон — за последние лет десять более или менее расшатались, причем не случайно и не на основе культурно-критических интриг, а

в результате самих процессов модернизации: конструкция латентности и побочных последствий подорвана вторичным онаучиванием (см. выше). С ростом рисков предпосылки примирительной формулы о тождестве технического и социального прогресса упраздняются (см. выше). Одновременно на арену конфликтов технологии и политики выходят группы, совершенно не предусмотренные во внутрипроизводственной структуре интересов и в формах ее восприятия проблем. Например, в конфликтах по поводу атомных электростанций и предприятий по обогащению ядерных материалов предприниматели и профсоюзы — носители нынешнего технического согласия — сосланы на зрительские трибуны, тогда как сами конфликты разрешаются теперь в

прямом столкновении между государственной властью и гражданским протестом, т. е. по совершенно другому социально-политическому сценарию и между актерами, которые на первый взгляд имеют лишь одно общее — удаленность от техники.

Эта перемена арен и контрагентов тоже не случайна. Во-первых, она соответствует уровню развития производительных сил, на котором высокие технологии, сопряженные с большими рисками, — атомные электростанции, обогатительно-восстановительные производства, универсализация химических ядов — вступают в непосредственное взаимодействие с социальными сферами вне системы правил производственных игр. Во-вторых, в этом находит свое выражение растущая заинтересованность новой политической культуры в партиципации. Из конфликта по поводу предприятий, перерабатывающих ядерные отходы, «можно усвоить, что от численных меньшинств (например, «оппонирующих местных граждан») невозможно отделаться, обозвав их нарушителями спокойствия и скандалистами. Высказываемое ими несогласие имеет

показательную ценность. Оно показывает... происходящее в обществе изменение ценностей и норм или же неизвестные до сих пор различия между разными социальными группами. Существующие политические институты должны по меньшей мере относиться к этим сигналам с такой же серьезностью, как и к срокам выборов. Здесь намечается новая форма участия в политике».

В конечном счете наука как источник легитимации тоже отказывает. Об опасностях предупреждают не невежды и не новые приверженцы каменного века, а все больше люди, которые сами являются учеными, — атомники, биохимики, врачи, генетики, информатики и т. д., — а также великое множество граждан, которые непосредственно затронуты опасностями и при том вполне компетентны. Они умеют аргументировать, хорошо организованы, отчасти располагают собственными журналами и в состоянии снабдить аргументацией общественность и судебные инстанции.

Тем самым, однако, все более отчетливо складывается открытая ситуация: технико-экономическое развитие утрачивает свое культурное согласие, причем как раз в тот момент, когда ускорение технического преобразования и диапазон общественных изменений приобретают исторически невиданный размах. Однако же в самом

процессе технических преобразований утрата прежнего доверия к прогрессу ничего не меняет. Именно это несоответствие подразумевается понятием технико-экономической

«субполитики»: диапазон общественных изменений обратно пропорционален их легитимации, причем это

никак не меняет пробивной силы технического преобразования, которое именуется «прогрессом».

Страх перед «прогрессом» генной технологии ныне распространен очень широко. Проводятся парламентские слушания. Протестует церковь. Даже верующие в прогресс ученые не могут отделаться от этого страха. Но все это происходит как

отклик на давно принятые решения. Более того: никакого решения не было. Вопрос «нужно ли?» никогда не ставился. Не работали никакие комиссии. Все просто идет «своим чередом». Эпоха человеческой генетики началась давным-давно, хотя мы все еще спорим, говорить ли ей «да» или «нет». Конечно, можно говорить прогрессу «нет»,

но этим его не остановить. Прогресс — это бланковый чек на осуществление

по ту сторону согласия или несогласия. Демократически легитимированная политика весьма восприимчива к критике, но технико-экономическая субполитика к той же критике относительно

невосприимчива, а ведь именно технико-экономическая субполитика, бесплановая, закрытая для решений, как раз и осознается как общественное изменение — уже в процессе своего осуществления. Эту особую формирующую и «пробивную» силу субполитики мы и обсудим ниже на экстремальном примере — примере медицины.

5. Субполитика медицины. Исследование экстремальной ситуации

Согласно объявленному самопониманию, медицина служит здоровью; фактически она создала совершенно новые ситуации, изменила отношение человека к самому себе, к болезни, страданию и смерти — и даже изменила мир. Чтобы осознать

революционные воздействия медицины, вовсе незачем углубляться в дебри оценок всемогущества или несостоятельности медицины.

Можно спорить о том, вправду ли медицина улучшила здоровье людей. Бесспорно, однако, что она способствовала увеличению численности людей. За последние 300 лет население

Земли выросло почти в десять раз. В первую очередь это следует отнести за счет снижения младенческой смертности и за счет возрастания ожидаемой продолжительности жизни. В Центральной Европе представители разных социально неравных слоев могут рассчитывать (если условия жизни в будущем резко не ухудшатся) достичь

в среднем 70-летнего возраста, который еще в XIX веке считался «библейским». Здесь во многом отражаются и гигиенические улучшения, немыслимые без медицинских исследований. Смертность снизилась, поскольку улучшились условия жизни и питание и поскольку впервые были найдены эффективные средства обуздания инфекционных болезней. В итоге мы имеем стремительный рост населения как раз в бедных странах третьего мира, с вытекающими отсюда важнейшими политическими проблемами голода и нищеты, а также крайнего неравноправия в глобальном масштабе. Совсем другой аспект изменяющих общество воздействий медицины связан с

разъединением диагностики и терапии на современном этапе развития медицины. «Естественнонаучный диагностический инструментарий, множество психодиагностических теорий и номенклатур и сциентистский интерес, проникающий все дальше в "глубины" человеческого тела и человеческой души, ныне — уже вполне открыто — отделились от терапевтической сферы и прямо-таки... обрекли ее на "ковыляние в хвосте"». Следствие этого —

резкий всплеск так называемых «хронических заболеваний», т. е. заболеваний, которые диагностируются благодаря наличию высокочувствительных медицинских приборов,

однако же не могут быть излечены, ибо эффективные терапевтические методы не разработаны и даже не стоят на повестке дня.

На самом передовом своем этапе медицина продуцирует ситуации заболеваний, определяемых ею самой (предварительно или окончательно) как неизлечимые; представляя собой совершенно новые опасности или жизненные ситуации, они располагаются

поперек всей нынешней системы социальных неравенств: в начале XX века примерно 40 человек из 100 умирали от

острых заболеваний. В 1980 году такие заболевания составляли лишь 1 % от всех смертей. Доля

хронических, больных за тот же период увеличилась с 46 % до более чем 80 %. При этом смерти все чаще предшествуют долгие страдания. Из 9,6 млн граждан ФРГ, зарегистрированных при малой переписи населения 1982 года как не вполне здоровые, около 70 % страдали хроническими заболеваниями. Излечение в смысле исконной задачи медицины в ходе такого развития все больше становится исключением. Однако данная ситуация свидетельствует не только о несостоятельности. Вследствие своих

успехов медицина опять-таки «взваливает» на людей болезни, которые теперь с помощью высоких технологий способна диагностировать.

Данное развитие знаменует медицинский и общественно-политический перелом, широкомасштабные последствия которого ныне вообще осознаются и учитываются лишь в самых начатках: в ходе своего профессионализированного развития в Европе XIX века медицина технически избавила человека от страданий, профессионально их монополизировала и распоряжалась ими. Волей сторонних экспертов болезнь и страдание паушально делегировались институту медицины и, изолированные в «больницах», тем или иным способом «оперативно устранялись» врачами, причем больные во многом пребывали в неведении. Ныне ситуация изменилась: больных, которых систематически держали в неведении насчет болезни, оставляют наедине с болезнью и препоручают другим, опять-таки

совершенно неготовым к этому институтам — семье, профессиональной сфере, общественности и т. д. Стремительно распространяющийся СПИД — ярчайший тому пример. Болезнь как продукт диагностического «прогресса» в том числе тоже

генерализируется. Все и каждый актуально или потенциально «болеют» — независимо от самочувствия. Соответственно, на свет Божий опять извлекают образ «активного пациента», требуют «рабочего альянса», при котором пациент становится «соцелителем» своей медицински установленной болезненной ситуации. Сколь непосильна для пациентов эта задача, показывает необычайно высокий уровень самоубийств. Например, у хронических почечных больных, чья жизнь зависит от регулярного гемодиализа, доля самоубийств на всех возрастных уровнях в 6 раз выше средних показателей по населению.

Вполне оправданно разгораются страсти вокруг уже вошедшей в медицинскую практику возможности

оплодотворения *in vitro* и переноса эмбриона. Дискуссия ведется публично под вводящим в заблуждение лозунгом «младенец из пробирки». Суть этого «достижения технического прогресса» сводится к тому, «что в первые 48–72 часа после оплодотворения только-только начавший делиться человеческий эмбрион переносится из яйцевода женщины в лабораторные условия (т. уйго = в пробирке). Соответствующие яйцеклетки извлекают из женского организма путем оперативного вмешательства (лапароскопии). Предварительно с помощью гормонов проводится стимуляция яичников, чтобы за один цикл созрело несколько яйцеклеток (гиперовуляция). Яйцеклетки оплодотворяются в растворе сперматозоидов и культивируются до стадии деления на 4–8 клеток. Затем, когда скоро развитие идет нормально, их переносят в матку».

Исходным мотивом оплодотворения *in vitro* является настойчивое желание бесплодных женщин иметь детей. На сегодняшний день большинство клиник предлагают эту методику исключительно женатым парам. С одной стороны, ввиду широкого распространения небрачных союзов это ограничение выглядит анахронизмом. С другой же — предоставление данной техники оплодотворения одиноким женщинам приведет к совершенно новым социальным отношениям, последствия которых совершенно непредсказуемы. Ведь речь здесь идет уже не о матерях, ставших одиночками в результате развода, а о

сознательном материнстве без отца, которое исторически еще никогда не имело места. Оно предполагает донорское семя

вне какого бы то ни было партнерства. В социальном смысле появятся дети

без отцов, у них будет только один родитель — мать, а отец редуцируется до анонимного донора семени. В итоге это развитие выльется в сохранение биологического отцовства и

упразднение отцовства социального (причем все опять-таки социальные проблемы

генетического отцовства: происхождение, наследственность, притязания на алименты и наследство и т. д. — совершенно неясны).

Другая лавина проблем возникает, если задать простой вопрос о том, как обращаться с эмбрионами

до пересадки: когда именно развитие эмбриона можно считать «явно

нормальным и позволительно пересадить его в матку? С какого момента оплодотворенные яйцеклетки

еще не суть нерожденное человеческое существо, а с какого —

уже таковое? «Оплодотворение in vitro позволяет манипулировать человеческими эмбрионами вне организма женщины и тем самым открывает широкое поле для технических вмешательств, которые отчасти уже могут быть реализованы, а отчасти могут быть разработаны в дальнейшем». Так, по образцу уже существующих банков спермы подвергнутые глубокой заморозке эмбрионы могут храниться в соответствующих «эмбриональных банках» и продаваться (?). Доступность эмбрионов обеспечивает науку долгожданными «экспериментальными объектами» (нет слов!) для эмбриологических, иммунологических и фармакологических исследований. «Эмбрионы» — этим словом именуют первоначало человеческой жизни — можно размножить делением. Возникающие при этом генетически тождественные близнецы могут быть использованы для определения половой привязки или диагностики наследственных и прочих заболеваний. Здесь заложены истоки новых дисциплин и практик: генная диагностика и терапия на стадии зародыша[23] — со всеми вытекающими отсюда важнейшими вопросами: что представляет собой социально и этически «желательный», «применимый», «здоровый» наследственный материал? Кто должен проводить — эти слова с трудом сходят с моего пера — «контроль качества эмбрионов», на каких правах и по каким критериям? Что произойдет с «забракованными эмбрионами», которые не удовлетворяют требованиям этого пренатального, «земного приемочного контроля»????

Многие

этические вопросы, возникающие ввиду этих и других, здесь не названных, но точно так же упраздняющих теперешние культурные константы, медико-технических развития[24], ныне уже замечены и компетентно обсуждаются. Здесь в центр внимания попадает совсем другой аспект, который теперешние дискуссии затрагивают лишь маргинально:

структура действия (медицинского) «прогресса» как стандарта преобразования условий жизни общества, осуществляемого без одобрения. Как возможно, что все это происходит и что критическая общественность вынуждена лишь

задним числом предъявлять обвинения профессиональному оптимизму малочисленной гильдии специалистов по человеческой генетике (которые сами по себе не имеют влияния и целиком сосредоточены на своих научных догадках), задавая им вопросы о последствиях, целях, опасностях и проч. этой

совершаемой втихомолку социальной и культурной революции?

С одной стороны, здесь как будто бы с помощью того же самого (медико-технического «прогресса») создается нечто беспримерное. Даже если признать, что человеческие разработки в принципе содержат элемент самосозидания и самоизменения. Даже если считать, что история изначально предполагает и развивает способность изменять человеческую природу и воздействовать на нее, творить культуру, манипулировать окружающей средой и заменять принуждения естественной эволюции искусственно созданными условиями. Так или иначе, это не может затушевать тот факт, что здесь совершен прорыв в совершенно новые сферы. Речь о «прогрессе» предполагает наличие

субъекта, которому все это в конечном счете пойдет на пользу. Теперь мышление и деятельность свободно полагают все осуществимым и направлены на противоположное — на объект, на

овладение природой и возможное благодаря этому умножение общественного богатства. И если таким образом принципы технологической осуществимости и формируемости захватывают природные и культурные условия воспроизводства самих субъектов, то в мнимой непрерывности упраздняются основы модели прогресса: соблюдение интересов bourgeois отменяет условия существования citouen, который согласно распределению ролей

в индустриальном обществе в конечном счете должен держать в руках демократические нити развития.

Овладение природой в его генерализации исподволь становится в полном смысле слова техническим овладением субъектом — причем культурные масштабы просвещенной субъективности, которой это овладение изначально должно было служить, уже не существуют.

Это тайное установление эпохи человеческой истории, с другой стороны, происходит так, что здесь

не нужно преодолевать никакие барьеры согласия. Меж тем как в ФРГ (и других странах) экспертные комиссии вырабатывают свое заключение о возможных и, в сущности, непредсказуемых последствиях данного шага (что означает также: до политических и законодательных выводов еще очень далеко),

число зачатых *in vitro* детей быстро растет. В 1978–1982 годах зафиксировано чуть более 70 подобных случаев. К началу 1984 года — в одной только ФРГ — их было уже свыше 500, а количество детей составило 600. Клиники, осуществляющие оплодотворение т уйго (в частности, в Эрлангене, Киле, Любеке), располагают длинными списками ожидания. Стало быть, на основании своей активной структуры медицина обладает

мандатом на свободу действий в целях осуществления и опробования своих «инноваций». Ведь общественную критику и дебаты о том, что исследователю разрешено, а что нет, всегда можно подкосить

политикой «свершившихся фактов». Таким образом, безусловно, возникают и научно-этические вопросы. Однако, взятые отдельно, они лишь

редуцируют проблему, напоминая попытку свести «власть монархии» к «морали королевского дома». Это заметно еще ярче, если сопоставить

методы и

диапазон изменяющих общество решений в политике и в медицинской субполитике.

То, что в сфере медицины при всей критике и скепсисе касательно прогресса до сих пор возможно и как бы вполне естественно, применительно к официальной политике означает скандал, ведь только так и можно назвать ситуацию, когда важнейшие эпохальные решения о будущем общества осуществляются

помимо парламента и общественности, а дебаты об их последствиях

ирреализуются практикой их осуществления. И здесь, пожалуй, отражается даже не несостоятельность морального качества науки.

Согласно социальной структуре, в субполитике медицины нет парламента, нет исполнительных органов, где то или иное решение можно было бы

заранее исследовать на предмет его последствий. Нет даже социального места решения, а стало быть, собственно, и фиксированного решения как такового. Вот

в этом необходимо постоянно отдавать себе отчет: в насквозь бюрократизированных, развитых демократиях Запада все и вся просвечивается на предмет правомочности, компетентности, демократической легитимации, а в то же время возможно, минуя всякий бюрократический и демократический контроль, закрытым решением и под градом всеобщей критики и скепсиса упразднить во внепарламентской норме основы прежней жизни и

прежнего образа жизни.

Таким путем одновременно возникает и сохраняется полнейший

дисбаланс между внешними дискуссиями и контролем и внутренней определяющей властью медицинской практики. Общественное мнение и политика по своему положению всегда и неизбежно «униформированы», безнадежно ковыляют в хвосте разработок, мыслят категориями моральных и общественных последствий, которые чужды мышлению и деятельности медиков. Но самое главное, они с необходимостью рассуждают об

ирреальном, еще непредсказуемом. Ведь в самом деле последствия техники внешнего оплодотворения можно эмпирически надежно изучить только

после их реализации; до тех пор все остается чистой спекуляцией.

Прямому осуществлению на живом субъекте, который соответствует критериям и категориям «медицинского прогресса», противопоставляются опасения и догадки относительно правовых и социальных последствий, спекулятивное содержание которых возрастает прямо пропорционально глубине вмешательства в теперешнее состояние культурной нормы. В переносе на политику это означает: обсуждение законов следует

за их вступлением в силу, ибо только тогда и можно увидеть их последствия.

Взаимодействие эффективности и анонимности усиливает формирующую власть медицинской субполитики. В ее сфере возможно преступать границы с естественностью, изменяющий общество размах которой далеко превосходит радиус влияния политики, к тому же иначе пришлось бы идти к осуществлению через чистилище парламентских дебатов. В этом смысле клиника и парламент (или правительство), с одной стороны, вполне сравнимы, даже

функционально эквивалентны в плане формирования и изменения социальных условий жизни, с другой же — совершенно несопоставимы, поскольку парламенту

недоступны ни решения подобного масштаба, ни подобные возможности их непосредственной реализации. Между тем как исследования и практика клиник последовательно уничтожают фундамент семьи, брака и партнерства, в парламенте и правительстве обсуждаются ориентированные на сдерживание и недопущение «ключевые вопросы» снижения расходов в системе здравоохранения, хотя и без того ясно, что благие концепции и их фактическое осуществление принадлежат двум разным мирам.

В субполитике медицины, напротив, заключены возможности бесконцептуального и беспланового нарушения границ по логике «прогресса». Оплодотворение *in vitro* поначалу тоже опробовали на животных. Конечно, можно спорить о том, насколько это дозволено. Однако важный барьер был безусловно преодолен с переносом этой методики на людей. Данный риск, являющийся вовсе не риском медицины (медика), а риском подрастающих поколений, нашим общим риском, мог и может сугубо

имманентно присутствовать в сфере медицинской практики и в господствующих там (повсюду в мире) условиях и потребностях репутации и соперничества. Все это предстает в первую очередь как «этическая» проблема медицины и воспринимается и обсуждается общественным мнением в этих категориях лишь

потому, что изначально существует социальная структура внедрения медицинских знаний в медицинскую практику «без спросу», закрытым решением, фактически исключая всякий внешний контроль и одобрение.

Это важнейшее различие между политикой и субполитикой можно сформулировать и так: демократически легитимированная политика благодаря инструментам своего влияния (право, деньги и информация, например просвещение потребителя) располагает

косвенными средствами власти, чья «затяжная реализация» (имплементация) предоставляет дополнительные возможности контроля, коррекции и смягчения. В противоположность этому субполитике прогресса свойственна

безимплементарная прямота . В ее рамках исполнительная и законодательная власть соединены в руках медицинской науки и практики (ср. в соотнесении с промышленностью: производственного менеджмента). Это модель недифференцированного полномочия на совершение юридически значимых действий, которая еще не знает разделения властей и при которой общественные цели открываются людям, ими затронутым, лишь задним числом — как побочные последствия в состоянии их реализации.

Данная структура чрезвычайно ярко заметна именно в медицинской профессии. Врачи обязаны этой формирующей властью опять-таки не своей особенной рациональности и не успехам в охране великой ценности «здоровья». Она есть, скорее, продукт и выражение

удачной профессионализации (на рубеже XX века) и одновременно, будучи соответствующим пограничным случаем, представляет общий интерес в аспекте условий возникновения формирующей субполитической власти профессий (или в их «неполных» формах: специальностей). Главное, что одной профессиональной группе удается не только институционально гарантировать свое воздействие на

исследования и таким образом открыть для себя источники инновации, не только существенно (со)определять нормы и содержания

профессиональной подготовки и таким образом обеспечивать передачу профессиональных норм и стандартов следующему поколению. Важнейшее и весьма редко преодолеваемое препятствие одолевается лишь тогда, когда и

практическое внедрение полученных знаний и сложившихся компетенции также происходит в профессионально контролируемых организациях. Лишь тогда профессиональная группа располагает

организационной крышей , под которой

объединены и замкнуты друг на друга исследования, обучение и практика . Лишь в такой ситуации можно без всякого одобрения и согласия развивать и утверждать формирующую власть, ориентированную на содержание. Парадигмой для этого «профессионального властного круга» является

клиника . В ней исторически уникальным образом соединились, усиливая друг друга, все источники влияния профессиональной субполитики. Большинство других профессиональных групп и союзов либо не располагают таким инновационным источником, как исследования (социальные работники, медицинские сестры), либо принципиально отрезаны от внедрения результатов своих исследований (общественные науки), либо вынуждены применять эти последние вне своей профессии, в рамках сферы производства и контроля (технические и инженерные науки). Только медицина располагает в лице клиники организационным учреждением, где разработка и внедрение результатов исследований могут сугубо самостийно проводиться и совершенствоваться на пациенте под профессиональным руководством и согласно собственным масштабам и категориям при отграничении внешних вопросов и внешнего контроля.

Таким образом, медицина как профессиональная власть успешно обеспечила и создала себе

принципиальное преимущество перед политическими и общественными попытками соучастия и вмешательства. На своем практическом поле, в клинической диагностике и терапии, она располагает не только «инновационной силой науки», но одновременно в вопросах «медицинского прогресса» является сама себе парламентом и сама себе правительством. Даже «третья власть» — юриспруденция — вынуждена, если необходимо вынести решение о «врачебной ошибке», обращаться именно к тем медицинским созданным и контролируемым нормам и прецедентам, которые в соответствии с социальной конструкцией рациональности в конечном счете могут быть оценены опять-таки лишь медиками, и больше никем.

Таковы условия проведения политики «свершившихся фактов» и ее распространения на культурные основы жизни и смерти. Продуцируя «новые знания», медицинская профессия оказывается в состоянии отменить внешнюю критику, сомнения и соображения касательно смысла и пользы медико-терапевтических услуг. Общественные ожидания и критерии оценки уже не заданы заранее, а представляют собой

рефлексивные — т. е. создаваемые, определяемые самими медиками в ходе исследований, диагностики и терапии —

переменные величины. То, что в социальном смысле считается «здоровьем» и «болезнью», в рамках такой организованной медицинской монополии утрачивает свой заданный, «природный» характер и становится величиной, создаваемой и восстанавливаемой внутрипрофессионально через деятельность самой медицины. «Жизнь» и «смерть» в таком случае уже не суть постоянные, неподвластные человеку величины и понятия. То, что общество считает и признает «жизнью» и «смертью»,

в работе самих медиков и через нее приобретает скорее

контингентный характер и нуждается в новом определении вместе со всеми непредсказуемыми импликациями, а именно

на фоне и на основании медико-биологически продуцированных ситуаций, проблем, критериев. Так, ввиду достижений кардио- и нейрохирургии необходимо заново решить и установить, считать ли человека «мертвым», если мозг отказал, а сердце еще бьется, если сердечная деятельность может обеспечиваться лишь с помощью соответствующей сложной аппаратуры, если определенные функции мозга прекращаются (т. е. пациент постоянно находится «без сознания», но прочие функции организма еще действуют) и т. д. Ввиду генотехнических возможностей оплодотворения ш уйго жизнь уже не равна жизни, а смерть — смерти. Изначально (относительно) однозначные основные категории и явные ситуации человеческого миро- и самопонимания опрокидываются ситуациями, «без спросу» создаваемыми и созданными медициной, контингентно и открыто для формирования. Перманентно порождаются новые, дотоле не имевшие места в эволюции ситуации решений, которые в медицинской практике (по меньшей мере отчасти) получают ответ заранее в пользу ориентированной на исследования медицины. Даже политически и юридически модели решения могут быть «созданы» опять-таки лишь на основе медицинской диагностики (разумеется, в сотрудничестве с другими профессиями). Таким образом медицинский подход к ситуациям

объективируется и все глубже и шире захватывает совокупность сфер человеческих взаимоотношений и человеческого бытия. Растет число полей, где медицински сформированная

реальность становится предпосылкой мышления и деятельности. Возникает право с отпечатком медицины, медицински «одобренные» рабочие технологии, экологические данные и защитные нормы, привычки питания и т. д. Тем самым не только спираль медицинских формирований и решений все глубже ввинчивается во вторую реальность общества риска, но

создается неутолимый голод на медицину : постоянно расширяющийся рынок для разветвляющихся вглубь и вширь услуг медицинской профессии.

Профессиональная группа, которой удался такой благодатный (для нее самой) синтез науки, профессионального обучения и практики, располагает уже не только определенной «профессиональной стратегией» обеспечения рынка для своего «товарного ассортимента» — скажем, юридической монополией или вмешательством в содержания обучения, патенты и т. д. Она владеет куда большим — таким золотым осликом, из которого так и сыплются рыночно-стратегические возможности. Этот организационно-профессиональный расклад сравним с

«рефлексивной стратегией рынка» , поскольку он позволяет профессиональной группе, располагающей возможностью когнитивного развития в монополизированном ею поле деятельности,

постоянно продуцировать новые профессиональные стратегии , т. е. извлекать выгоду из порожденных ею же рисков и опасных ситуаций и посредством соответствующих технико-терапевтических инноваций постоянно расширять сферу собственной деятельности.

Такое профессиональное главенство медицины, однако,

нельзя смешивать или отождествлять с

личной властью врача. Формирующая власть медицины осуществляется прежде всего в профессиональной форме, а в эту форму встроен характерный барьер между частными интересами профессиональных работников и соблюдением и исполнением политических и общественных функций. Полицейский, судья, чиновник-администратор опять-таки не может использовать порученные ему властные полномочия, как феодальный князь, для умножения своей личной власти не только потому, что на пути встают законодательные предписания, контроль, начальство и т. д.; он не может сделать этого еще и потому, что в профессиональной форме изначально содержится структурная нейтральность его личных экономических интересов (доход, карьера и т. д.) относительно содержательных целей и побочных последствий его работы. Они вообще не попадают в поле его зрения, так или иначе оттесняются в сферу побочных последствий медицинской практики. Кстати говоря, успехи в этой сфере идут ему на пользу тоже не прямо, а

«в переводе» — как возможности сделать карьеру, получить более высокий оклад, более высокое место в иерархии. В этом смысле медик, работающий по найму и занимающийся исследованиями человеческой генетики, так же

зависим, как и всякий другой работник : его можно уволить, заменить, можно проконтролировать его работу на предмет «профессионального соответствия», другие могут давать ему указания и руководить им.

Здесь обобщенно выражается еще одна характерная черта субполитики, которая в разных сферах деятельности проявляется по-разному: если в политике сознание и влияние хотя бы в принципе могут совпадать с осуществляемыми функциями и задачами, то

в сфере субполитики сознание и реальное воздействие, социальное изменение и влияние систематически разделяются . Иными словами, значимость начавшихся социальных изменений вовсе не обязательно коррелирует с соответствующими властными преимуществами, напротив, она даже может совпасть с (относительным) отсутствием влияния. Так сравнительно малочисленная группа исследователей человеческой генетики и практиков в мнимой норме их зависимой профессиональной практики неосознанно и без

всякого плана осуществляет переворот отношений.

6. Дилемма технологической политики

Теперь можно сказать: дилемма технико-экономической субполитики

выводится из легитимности политической системы . То, что в рамках политической системы не принимается

прямых решений о разработке или внедрении технологий, вряд ли вызовет возражения. Побочные последствия, за которые здесь постоянно приходится держать ответ, возникают не по вине политиков. Тем не менее политика исследований располагает рычагами финансовой поддержки и каналами законодательного успокоения и сдерживания нежелательных эффектов. При этом, однако, решение о научно-техническом развитии и его экономическом использовании неподвластно вмешательству исследовательской политики. Индустрия обладает по отношению к государству двойным преимуществом:

автономией инвестиционных решений и

монополией внедрения технологий . В руках экономической субполитики сходятся главные нити процесса модернизации в форме экономических расчетов и экономического эффекта (или соответственно риска) и технологического формирования на самих предприятиях.

Такое разделение труда во властной структуре модернизации ставит государство по многим позициям в положение отстающего. Прежде всего оно старается поспеть за технологическим развитием, решения о котором принимаются в другом месте. Несмотря на всю поддержку научных исследований, его влияние на цели технического развития остается вторичным. Решения о внедрении и развитии микроэлектроники, генной технологии и т. д. принимаются не парламентом, он разве что соглашается

субсидировать их для обеспечения экономического будущего (и рабочих мест). Именно слияние решений о техническом развитии с решениями о капиталовложениях вынуждает предприятия по причинам конкуренции разрабатывать свои планы втихомолку. В итоге эти решения ложатся на стол политики и общественного мнения уже на стадии реализации.

Как только под видом инвестиционных решений приняты решения о технических разработках, они тотчас приобретают весьма солидный вес. Ведь в таком случае они появляются на свет вместе с принуждением, свойственным осуществляемым инвестициям: они должны

окупиться . Значительные издержки нанесли бы ущерб капиталу (и, разумеется, рабочим местам). Если кто-нибудь начнет теперь расписывать побочные последствия, он навредит предприятиям, инвестировавшим в эти проекты свое будущее и будущее своих работников, а тем самым поставит под угрозу и экономическую политику правительства. Здесь заключено двойное ограничение: во-первых, оценки побочных последствий выводятся под нажимом принятых инвестиционных решений и обязательной рентабельности.

Во-вторых, однако, этот нажим несколько облегчается тем, что, с одной стороны, последствия так или иначе оценить трудно, а, с другой стороны, государственные контрмеры требуют для своего осуществления и окольных путей и много времени. В результате возникает типичная ситуация: «проблемы современности, порожденные индустрией, базирующиеся на инвестиционных решениях

вчера и на технологических инновациях

дня позавчерашнего , столкнутся с противодействием в лучшем случае

завтра , а результаты будут и вовсе

послезавтра . Стало быть, в этом смысле политика специализируется на

легитимации последствий, которые вызваны не ею и которых она реально избежать не может. Согласно модели разделения властей, политика остается в двояком аспекте ответственна за решения, принятые на предприятиях. Находящаяся в сфере теневой политики, производственная «верховная власть» в сфере технологического развития располагает лишь заимствованной легитимностью. И политика на глазах критически настроенной общественности должна снова и снова задним числом социально продуцировать эту легитимность. Такое политическое принуждение к легитимации непринятых решений усиливается политико-ведомственной ответственностью за побочные последствия. Разделение труда, таким образом, оставляет за предприятиями первичную решающую власть

без ответственности за побочные последствия, тогда как политике выпадает задача демократически легитимировать решения, принятые

не ею , и «спускать на тормозах» их побочные последствия.

Некоторое облегчение обеспечивает здесь модель прогресса. «Прогресс» можно понимать как

легитимное социальное изменение

без политико-демократической легитимации.

Вера в прогресс заменяет согласование . Более того, она заменяет все вопросы, является своего рода заблаговременным согласием с целями и последствиями, которые остаются неизвестными и неназванными. Прогресс есть *tabula rasa*, возведенная в ранг политической программы, которую непременно полагается одобрить «оптом», словно это путь в земной рай. Основные требования демократии поставлены в модели прогресса с ног на голову. Уже одно то, что речь здесь вообще идет о социальном изменении, требует задним числом наглядного разъяснения. Официально речь идет о совсем другом и всегда об одном и том же — об экономических приоритетах, конкуренции на мировом рынке, рабочих местах. Социальное изменение осуществляется здесь

замещение , по модели обмена головами. Прогресс есть

инверсия рациональной деятельности как «процесс рационализации». Это беспрограммное, необсуждаемое, непрерывное социальное изменение в сторону неведомого. Мы предполагаем, что все будет хорошо и в конечном счете все, что мы сами же натворили, всегда можно будет повернуть на рельсы прогрессивности. Но задавать об этом вопросы — куда мы идем и зачем? — значит впадать в ересь. Соглашаться, не спрашивая «зачем?», — вот какова здесь предпосылка. Все остальное — заблуждение, крамола.

В данном случае отчетливо просматривается

«контрмодерновый характер» веры в прогресс. Эта вера — своего рода

земная религия модерна . Ей свойственны все признаки религиозных верований: доверие к неведомому, незримому, неосязаемому. Доверие вопреки рассудку, вслепую, не ведая ни цели, ни средств. Вера в прогресс — это вера самого модерна в собственную творческую силу, ставшую техникой. Место Бога и церкви заняли производительные силы и те, кто их развивает и ими управляет, — наука и экономика.

Колдовские чары, которыми эрцац-бог Прогресс опутал человечество в эпоху индустриального общества, тем более удивительны, чем глубже вникаешь в сугубо земную конструкцию прогресса как такового. Некомпетентности науки соответствует

имплицитная компетентность предприятий и

чисто легитимирующая компетентность политики. «Прогресс» — социальное изменение, институционализированное в сфере некомпетентности. Фатальность веры в чистую обязательность, причем веры, поднятой в ранг прогресса, так или иначе уже

существует. «Анонимная власть побочного последствия» соответствует государственной политике, которая способна лишь благословлять заранее данные решения, и экономике, которая оставляет социальные последствия в латентности факторов, интенсифицирующих издержки, равно как и науке, которая с чистой совестью теоретических установок запускает процесс, не желая ничего знать о последствиях. Там, где вера в прогресс становится

традицией прогресса, разрушающей модерн, какой сама же и создала, неполитика технико-экономического развития превращается в легитимационно обязательную субполитику.

7. Субполитика производственной рационализации

Функционалистские, организационно-социологические и неомарксистские анализы до сих пор мыслят «определенностями» крупной организации и иерархии, тейлоризма и кризиса, которые давно подорваны производственными развитиями и возможностями развития на предприятиях. С возможностями рационализации, заложенными в микроэлектронике и других информационных технологиях, с экологическими проблемами и политизацией рисков в храмы экономических догм тоже вошла

неопределенность. То, что совсем недавно казалось прочным и незыблемым, приходит в движение: временные, местные и правовые стандартизации наемного труда (подробнее см. об этом главу VI), властная иерархия крупных организаций, возможности рационализации уже не придерживаются давних схем и подчинений, преступая железные границы отделов, предприятий и отраслей; структуру производственных секторов можно с помощью электроники объединить в новую сеть; технические производственные системы можно изменить независимо от человеческих рабочих структур; представления о рентабельности ввиду рыночно обусловленных требований гибкости, экологической морали и политизации производственных условий утрачивают жесткость; новые формы «гибкой специализации» успешно конкурируют с прежними «исполинами» массового производства.

В производственной политике это множество структуроизменяющих возможностей никоим образом не должно осуществляться сию минуту, разом или в ближайшем будущем. И все-таки в путанице влияний экологии, новых технологий и преобразованной политической культуры замешательство касательно будущего курса экономического развития уже сегодня изменило ситуацию.

«В процветающие 50–60-е годы еще было возможно сравнительно точно прогнозировать развитие экономики — ныне невозможно предсказать изменение тренда экономических показателей даже на месяц вперед. Неопределенности изменений в национальных экономиках соответствует замешательство относительно перспектив отдельных рынков сбыта. Менеджмент не уверен, какие продукты нужно производить и по каким технологиям, он не уверен даже, каким образом следует распределить авторитет и компетенцию в рамках

предприятия. Каждый, кто беседует с предпринимателями или читает экономическую прессу, вероятно, приходит к выводу, что многие предприятия даже без государственного вмешательства испытывают сложности с разработкой развернутых стратегий на будущее».

Конечно, риски и неопределенности составляют «квазиестественный», конститутивный элемент экономической деятельности. Однако нынешнее замешательство демонстрирует новые черты. Оно «слишком сильно отличается от мирового промышленного кризиса 30-х годов. Тогда фашисты, коммунисты и капиталисты во всем мире отчаянно старались следовать технологическому примеру одной-единственной страны — Соединенных Штатов. По иронии, именно в те годы — когда общество в целом казалось чрезвычайно хрупким и изменяемым — никто, похоже, не сомневался в необходимости именно тех принципов индустриальной организации, которые ныне представляются чрезвычайно сомнительными. Тогдашнее замешательство по поводу того, как следует организовывать технологии, рынки и иерархии, является зримым знаком краха решающих, однако же едва ли понятых элементов привычной системы экономического развития».

Размах производственно-социальных изменений, которые становятся

возможны благодаря микроэлектронике, весьма значителен. Структурная безработица подтверждает серьезные опасения — но лишь в смысле их обострения, которое удовлетворяет критериям теперешних категорий восприятия этой проблемы. Безусловно в промежуточный период столь же важно будет то, что внедрение микрокомпьютеров и микропроцессоров станет

инстанцией фальсификации теперешних организационных предпосылок экономической системы. Грубо говоря, микроэлектроника знаменует выход на такую ступень технологического развития, которая

технически опровергает миф технологического детерминизма. Во-первых, компьютеры и управляющие устройства программируемы, т. е. в свою очередь могут быть функционализированы для самых разных целей, проблем и ситуаций. А тем самым техника уже не диктует, каким образом ее надлежит использовать; напротив, это, скорее, можно и нужно задавать технологии. Доныне обязывающие возможности формирования социальных структур посредством «объективных технических принуждений» уменьшаются и даже инвертируются: чтобы вообще уметь использовать сетевые возможности электронного управления и информационных технологий, необходимо знать, какой именно характер социальной организации

желателен по горизонтали и по вертикали. Во-вторых, микроэлектроника позволяет

разъединить трудовые и производственные процессы. Иными словами, система человеческого труда и система технического производства могут варьироваться

независимо друг от друга.

По всем измерениям и на всех уровнях организации возможны новые модели, выходящие за пределы отделов, предприятий и отраслей. Главная предпосылка теперешней индустриальной системы, гласящая, что кооперация есть

привязанная к месту кооперация в служащей этой цели «производственной структуре», перестает быть основой технической необходимости. Но тем самым происходит и замена «строительного набора», на котором базируются все прежние организационные представления и теории. Открывающиеся организационные пространства свободной вариации ныне еще невозможно четко себе представить. И не в последнюю очередь именно поэтому их определенно не исчерпает в одночасье. Мы находимся у начала

организационно-концептуальной экспериментальной фазы , которая ни в чем не уступает принуждению приватной сферы к опробованию новых форм жизни. Важно правильно оценить эти масштабы: модель

первичной рационализации, характеризуемая изменениями в категориях рабочего места, квалификации и технической системы, вытесняется

рефлексивными рационализациями

второй ступени , направленными на предпосылки и константы прежних преобразований. Возникающие организаторские свободы формирования могут быть окружены действующими ныне индустриально-общественными лозунгами, в частности такими, как

«производственная парадигма», схема производственных секторов , принуждение к массовому производству.

В дискуссии о социальных последствиях микроэлектроники у исследователей и общественности до сих пор преобладает одна вполне определенная позиция. Прежде всего задаются вопросом и исследуют, будут ли в конечном счете потеряны

рабочие места или нет, как изменятся

квалификации и квалификационные иерархии, возникнут ли новые

профессии , упразднятся ли старые и т. д. Люди мыслят в категориях доброго старого индустриального общества и совершенно не могут себе представить, что они уже не соответствуют возникающим «реальным возможностям». Довольно часто подобные исследования

дают отбой тревоги : рабочие места и квалификации изменятся в ожидаемых пределах. При этом предполагается, что категории предприятия и отдела, иерархия трудовой и производственной системы и проч. остаются постоянными. А специфический, лишь постепенно проявляющийся рационализирующий потенциал «умной» электроники

проваливается сквозь растр, в котором мыслит и исследует индустриальное общество. Речь идет о

«системных рационализациях», которые обеспечивают изменчивость, формируемость мнимо сверхстабильных организационных

границ внутри предприятий, отделов, отраслей и т. д. и

между ними. Стало быть, характеристикой грядущих волн рационализации является ее перехлестывающий через границы и

изменяющий эти границы потенциал. Производственная парадигма и ее размещение в отраслевой структуре находятся в нашем распоряжении: система от отделов до предприятий, переплетение кооперации и техники, сосуществование производственных организаций, — не говоря уже о том, что целые функциональные области (скажем, в изготовлении, но и в администрации) можно автоматизировать, сосредоточить в банках данных и даже непосредственно передать клиенту в электронной форме. С точки зрения производственной политики здесь тоже скрыта существенная возможность

изменять организационную «производственную конституцию» при (на первых порах) постоянной структуре рабочих мест . Внутри- и межпроизводственная структура может быть

перегруппирована под (более абстрактной теперь) крышей предприятия, так сказать, в обход рабочих мест, а стало быть минуя профсоюзы.

У создаваемых таким образом

«организационных конфигураций» «дифферент на нос» не слишком велик, они состоят из сравнительно небольших элементов, которые, в частности, можно в разное время комбинировать весьма различными способами. Каждый отдельный «организационный элемент» предположительно располагает в таком случае собственными отношениями с внешним миром, проводит в соответствии со своей специфической функцией собственную «организационную внешнюю политику». Заданных целей можно достичь, не прибегая по всякому поводу к консультациям с центром, — пока определенные эффекты (например, экономичность, быстрые перестройки при изменении рыночной ситуации, учет рыночных диверсификаций) остаются

подконтрольны. «Господство», которое было установлено как прямой, социально переживаемый командный порядок на крупных предприятиях индустрии и бюрократии, здесь как бы делегируется согласованным производственным принципам и эффектам. Возникают системы, где заметные «владыки» становятся редкостью. На место приказа и повиновения приходит электронно контролируемая «самокоординация» «носителей функций» при заранее установленных и строго соблюдаемых принципах производительности и интенсификации труда. В этом смысле в обозримом будущем определенно возникнут предприятия,

«прозрачные» с точки зрения контроля производительности и кадровой политики. Однако, вероятно, такое изменение форм контроля будет сопровождаться

горизонтальным обособлением подчиненных и вспомогательных организаций.

Микроэлектронное преобразование формы контрольной структуры на «предприятиях» будущего поставит в центр внимания проблему обращения, управления и монополизации информационных потоков. Ведь «прозрачными» станут отнюдь не только сотрудники для предприятий (менеджмент), но и предприятие для сотрудников и заинтересованного окружения. По мере того как будет расшатываться и расчленяться привязка производства к месту, информация станет центральным средством, обеспечивающим единство и общность производственной единицы. Тем самым ключевой характер приобретает вопрос, кто, как, каким способом и в какой последовательности будет получать информацию и о ком, о чем и для чего эта информация. Нетрудно предсказать, что в производственных дискуссиях будущего

стычки по поводу распределения информационных потоков и по поводу распределительных ключей станут серьезным источником конфликтов. Важность этого подчеркивается еще и тем, что ввиду децентрализованности производства вслед за юридической собственностью начинает расчленяться и фактическое распоряжение средствами производства, и контроль за производственным процессом в значительной степени повисает на тонкой нити

возможности располагать информацией и информационными сетями. Впрочем, это отнюдь не исключает, что монополизация полномочий решения посредством концентраций капитала останется их существенным фоном.

Продолжая существовать, принуждения концентрации и централизации могут быть организационно переосмыслены и переформированы с помощью телематики. Остается в силе, что для выполнения своих задач и функций модерн должен базироваться на фокусировке решений и чрезвычайно усложненных возможностях согласования. Однако эти задачи и функции вовсе не должны воплощаться в форме гигантских организаций. Они тоже могут информационно-технологически делегироваться и отрабатываться в децентрализованных сетях передачи данных, сетях информации и организации или в

(полу)автоматических услугах прямой «опросной кооперации» с получателями, как это имеет место ныне в автоматизированных банкоматах.

Но тем самым возникает совершенно новая, по теперешним понятиям противоречивая тенденция: концентрация данных и информации сопровождается

упразднением крупных бюрократий и управленческих аппаратов, организованных по иерархическому принципу разделения труда; централизация функций и информации пересекается с бюрократизацией; становятся возможны концентрация полномочий на решение

и децентрализация рабочих организаций и институтов обслуживания. «Средний» уровень бюрократических организаций (в управлении, секторе обслуживания, в производственной сфере) независимо от удаленности информационно-технологически сливается воедино в «прямом» диалоге через дисплей. Многочисленные задачи социального государства и государственного управления — равно как и консультирования клиентов, посреднической торговли и ремонтных предприятий — могут быть превращены в своего рода «электронные магазины самообслуживания», хотя бы лишь в том смысле, что «хаос управления», будучи электронно объективирован, передается непосредственно «совершеннолетнему гражданину». Во всех этих случаях правомочный получатель услуги ведет диалог уже не с чиновником-управленцем, торговым консультантом и т. д., а по определенной методике (пользованию которой он может научиться сам, сделав электронный запрос) выбирает необходимый ему способ обработки, услугу, правомочие. Не исключено, что для определенных главных областей обслуживания такая информационно-техническая объективация посредством информационных технологий невозможна, нецелесообразна или социально неосуществима. Однако же для очень широкого спектра рутинной деятельности она вполне возможна, так что уже в недалеком будущем можно будет осуществлять рутинное управление и обслуживание именно таким образом, экономя расходы на персонал.

В этих наполовину эмпирических суждениях касательно тренда, наполовину перспективных выводах наряду с производственной парадигмой и отраслевой структурой имплицитно разрушены еще две организационные предпосылки экономической системы индустриального общества: во-первых,

схема производственных секторов, во-вторых, базовое допущение, что индустриально-капиталистический способ производства с необходимостью постоянно следует нормам и формам

массового производства. Уже сегодня можно видеть, что грядущие процессы рационализации нацелены на структуру секторов как таковую. То, что возникает, уже не есть

ни индустриальное,

ни семейное производство,

ни сектор обслуживания,

ни неформальный сектор, это нечто

третье: стирание или слияние границ в выходящих за пределы секторов комбинациях и формах кооперации, причем нам еще предстоит научиться теоретико-эмпирически понимать их особенности и проблемы.

Уже благодаря магазинам самообслуживания, а особенно благодаря банкоматам и услугам через дисплей (но также и благодаря гражданским инициативам, группам взаимопомощи и т. д.) работа распределяется, минуя производственные секторы. Одновременно рабочая сила

потребителей мобилизуется

помимо рынка труда и интегрируется в организованный производственный процесс. С одной стороны, эта интеграция неоплачиваемого потребительского труда включена в рыночные расчеты снижения, расходов на заработную плату и производство. С другой стороны, на стыках автоматизации возникают, таким образом, зоны пересечения, которые нельзя истолковывать ни как услуги, ни как самопомощь. Например, через посредство автомата банки могут делегировать оплачиваемую работу оператора клиентам, которые взамен «в награду» получают возможность в любое время свободно распоряжаться своими счетами. В обеспеченных техникой и социально желательных перераспределениях между производством, сферой услуг и потреблением заключена толика

рафинированного самоупразднения рынка, которое политэкономы, «зацикленные» на принципах рыночного общества, совершенно не замечают. Сегодня зачастую ведут речь о «теневой занятости», «теневой экономике» и т. д. Но при этом, как правило, не осознают, что теневая занятость ширится не только вне, но и

внутри рыночно опосредованного промышленного производства и сферы услуг. Волна микроэлектронной автоматизации порождает

смешанные формы оплачиваемого и неоплачиваемого труда, в которых доля рыночно опосредованного труда

сокращается, но зато

возрастает доля активного труда самого потребителя. Волна автоматизации в секторе услуг вообще по сути представляет собой сдвиг труда из сферы производства в сферу потребления, от специалистов — к общности, от оплаты — к самоучастию.

Вместе с нестабильностью и рисками растет заинтересованность предприятий в

гибкости; это требование, конечно, существовало всегда, но теперь, ввиду сцепления политической культуры и технического развития, с одной стороны, и возможностей электронного формирования, производственных развитии и колебаний рынка, с другой, оно приобретает в сфере конкуренции решающее значение. Стало быть,

организационные предпосылки стандартизованного массового производства утрачивают прочность. Эта первичная производственная модель индустриального общества, разумеется, по-прежнему сохраняет за собой определенные сферы применения (например, долгосрочное серийное производство сигарет, текстиля, электроламп, пищевых продуктов и т. д.), но вместе с тем дополняется и вытесняется всевозможными новинками, производимыми в массовом порядке

и индивидуализированными продуктами, зачатки чего наблюдаются, например, в электропромышленности, в определенных автомобилестроительных фирмах и в связи. Здесь по принципу «конструктора» создаются и предлагаются различные варианты, различные комбинации. Такой перевод предприятий на дестандартизацию рынков и внутреннюю диверсификацию продукции, а также сопутствующие этому требования быстрых организационных перестроек ввиду насыщения рынков, их изменения в силу дефиниций риска и т. д. невозможно или чрезвычайно трудно и дорого осуществить посредством общепринятой, косной организации предприятий. Ведь подобные перестройки всегда необходимо производить сверху вниз, в короткие сроки, планомерно, в приказном порядке (вопреки сопротивлению). В мобильных же, подвижных и текучих сетевых организациях такие переменчивые адаптации можно, что называется,

включить в структуру. Однако это сопровождается новым историческим витком конфликта

между массовым и ремесленным производством, хотя по поводу последнего история, казалось бы, уже вынесла свой приговор. Провозглашенную навеки победу массового производства можно бы и пересмотреть с учетом новых форм «гибкой специализации» на базе ЭВМ-управляемых, обогащенных инновациями товаров в мелких сериях.

Эпоха фабрики, этого «храма индустриальной эры», отнюдь не заканчивается, кончается только ее монополия на будущее. Огромные иерархические организации, подчиненные диктату станочного ритма, были вполне пригодны, чтобы снова и снова выпускать одну и ту же продукцию и снова и снова принимать одни и те же решения в сравнительно стабильном индустриальном окружении. Однако — и здесь уместно воспользоваться словом, возникшим вместе с этими организациями, — ныне они по многим причинам становятся «дисфункциональны». Они более не соответствуют потребностям индивидуализированного общества, где раскрытие собственной «самости» распространяется и на мир труда. «Организационные гиганты» не способны гибко реагировать на быстро меняющиеся, самореволюционирующие технологии, вариации продукта и культурно-политически обусловленные колебания рынка в обществе, чутком к рискам и разрушениям. Их массовая продукция более не отвечает утонченному спросу дробящихся субрынков; и они не способны должным образом использовать великий творческий дар современных технологий для «индивидуализации» продуктов и услуг.

Решающее значение здесь имеет следующее: этот отказ от «организационных гигантов» с их принуждениями стандартизации, командным порядком и т. д.

не противоречит основным принципам индустриального производства — максимизации прибыли, отношениям собственности, властным интересам, — скорее, он как раз ими и вызван.

Даже если не все перечисленные здесь «столпы» индустриальной системы — производственная парадигма, схема производственных секторов, формы массового производства, а также временные, местные и правовые стандартизации труда — будут разом повсюду подорваны или разрушены, по-прежнему сохранится

системное преобразование труда и производства, которое

релятивирует якобы вечное принудительное единство индустриально-общественных организационных форм экономики и капитализма до исторически преходящего переходного этапа протяженностью около одного столетия.

С этим развитием — коль скоро оно состоится — в Антарктиде функционально-социологических и (нео)марксистских организационных предпосылок начнется весна. Несокрушимые, казалось бы, ожидания касательно изменений индустриального труда будут совершенно переиначены[25], хотя и вовсе не в новом «издании» закономерной эволюции организационных форм при якобы «внутреннем превосходстве» на пути к успеху капиталистической экономики, а как

продукт споров и решений о трудовых, организационных и производственных формах. Совершенно очевидно, что в первую очередь речь здесь безусловно идет о власти в сфере производства и на рынке труда, о предпосылках и нормах ее осуществления. По мере того как в процессе производственной рационализации возникают субполитические свободы формирования, социальная структура предприятия

политизируется. Не столько в том смысле, что вновь вспыхнут классовые стычки, сколько в том, что якобы «один-единственный путь» индустриального производства становится формируемым, лишается своего организационного единообразия,

дестандартизируется и

плюрализируется . В ближайшие годы на повестке дня дискуссий между менеджментом, советом предприятия, профсоюзами и персоналом будут стоять

внутрипроизводственные «модели общества» . Грубо говоря, будет сделан либо шаг в направлении «повседневного трудового социализма» на почве постоянных отношений собственности, либо шаг в противоположном направлении (причем возможно даже, что эти альтернативы уже не исключают одна другую, поскольку понятия, в каких они мыслятся, более не соответствуют ситуации). Важно, что от предприятия к предприятию, от отрасли к отрасли могут пропагандироваться и опробоваться самые разные модели и политики. Возможно, дело дойдет даже до такого «контрастного душа» модных течений в сфере трудовой политики, где верх одерживает то одна концепция, то другая. В целом, судя по тенденции, плюрализация жизненных форм распространяется и на сферу производства: возникает

плюрализация рабочих миров и форм труда , в которых соперничают «консервативные» и «социалистические», «сельские» и «городские» варианты.

А это означает, что производственная деятельность в доселе невиданных масштабах подпадает под

нажим легитимации , получая новый политический и моральный размах, казалось бы чуждый сути экономической деятельности. Эта

морализация индустриального производства , в которой отражается и зависимость предприятий от политической культуры, в какой они ведут производство, станет, вероятно, одним из интереснейших развития грядущих лет. Дело в том, что она основана не только на моральном давлении извне, но и на четкости и эффективности, с какой организованы контринтересы (в том числе интересы новых социальных движений), на том мастерстве, с каким они способны представить чуткой общественности свои интересы и аргументы, на рыночном значении дефиниций риска и на конкуренции предприятий между собой, где легитимационные изъяны одной стороны суть конкурентные преимущества другой. В определенном смысле при таком «завинчивании легитимационных гаек» общественность приобретет влияние на предприятия. Тем самым производственная формирующая власть отнюдь не упразднится,

но утратит свою «априорную» объективность, необходимость и общепольность — словом, станет субполитикой.

Необходимо осознать это развитие. Техничко-экономическая деятельность по своей конституции остается защищена от притязаний демократической легитимации. Но одновременно она теряет и свой неполитический характер. Она

не есть политика и не есть неполитика , она представляет собой нечто третье, а именно экономически проводимую деятельность группировок, которая, во-первых, параллельно с исчезновением латентности рисков выявила свой изменяющий общество размах, а во-вторых, в множестве своих решений и пересмотров решений потеряла видимость объективной необходимости. Повсюду проблескивают рискованные последствия и другие возможности формирования. В той же мере проступает и

односторонняя соотнесенность интересов в производственных расчетах. Везде, где возможны

несколько решений с совершенно

различными импликациями для

различных людей или для общности, производственная деятельность во всех своих деталях (вплоть до технических приемов и методов финансовых расчетов) в принципе становится доступна для публичных обвинений, а тем самым обязана оправдываться. Иными словами, деятельность предприятий тоже становится

дискурсивной — или теряет рынки. Не только упаковка,

но и аргументы становятся отныне главными предпосылками самоутверждения на рынке. Если угодно, можно

сказать, что оптимистическое; утверждение

Адама Смита о том, что в рыночно зависимой деятельности своекорыстие и общее благо

eo ipso [26] совпадают, исторически ушло в прошлое ввиду порождения рисков и доступности формирования производства для решений. Здесь отражаются и упомянутые изменения в политической культуре. Влияние раз личных центров субполитики — общественного мнения СМИ, гражданских инициатив, новых общественных движений, критичных инженеров и судей — может мгновенно сделать решения предприятий и производственные технологии мишенью публичного обвинения и под угрозой рыночных убытков вынудить их к неэкономичному,

дискурсивному оправданию своих мероприятий.

Если сегодня это еще не проявляется или проявляется лишь в начатках (например, в дискуссиях с химической промышленностью, которая вынуждена отвечать на публичные обвинения многостраничными «лакировочными» оправданиями), то здесь опять-таки отражаются массовая безработица и льготы, а также властные шансы, которые все это означает для предприятий. В таком смысле воздействие другой политической культуры на технико-экономические процессы производственных решений покуда прячется в абстрактном примате экономического подъема.

8. Обобщение и перспективы: сценарии возможного будущего

При всей своей противоречивости современная религия прогресса ознаменовала собою целую эпоху и до сих пор знаменует эпоху там, где ее обещания совпадают с условиями их невыполнения. Ведь именно осязаемая материальная нужда, слаборазвитость производительных сил, классовое неравенство всегда определяли и определяют политические разногласия. В конце 70-х годов эта эпоха завершилась двумя историческими развитиями. Меж тем как политика по мере строительства социального государства, наталкиваясь на имманентные границы и противоречия, утрачивает свой утопический напор, возможности общественных изменений сосредоточиваются во взаимодействии исследований, технологии и экономики.

При институциональной стабильности и постоянных компетенциях формирующая власть смещается из сферы политики в сферу субполитики. В нынешних дискуссиях надежды на «другое общество» связываются уже не с парламентскими дебатами по поводу новых законов, а с внедрением микроэлектроники, генных технологий и информационных средств.

Место политических утопий заняли гадания о побочных последствиях. Соответственно утопии приняли негативный характер. Формирование будущего в смещенном и закодированном виде происходит не в парламенте, не в политических партиях, а в исследовательских лабораториях и управленческих инстанциях. Все остальные — в том числе самые

компетентные и информированные политики и ученые — в большей или меньшей степени пробавляются обрывками информации, падающими с кульманов технологической субполитики. Исследовательские лаборатории и руководство предприятий в перспективной индустрии стали «революционными ячейками» под маской нормы. Здесь, во внепарламентской неопозиции, без программы, с позиций чуждых целей прогресса познания и экономической рентабельности внедряются новые структуры нового общества.

Ситуация грозит обернуться гротеском: неполитика начинает прибирать к рукам ведущую роль политики. Политика же становится публично финансируемым рекламным агентством, расхваливающим светлые стороны развития, ей неизвестного и неподвластного ее активному формированию. Полнейшее его незнание еще усугубляется принудительностью, с какой оно вторгается в жизнь. Политики, стремясь внешне сохранить свой статус-кво, осуществляют прорыв к обществу, о котором не имеют ни малейшего понятия, и одновременно винят в систематически раздуваемых страхах перед будущим «культурно-критические махинации». Предприниматели и ученые, которые в своей повседневной деятельности занимаются планами революционного свержения нынешнего общественного строя, с невинно-деловой миной уверяют, что никоим образом не несут ответственности за все вопросы, поставленные в этих планах. Но доверие теряют не только эти лица, то же касается и ролевой структуры, в которую они включены. Когда побочные последствия принимают размеры и формы эпохального социального перелома, исконный характер модели прогресса открыто обнажает всю свою опасность. Разделение властей в самом процессе модернизации становится текучим. При этом возникают серые зоны политического формирования будущего, которое мы ниже эскизно наметим в трех (отнюдь не исключающих друг друга) вариантах:

1)

назад к индустриальному обществу («реиндустриализация»)

2)

демократизация технологического преобразования и

3)

«дифференциальная политика».

Назад к индустриальному обществу

Этой опции в различных вариантах следует ныне преобладающее большинство в политике, науке и общественном мнении — причем

наперерез партийно-политическим противоречиям. Фактически для этого существует целый ряд веских причин. В первую очередь это ее

реализм, который, с одной стороны, как будто бы учитывает уроки без малого двести лет критики прогресса и цивилизации, а с другой стороны, опирается на оценку железных рыночных принуждений и экономических отношений. Аргументировать, а тем паче действовать против них — значит, по этой оценке, быть полным невеждой или мазохистом. В этом смысле мы сейчас имеем дело всего лишь с оживлением «контрмодернистских» движений и аргументов, которые всегда как тень сопутствовали индустриальному развитию,

никоим образом не препятствуя его «прогрессу». Одновременно экономические необходимости — массовая безработица, международная конкуренция — резко

ограничивают всякую свободу политических действий. Отсюда следует, что (с определенными «экологическими поправками») все будет развиваться именно так, как якобы подтверждает знание о «постистории», о безальтернативности индустриально-общественного пути развития. Оправдание, которое всегда обеспечивалось ставкой на «прогресс», говорит в пользу этой опции. На вопрос, который заново встает перед каждым поколением: что нам теперь делать? — вера в прогресс отвечает: то же, что всегда, только с большим размахом, быстрее, многочисленнее. Стало быть, многое говорит за то, что при таком сценарии мы рассматриваем вероятное будущее.

Сценарий и рецепты, определяющие мышление и деятельность, ясны. Речь идет о тиражировании индустриально-общественного опыта, накопленного начиная с XIX века, и проецирование его на век XXI. Согласно этому, риски, порождаемые индустриализацией, не являются по-настоящему новой угрозой. Они были и суть самосозданные вызовы завтрашнего дня, мобилизующие новые научные и технические творческие силы и тем самым образующие ступени лестницы прогресса. Многие в этом смысле чуют открывающиеся здесь рыночные шансы и, доверяя давней логике, сдвигают опасности сегодняшнего дня в сферу, какой придется технически овладевать в будущем. При этом они совершают двойную ошибку: во-первых, неверно толкуют характер индустриального общества, считая его домодернизированным, а во-вторых, не понимают, что категории, в которых они мыслят, — модернизация

традиции — и ситуация, в которой мы находимся, — модернизация

индустриального общества — принадлежат двум разным столетиям, в ходе которых мир изменился, как никогда. Иными словами, они не видят, что там, где речь идет о модернизации, т. е. о константности новшеств, мнимо одинаковое в своей протяженности может означать и порождать нечто совершенно иное. Покажем это прежде всего на примере принуждений противоречивых последствий, к которым приводит это мнимое естественное «делание, как раньше».

На первом плане здесь стоят экономико-политические приоритеты. Их диктат захватывает все прочие тематические и проблемные поля, что справедливо даже там, где

ради политики занятости главная роль отдается экономическому подъему. Такой базисный интерес как будто бы вынуждает поддерживать принятые инвестиционные решения, в силу которых без выяснения Что и Зачем, закрыто, приводятся в движение технологическое, а значит, и экономическое развитие. Тем самым устанавливаются две стрелки: на полях технологической

субполитики сосредоточиваются властные потенциалы переворота в общественных отношениях, которые Маркс некогда назначал пролетариату, — разве только они могут использоваться под протекторатом власти государственного порядка (и под критическим взором профсоюзной контрвласти и обеспокоенной общественности). С другой стороны, политика оттесняется на роль легитимационного протектората для чужих решений, которые коренным образом изменяют общество.

Этот откат к только легитимации усиливается условиями массовой безработицы. Чем дольше экономическая политика определяет курс и чем отчетливее этот факт благодаря борьбе против массовой безработицы обретает вес, тем больше становятся диспозиционные возможности предприятий и тем меньше — свобода технолого-политических действий правительства. В итоге политика попадает на наклонную плоскость —

сама лишает себя власти. Одновременно обостряются ее имманентные противоречия. В полном блеске своей демократической власти она сама сводит свою роль к рекламированию развития, чиновное приукрашивание которого всегда вызывало сомнение в силу

безальтернативной естественности, с которой оно так или иначе начинается. В обращении с рисками эта публичная реклама чего-то, что совершенно невозможно знать, становится откровенно сомнительной, одновременно оборачиваясь угрозой с точки зрения поддержки избирателей. Такие риски попадают в ведение государственной деятельности и, в свою очередь, будут принуждать к воздержанию от вмешательства в обстоятельства возникновения промышленного производства, от которых люди как раз путем экономико-политической унификации сами и отказались. Соответственно к одному заранее принятому решению добавляется и другое: риски, которые имеют место, существовать не вправе. В той же мере, в какой

растет общественная восприимчивость к рискам, возникает и политическая потребность в исследованиях

безобидности. Они должны научно обезопасить легитимационную, «наместническую» роль политики. Когда же риски все-таки минуют стадию своего социального признания («гибель лесов») и призыв к политически ответственным действиям приобретает решающее для выборов значение, бессилие, назначенное политикой для самой себя, проявляется открыто. Политика постоянно сама себе мешает найти политический выход из затруднений. Чехарда с внедрением «катализаторных автомобилей», ограничением скорости на магистральных шоссе, законодательством в целях сокращения вредных и ядовитых веществ в продуктах питания, воздухе и воде дает тому множество наглядных примеров.

Причем такой «ход вещей» отнюдь не настолько неизбежен, как зачастую утверждают. И альтернатива заключается вовсе не в противопоставлении капитализма и социализма, которое доминировало в прошлом и нынешнем веке. Решающее значение имеет, скорее, то, что упускаются из виду

и опасности, и шансы, имеющие место при переходе к обществу риска. «Изначальная ошибка» стратегии реиндустриализации, которая переходит из XIX столетия в XXI, состоит в том, что

антагонизм между индустриальным обществом и модерном остается нераскрытым. Неразрывное отождествление условий развития модерна в XIX веке, сосредоточенных в проекте индустриального общества, с программой развития модерна не дает увидеть по крайней мере два момента:

1) на центральных полях проект индустриального общества приводит

к располвиниванию модерна, 2) таким образом, цепляние за опыт и принципы обеспечивает модерну продолжительность и шанс преодолеть ограничения индустриального общества. Конкретно это выражается: в наплыве женщин на рынке труда, в разволшебствлении научной рациональности, в исчезновении веры в прогресс, во внепарламентских изменениях политической культуры, где особенно ярко проявляются притязания модерна, направленные

против его индустриально-общественного располвинивания, даже там, где до сих пор еще нет новых жизнеспособных институционализируемых ответов. Даже потенциал опасностей, высвобождаемый модерном в его индустриально-общественной систематике без всякой предусмотрительности и вопреки претензии на рациональность, которой он подчинен,

мог бы стать стимулом творческой фантазии и человеческим формирующим потенциалом, если бы его в конце концов восприняли как таковой, т. е. восприняли всерьез, а привычное индустриально-общественное легкомыслие более не переносили на условия, которые на самом деле уже не допускают такой страховой политики.

Исторически ошибочная оценка положений и тенденций развития проявляется и в деталях. Не исключено, что в эпоху индустриального общества подобная «смычка» экономики и

политики была возможна и необходима. В условиях же общества риска таким образом лишь путают таблицу умножения с возведением в степень.

Структурная дифференцированность положений,

пересекающих институциональные границы экономики и политики, выпадает из поля зрения точно так же, как и

различные собственные интересы особых отраслей и групп. Так, например, не может

быть и речи о единообразии экономических интересов в отношении дефиниций риска . Интерпретации рисков, скорее, вбивают

клинья в экономический лагерь. Всегда есть такие, кто

теряет на рисках, и такие, кто от них

выигрывает . А это означает: дефиниции рисков не отнимают политическую власть, а

позволяют ее исполнять. Они представляют собой чрезвычайно эффективный инструмент управления и выбора экономических развитии. В этом плане справедлива и статистически достаточно документированная оценка, что учет рисков лишь

избирательно противоречит экономическим интересам, т. е., например, экологический вариант вовсе не обязательно потерпит крушение на рифах затрат.

На той же линии находится раскол ситуаций между капиталом и политикой, которые порождают риски. Как

побочные последствия они попадают в сферу ответственности политики, а не экономики. Иными словами, экономика не несет ответственности за то, что сама же и порождает, а политика отвечает за то, что она не может контролировать. Пока ситуация останется такой, останутся и побочные последствия. И все это лишь к структурному ущербу политики, которая не только расхлебывает неприятности (с общественным мнением, с медицинскими расходами и т. д.), но и постоянно должна нести ответственность за то, что отрицать все труднее, но причины и изменение чего вовсе не лежат в сфере ее непосредственного влияния. Этот замкнутый круг уменьшения собственной власти и потери доверия можно тем не менее разорвать. Ключ лежит в самой ответственности за побочные последствия. При ином повороте политическая деятельность параллельно с

раскрытием и признанием потенциальных рисков завоевывает влияние. Дефиниции рисков активизируют ответственности и, согласно социальной конструкции, создают зоны

иллегитимных системных условий, которые требуют изменения в интересах всех и каждого. Таким образом, они не парализуют политическую деятельность, и в этом смысле совершенно незачем, привлекая на помощь слепую или вчуже определяемую на уку, любой ценой прятать их от систематически обеспокоенной общественности. Напротив, они

открывают новые политические опции, которые можно использовать и для восстановления и усиления демократическо-парламентского влияния.

Напротив, отрицание не устраняет рисков. Более того, задуманная политика стабилизации может очень легко обернуться общей дестабилизацией. Не только сами утаенные риски способны внезапно обернуться опасными для общества ситуациями, которые при индустриально-общественном легкомыслии уладить политически — а не только технико-экономически — попросту невозможно. От возросшего ввиду интериоризированных демократических прав чутья к необходимым действиям тоже невозможно долго

отмахиваться, демонстрируя политически холостые ходы и косметическо-символические операции. Одновременно растет дестабилизация во всех сферах социальной жизни — в профессии, в семье, у мужчин, женщин, в браке и т. д. «Шок будущего» (А. Тоффлер) настигнет общество, настроенное на умаление опасностей, без всякой подготовки. Под его воздействием среди населения могут быстро распространиться политическая апатия и политический цинизм, которые быстро расширят и без того существующую пропасть между социальной структурой и политикой, политическими партиями и электоратом. Отрицание «этой» политики все больше и больше захватывает не только отдельных представителей или отдельные партии, но совокупную систему норм демократии. Вновь оживает давняя коалиция между нестабильностью и радикализмом. Снова звучат призывы к

политическому лидерству. Тоска по «твердой руке» растет в той же мере, в какой расшатывается окружающий человека мир. Жажда порядка и надежности оживляет призраки прошлого. Побочные последствия политики, которая не замечает побочных последствий, грозят превратить ее в ее же противоположность. В конечном счете более нельзя исключать, что непреодоленное прошлое станет (хотя и в других формах) одним из

возможных вариантов будущего.

Демократизация технико-экономического развития

Данная модель развития продолжает традицию модерна, направленную на расширение самораспоряжения. Исходной точкой является оценка, гласящая, что в процессе обновления индустриального общества демократические возможности самораспоряжения были

институционально располовинены. Вследствие этого технико-экономические новшества как двигатель постоянного изменения общества были отрезаны от возможностей демократического участия, контроля и сопротивления. Тем самым в проект изначально встроены многообразные противоречия, которые ныне ярко выступают на поверхность. Модернизация считается «рационализацией», хотя здесь с системой происходит нечто не поддающееся осознанному знанию и контролю. С одной стороны, индустриальное общество можно помыслить только как демократию; с другой — в нем всегда содержалась возможность того, что общество в силу движущего им незнания обернется противоположностью постулируемого для него притязания на просвещение и прогресс. Ввиду этой угрозы вера и неверие в прогрессивность начатого движения вновь вступают в противоречие с общественной формой, которая, как никогда в истории, заложила в основу своего развития знание и возможность знания. Конфликты веры, а вместе с ними тенденции к обвинениям в ереси и к разжиганию новых инквизиторских костров определяют общественное развитие, которое некогда сделало ставку на рациональное разрешение конфликтов. Поскольку наука, которая во многом содействовала такому развитию, отрекивается от последствий и сама прибегает к решениям, в которые модерн так или иначе превращает все и вся, речь идет о том — такова здесь логика рассуждений, — чтобы сделать эту основу решений общедоступной, причем по правилам, предусмотренным в рецептах модерна, т. е. по правилам

демократизации. Испытанный инструментарий политической системы предполагается распространить на условия, выходящие за ее пределы. Для этого можно помыслить множество вариантов, и все они могут стать предметом дискуссии. Палитра предложений простирается от парламентского контроля, производственно-технологических разработок, собственных «парламентов модернизации», где междисциплинарные коллективы экспертов создают, одобряют и принимают планы, и до вовлечения гражданских групп в

технологическое планирование и процессы решений в области исследовательской политики.

Основная мысль такова: со- и контрправительства технико-экономической субполитики — экономики и исследований — должны вернуться в сферу парламентской ответственности. Коль скоро речь идет о соуправлении путем свободы инвестиций и исследований, нужно иметь хотя бы принуждение к оправданию перед демократическими институтами в базисных решениях «процесса рационализации». Но как раз в этом простом переносе заключена

кардинальная проблема данного умственного и политического подхода: в своих рецептах он остается соотнесен с эпохой индустриального общества, хотя и в контртребовании к стратегии реиндустриализации. «Демократизация» в понимании XIX века изначально предполагает централизацию, бюрократизацию и т. д., а тем самым делает ставку на условия, которые исторически либо устарели, либо стали сомнительны.

При этом цели, которых нужно достичь посредством демократизации, совершенно ясны: необходимо сломать последовательное чередование исследовательских и инвестиционных решений и общественно-политической дискуссии. Требование здесь таково: последствия и свободы формирования микроэлектроники, генной технологии и т. д. должны обсуждаться в парламентах

до принятия принципиальных решений об их внедрении. Последствия такого развития легко предсказать: бюрократически-парламентские препоны производственной рационализации и научного исследования.

Впрочем, это лишь один вариант данной модели будущего. Образцом для другого варианта служит расширение социального государства. Грубо говоря, здесь аргументируют аналогиями риску обнищания XIX века и первой половины XX века. Риски обнищания и риски технологические суть последствия процесса индустриализации на разных исторических этапах его развития. Оба вида рисков индустриализации — во временном сдвиге — имеют сходную политическую карьеру, так что на опыте политического и институционального обращения с рисками обнищания можно научиться обращению с рисками технологическими. Политико-историческая карьера риска обнищания — ожесточенное отрицание, завоеванное признание, политические и правовые последствия в строительстве социального государства — как будто бы повторяется и в случае глобальных опасностей, только на новом уровне и в иных профессиях. Как показывает строительство социального государства в Западной Европе нынешнего столетия, отрицание — это не единственная опция ввиду опасных ситуаций, порождаемых промышленностью. Ведь их можно и перечеканить в

расширение возможностей политических действий и демократических прав защиты.

Представителям данного направления мерещится

экологический вариант государства всеобщего благоденствия. Причем этот вариант даже способен дать ответ на

два главных вопроса: разрушение природы и массовую безработицу. Соответствующие правовые регулирования и политические институты проектируются по историческим образцам социально-политических законов и институтов. Чтобы эффективно побороть промышленное расхищение природы, нужно создать ведомства и облечь их соответствующими полномочиями. Аналогично социальному страхованию можно было бы выстроить систему страхования от ущерба здоровью при заражении окружающей среды и продуктов питания. Правда, для этого потребовалось бы изменить действующее законодательство, чтобы не взыскать на потерпевших дополнительное бремя и без того весьма трудноосуществимых причинных доказательств.

При этом уже выявленные пределы и последующие проблемы никоим образом не должны

распространяться на экологическое расширение. Здесь тоже безусловно даст о себе знать сопротивление частных инвесторов. В случае социально-государственных гарантий они имели опору в повышающихся расходах и побочных расходах на заработную плату. Соответствующие паушальные обложения, которые затрагивают все предприятия, в технолого-политических инициативах, однако же,

упраздняются. Они тоже кое у кого оседают в виде издержек, другим же открывают новые рынки. Издержки и шансы экспансии распределяются между отраслями и предприятиями, так сказать, неравномерно. Отсюда одновременно следуют шансы осуществления соответствующей экологически ориентированной политики. Блок экономических интересов распадается под воздействием избирательности рисков. Могут создаваться коалиции, которые, в свою очередь, помогают политике включить анонимную формирующую власть прогресса в сферу политико-демократической деятельности. Повсюду, где ныне жизни людей и природе угрожают яды, где посредством мероприятий по рационализации упраздняются основы нынешнего сосуществования и сотрудничества, систематически порождаются надежды на политику, которую можно перечеканить в расширение политико-демократических инициатив. Опасности такого экологически ориентированного государственного интервенционизма можно вывести и из параллелей с социальным государством: это —

научный авторитаризм и непомерная

бюрократия.

Мало того, в основе такого подхода лежит заведомая ошибка, вообще характерная для проекта реиндустриализации: исходной посылкой является то, что модерн во всех его умножениях и необозримостях имеет или должен иметь политический центр управления. Аргументы таковы: нити

должны сходиться в политической системе и ее центральных органах. Все, что этому противоречит, рассматривается и оценивается как

несостоятельность политики, демократии и т. д. С одной стороны, делается допущение, что модернизация означает автономию, дифференциацию, индивидуализацию. С другой же — «решение» обособляющихся при этом частичных процессов ищут в

рецентрализации политической системы и в модели парламентской демократии. При этом выносят за скобки не только достаточно ярко проступившие теневые стороны бюрократического централизма и интервенционизма. Изначально

не замечают также, что общество модерна не имеет центра управления. Можно, конечно, спрашивать, как предотвратить возрастание тенденции автономизации как возможной самокоординации подсистем или подъединиц. Но этот вопрос не должен создавать иллюзий относительно реальности отсутствия центра и управления модерном. И совершенно необязательно, что обособления, порождаемые в процессе модернизации, безальтернативно приведут на дорогу аномии с односторонним движением. Можно помыслить и новые промежуточные формы взаимного контроля, которые избегают парламентского централизма и все же создают вполне сопоставимые принуждения к оправданию. Образцы тому нетрудно найти в развитии политической культуры Германии за последние два десятилетия — открытость СМИ, гражданские инициативы, движения протеста и т. д. Они скрывают свой смысл, пока их соотносят с предпосылками институционального центра. Тогда они видятся негодными, ущербными, нестабильными, даже оперирующими на грани внепарламентской легальности. Если же поставить в центр внимания принципиальную ситуацию

размывания границ политики, то в таком случае вполне раскрывается их смысл как форм экспериментальной демократии, которые на фоне осуществленных основных прав и вычлененной субполитики опробуют новые формы прямого участия и контроля вне фикции

централизованного управления и прогресса.

Дифференциальная политика

Исходной точкой для этого проекта будущего является

размывание границ политики, т. е. спектр основной, побочной, суб- и контрполитики, возникший в условиях развитой демократии в дифференцированном обществе. Оценка гласит: отсутствие центра политики необратимо, этот центр не восстановить даже через требование демократизации. Политика

в определенном смысле генерализировалась и тем самым «лишилась центра». Но необратимость этого перехода исполнительной политики в

политический процесс, который одновременно утратил свою специфику, свою противоположность, свое понятие и способ действия, есть не только повод для печали. В нем заявляет о себе

другая эпоха модернизации, которая здесь была обозначена как «рефлексивность». «Закон» функциональной дифференциации подрывается недифференциациями (конфликты и кооперация рисков, морализация производства, вычленение субполитики) и упраздняется. При такой рационализации

второй ступени принципы централизации и бюрократизации и связанное с ними окостенение социальных структур начинают конкурировать с принципами

гибкости, которые в возникающих ситуациях риска и нестабильности все больше завоевывают приоритет, а одновременно предполагают новые, невиданные ныне формы

«контролируемой вчуже самокоординации» субсистем и децентрализованных активных единиц.

В этом историческом изменении таятся и начатки много более гибкой

структурной демократизации. Ее основы, заложенные в принципе разделения властей (и в этом смысле в самой модели индустриального общества), значительно расширились, в частности, благодаря свободе печати. Экономическая система тоже представляет собою поле, где не только порождаются прогрессы как незамеченные побочные последствия корысти и технических принуждений, но проводится и реальная (суб)политика в смысле иных возможных социальных изменений, — это становится ясно, по крайней мере, теперь, когда «экономико-техническая необходимость» выпуска вредных веществ под нажимом общественности внезапно уменьшается до одной из нескольких возможностей решения. То, что взаимоотношения за стенами приватной сферы опять-таки не обязательно должны протекать в традиционных моделях брака и семьи, мужской и женской роли, сведущий в истории человек предполагал давно, но лишь вместе с детрадиционализацией все это пришлось включить в знание более того — в сферу решений. Здесь у законодателя нет ни права, ни возможности управлять. «Побочное правительство приватной сферы» может изменять отношения совместной жизни

здесь и сейчас, без законодательных установлений и принятия решений, что оно и делает, как показывают всевозможные, разнообразные, переменчивые жизненные условия.

Взгляд на это развитие по-прежнему зашорен сохраняющейся фасадной реальностью

индустриального общества. Наша оценка такова: ныне рушатся монополии, возникшие вместе с индустриальным обществом и встроенные в его институты, да,

рушатся монополии, но не погибают миры. Монополия рациональности науки, профессиональная монополия мужчин, сексуальная монополия брака, политическая монополия политики — все это утрачивает прочность, притом по разным причинам и с весьма многообразными, непредсказуемыми, амбивалентными последствиями. Но каждая из этих монополий вдобавок

противоречит принципам, реализованным в модерне. Монополия рациональности науки исключает самоскептицизм. Профессиональная монополия мужчин противоречит универсалистским требованиям равенства, под лозунгом которых начался модерн, и т. д. Кроме того, это означает, что многие риски и вопросы возникают

в непрерывности модерна и приобретают силу

вопреки располвиниванию его принципов в проекте индустриального общества. Другая сторона нестабильности, которую приносит людям общество риска, есть

шанс наперекор ограничениям, функциональным императивам и фатализму прогресса индустриального общества отыскать и активизировать большее равенство, свободу и самоформирование, какие сулит модерн.

Восприятие и понимание ситуации и развития во многом искажаются в силу того, что внешнее и внутреннее, условная и реальная ролевая игра

систематически распадаются. Во многих сферах мы играем спектакль по мизансценам индустриального общества, хотя в условиях, в каких мы живем и действуем теперь, более невозможно играть предписанные ими роли, но все-таки мы их играем перед самими собой и перед другими, прекрасно зная, что на самом деле все происходит совершенно иначе.

Это «как будто» царит на сцене с XIX века и по сей день, на пороге века XXI. Ученые делают вид,

как будто арендовали истину, и с точки зрения внешней иначе не могут, так как от этого целиком зависит их позиция. Политики — особенно в предвыборной борьбе — обязаны притворяться решающей властью, прекрасно зная, что это

системно обусловленная легенда, в чем их при первом же удобном случае и попрекнут. Реальность этих фикций — в функциональной ролевой игре и властной структуре индустриального общества. Но их «реальность» — в возникших джунглях непредсказуемостей, которые как раз представляют собой

результат рефлексивных модернизаций. Порождается ли или устраняется таким образом нищета и что в каком аспекте имеет силу — подобные вопросы труднорешимы не в последнюю очередь именно потому, что координатная система понятий сама затронута этим и затуманена. Чтобы вообще иметь возможность описать или понять достигнутый уровень вычлененной (суб)политики, явно требуется

другое понимание политики, нежели то, что лежит в основе специализации политики в политической системе по модели демократизации. В смысле общей демократии политика, разумеется, не генерализирована. Но тогда в каком смысле произошла генерализация? Какие убытки и выгоды означает — или осторожнее: могло бы означать — размывание границ политики для политической сферы и для сетей суб- и контрполитики?

Вводная позиция такова:

политика должна проследить путь самоограничения, которое исторически уже осуществилось . Политика давно уже не единственное и даже не центральное место, где принимаются решения о формировании общественного будущего. На выборах и в избирательных кампаниях речь идет не о том, чтобы выбрать «вождя нации», в руках которого сосредоточатся все нити власти и на которого можно взвалить все плохое и хорошее, происходящее в период его правления. Будь это так, мы бы жили при диктатуре, которая выбирает себе диктатора, а не в демократии. Можно прямо-таки сказать: все централизационные представления политики обратно пропорциональны степени демократизации общества. Осознать это чрезвычайно важно, поскольку принуждение к оперированию фикцией централизованной государственной власти создает фон ожиданий, на котором реальность реальных политических сплетений представляется слабостью, несостоятельностью, каковую можно устранить лишь с помощью «твердой руки», хотя фактически она, наоборот, есть признак универсализованной гражданской сопротивляемости в смысле активного со- и противодействия.

То же справедливо и для другой стороны этого отношения — для разнообразнейших полей субполитики. Экономика, наука и т. д. не могут более притворяться, будто не делают того, что делают, — изменяют условия общественной жизни, а значит,

своими средствами вершат политику. В этом нет ничего неприличного, ничего такого, что стоило бы утаивать и прятать. Скорее, это осознанное формирование и осуществление свободы действий, раскрывшейся в ходе модерна. Когда все оказалось в нашем распоряжении, стало продуктом человеческих рук,

эпоха отговорок ушла в прошлое . Объективных принуждений уже нет — разве что мы сами позволяем им властвовать. Это, конечно, не означает, что теперь все можно сформировать так или этак, но шапка-невидимка объективных принуждений снята, и потому необходимо взвешивать интересы, точки зрения, возможности. Даже накопленные под оптимистическим панцирем прогрессивности привилегии создавать свершившиеся факты не могут уповать на глобальную справедливость. Отсюда возникает вопрос, каким образом, если не с помощью предписаний или парламентских решений, можно было бы проконтролировать, скажем, научные исследования, заново дефинирующие жизнь и смерть. А конкретно, как мы, например, можем воспрепятствовать в будущем.

Литература

Предисловие

Adorno, Th. W. (Hg.): Sp?tkapitalismus oder Industriegesellschaft? Frankfurt 1969

Anders, G.: Die Antiquiertheit des Menschen. ?ber die Zerst?rung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution, M?nchen 1980

Beck, U.: Von der Verg?nglichkeit der Industriegesellschaft, in: Schmid, Th. (Hg.), Das pfeifende Schwein, Berlin 1985

Bell, D.: Die Zukunft der westlichen Welt — Kultur und Technik im Widerstreit, Frankfurt 1976

Berger, J. (Hg.): Moderne oder Postmoderne, Sonderband 4 der Sozialen Welt, G?ttingen 1986 (im Erscheinen)

Berger, P., Berger, B., Kellner, H.: Das Unbehagen in der Modernit?t, Frankfurt 1975

Brand, G.: Industrialisierung, Modernisierung, gesellschaftliche Entwicklung, in: ZfS/1, 1972, S. 2-14

Dahrendorf, R.: Lebenschancen, Frankfurt 1979

Eisenstadt, S. N.: Tradition, Wandel und Modernität, Frankfurt 1979

Etzioni, A.: An Immodest Agenda, New York 1983

Fourastie, J.: Die Grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts, Köln 1969

Gehlen, A.: Über die kulturelle Kristallisation, in: ders.: Studien zur Anthropologie und Soziologie, Neuwied 1963

Habermas, J.: Der Diskurs der Moderne, Frankfurt 1985

Ders.: Die Neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt 1985

Horkheimer, M., Adorno, Th. W.: Dialektik der Aufklärung, Frankfurt 1969

Jonas, H.: Das Prinzip Verantwortung — Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt 1984

Koselleck, R.: Vergangene Zukunft, Frankfurt 1979

Lepsius, M. R.: Soziologische Theoreme über die Sozialstruktur der «Moderne» und der «Modernisierung», in: Koselleck, R. (Hg.): Studien zum Beginn der modernen Welt, Stuttgart 1977

Lodge, D.: Modernism, Antimodernism and Postmodernism, Birmingham 1977

Schelsky, H.: Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation, in: ders.: Auf der Suche nach Wirklichkeit, Düsseldorf 1965

Toffler, A.: Die dritte Welle — Zukunftschancen, Perspektiven für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, München 1980

Touraine, A.: Soziale Bewegungen, in: Soziale Welt 1983/Heft 1

Контуры общества риска (гл. I и II)

Anders, G.: Die atomare Bedrohung, München 1983

Bechmann, G. (Hg.): Gesellschaftliche Bedingungen und Folgen der Technologiepolitik, Frankfurt/New York 1984

Brooks, H.: The resolution of technically intensive public policy disputes, in: Science, Technology, Human Values, Vol. 9, Nr. 1/1984

Conrad, J.: Zum Stand der Risikoforschung, Frankfurt: Battelle, 1978

Corbin, A.: Pesthauch und Blütenduft, Berlin 1984

Douglas, M., Wildavsky, A.: Risk and Culture, New York 1982

Eppler, E.: Wege aus der Gefahr, Reinbek 1981

Friedrichs, G., Bechmann, G., Gloede, F.: Grosstechnologien in der gesellschaftlichen Kontroverse, Karlsruhe 1983

Glutz, P.: Die Arbeit der Zuspitzung, Berlin 1984

J?nicke, M.: Wie das Industriesystem von seinen Missst?nden profitiert, K?In 1979

J?nicke, M., Simonis, U. E., Weegmann, G.: Wissen f?r die Umwelt. 17 Wissenschaftler bilanzieren. Berlin/New York 1985

Jungk, R.: Der Atomstaat. Vom Fortschritt in die Unmenschlichkeit, Hamburg 1977

Kallscheuer, O.: Fortschrittsangst, in: Kursbuch Nr. 74/1983

Keck, O.: Der schnelle Br?ter — Eine Fallstudie ?ber Entscheidungsprozesse in der Grosstechnologie, Frankfurt 1984

Kitschelt, H.: Der ?kologische Diskurs. Eine Analyse von Gesellschaftskonzeptionen in der Energiedebatte, Frankfurt 1984

Koselleck, R. (Hg.): Studien ?ber den Beginn der modernen Welt, Stuttgart 1977

Kruedener, J.v., Schulert, K.v. (Hg.): Technikfolgen und sozialer Wandel, K?In 1981

Lahl, U, Zeschmer, B.: Formaldehyd — Portr?t einer Chemikalie: Kniefall der Wissenschaft vor der Industrie? Freiburg 1984

Leipert, C., Simonis, U. E.: Arbeit und Umwelt, Forschungsbericht Berlin 1985

Mayer-Tasch, P. C.: Die Internationale Umweltpolitik als Herausforderung f?r die Nationalstaatlichkeit, in: aus politik und Zeitgeschichte, 20/1985

Moscovici, S.: Versuch ?ber die menschliche Geschichte der Natur, Frankfurt 1982

Natur 4/85, S. 46–50: «H?chstmengen»

Nelkin, D., Brown, M. S.: Workers at risk, Chicago 1984

Nelkin, D., Pollok, M.: Public Participation in Technological Decisions: Reality or Grand Illusion? in: Technology Review, August/September 1979

Nowotny, H. (Hg.): Vom Technology Assessment zur Technikbewertung. Ein europ?ischer Vergleich, Wien 1985

O'Riordian: The cognitive and political dimension of risk analysis, in: Journal of Environmental Psychology 3/83, S. 345–354

Otway, H., Pahner, P. D.: Risk Assessment, in: Futures 8 (1976), S. 122–134

Otway, H., Thomas, K.: Reflections on Risk Perception and Policy, in: Risk Analysis, Vol. 2, No. 2/1982

Perrow, Ch.: Normal Accidents: Living with High Risk Technologies, New York 1984

Rat der Sachverst?ndigen fiir Umweltfragen: Sondergutachten Umweltprobleme der Landwirtschaft (Kurzfassung), Ms. 1985

Renn, O.: Risikowahrnehmung in der Kernenergie, Frankfurt 1984

Ropohl, G.: Die unvollkommene Technik, Frankfurt 1985

Rowe, W. D.: An Anatomy of Risk, New York 1975

- Schutz, R.: ?kologische Aspekte einer naturphilosophischen Ethik, Ms. Bamberg 1984
- Schumm, W.: Die Risikoproduktion kapitalistischer Industriegesellschaften, Ms. Frankfurt 1985
- Short, J. E: The social fabric of risk: towards the social transformation of risk analysis, in: American Sociological Review 1984, Vol. 49 Dezember, S. 711-725
- Sp?th, L.: Wende in die Zukunft. Die Bundesrepublik in die Informationsgesellschaft, Reinbek 1985
- Starr, Ch.: Social Benefit Versus Technological Risk, Science 165, 1965, S. 1232-1238
- Stegm?ller, W.: Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie, Berlin/ New York 1970
- Strasser, J., Traube, K.: Die Zukunft des Fortschritts. Der Sozialismus und die Krise des Industrialismus, Berlin 1984
- The Council for Science and Society: The Acceptability of Risks, London 1977
- Thompson, M., Wildavsky, A.: A proposal to create a cultural theory of risk, in: Kunreuther/Ley (Hg.): The risk analysis controversy. New York 1982
- Touraine, A. u.a.: Die antinucleare Prophetie. Zukunftsentw?rfe einer sozialen Bewegung, Frankfurt 1982
- Umweltbundesamt (Hg.): Berichte 5, Berlin 1985
- Urban, M.: Wie das Sevesogift wirkt, in: S?ddeutsche Zeitung vom 30.5.1985
- Van den Daele, W.: Technische Dynamik und gesellschaftliche Moral. - Zur soziologischen Bedeutung der Gentechnologie, in: Soziale Welt 2/3 1986
- Wambach, M. M. (Hg.): Der Mensch als Risiko. Zur Logik von Pr?vention und Fr?herkennung, Frankfurt 1983
- Индивидуализация социального неравенства (гл. III)
- Abelshauser, W.: Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945–1980, Frankfurt am Main 1983
- Alber, J.: Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. Analysen zur Entwicklung der Sozialversicherung in Westeuropa, Frankfurt am Main/New York 1982
- Allerbeck, K. R., Stork, H. R.: «Soziale Mobilit?t in Deutschland 1833–1970». Eine Reanalyse, in: KZfSS 32/1980, S. 93 ff.
- Arbeits -
- und Sozialstatistik: Hauptergebnisse, hrsg. vom Bundesminister der Sozialordnung, Bonn 1983
- Badura, B. (Hg.): Soziale Unterst?tzung und chronische Krankheit, Frankfurt am Main 1981
- Bahrtdt, H. P.: Erz?hlte Lebensgeschichten von Arbeitern, in: Osterland (Hg.): Arbeitssituation, Lebenslage und Konfliktpotential, Frankfurt am Main, 1975
- Ballerstedt, E., Glatzer, W.: Soziologischer Almanach, Frankfurt am Main 1979
- Balsen, W., Nakielski, H., R?ssel, K., Winkel, R.: Die neue Armut — Ausgrenzung von Arbeitslosen aus der Arbeitslosenunterst?tzung, K?ln 1984

- Beck, V: Jenseits von Stand und Hasse? in: Kreckel (Hg.): Soziale Ungleichheiten, Sonderband 2 der Sozialen Welt, Göttingen 1983
- Beilmann, L., Gerlach, K, Hiibler, O.: Lohnstruktur in der Bundesrepublik Deutschland. Zur Theorie und Empirie der Arbeitseinkommen, Frankfurt am Main/New York 1984
- Bendix, R., Lipset, S. M.: Social Mobility in Industrial Society, Berkeley/ Los Angeles 1959
- Berger, J Das Ende der Gewissheit — Zum analytischen Potential der Marxschen Theorie, in: Leviathan 11/1983, S. 475 ff.
- Berger, P. A.: Entstrukturierte Klassengesellschaft? Klassenbildung und Strukturen sozialer Ungleichheit im historischen Wandel, Opladen 1986
- Bericht der Kommission «Zukunftsperspektiven Gesellschaftlicher Entwicklung», erstellt im Auftrag der Landesregierung Baden-Württemberg, Stuttgart 1983
- Bildung im Zahlenspiel: Bildung im Zahlenspiel, hrsg. vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden/Stuttgart 1983
- Bischoff, J. u.a.: Jenseits der Hassen? Gesellschaft und Staat im Spätkapitalismus, Hamburg 1982
- Blossfeld, P: Bildungsreform und Beschäftigung der jungen Generation im öffentlichen und privaten Sektor. Eine empirisch vergleichende Analyse, in: Soziale Welt 35/1984, S. 159 ff.
- Bolte, K. M.: Anmerkungen zur Erforschung sozialer Ungleichheit, in: Kreckel, R. (Hg.): Soziale Ungleichheiten, Soziale Welt, Sonderband 2, Göttingen 1983
- Bolte, K. M., Hradil, S.: Soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1984
- Bonss, W., Heinze, H. G. (Hg.): Arbeitslosigkeit in der Arbeitsgesellschaft, Frankfurt am Main 1984
- Borchardt, K.: «Nach dem 'Wunder'. Über die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik», in: Merkur 39/1985. 35 ff.
- Bourdieu, P.: Die feinen Unterschiede, Frankfurt am Main 1982
- Bourdieu, R., Passeron, J.-C.: Die Illusion der Chancengleichheit, Stuttgart 1971
- Brock, D., Vetter, H.-R.: Alltägliche Arbeitsexistenz, Frankfurt am Main 1982
- Buchtemann, Gh. F.: Der Arbeitsprozess. Theorie und Empirie strukturierter Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland, in: Bonss/ Heinze (Hg.) 1984, S. 53 ff.
- Cohen, J.L.: Class and Civil Society: The Limits of Marxian Critical Theory, Amherst 1982
- Conze, W., Lepsius, M. R. (Hg.): Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Beiträge zum Kontinuitätsproblem, Stuttgart 1983
- Cottrell, A.: Social Classes in Marxist Theory, London 1984
- Dahrendorf, R.: Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft, Stuttgart 1957
- Engelsing, R.: Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- und Unterschichten, Göttingen 1978
- Fehrer, F., Heller, A.: «Class, Democracy and Modernity», in: Theory and Society 12/1983, S. 211 ff.

- Flora, P. et al.: State, Economy and Society in Western Europe 1815–1975. A Data Handbook in Two Volumes, Vol. I: The Growth of Mass Democracies and Welfare States, Frankfurt am Main/London/Chicago 1983
- Geiger, Th.: Die Klassengesellschaft im Schmelztiegel, K?ln/Hagen 1969
- Giddens, A.: The Class Structure of Advanced Societies, London 1983 (deutsch: Frankfurt am Main 1979)
- Glatzer, W., Zapf, W. (Hg.): Lebensqualit?t in der Bundesrepublik. Objektive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden, Frankfurt am Main/ New York 1984
- Goldthorpe, J. H. u.a.: Der «wohlhabende» Arbeiter in England, 3 B?nde, M?nchen 1970 (englische Ausgabe: London 1968)
- Goldthorpe, J. H.: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain, Oxford 1980
- Gorz, A.: Abschied vom Proletariat, Frankfurt am Main 1980
- Gouldner, A.W.: Die Intelligenz als neue Klasse, Frankfurt am Main 1980
- Haller, M., M?ller, W.: Besch?ftigungssystem im gesellschaftlichen Wandel, Frankfurt am Main/New York 1983
- Handl, J., Mayer, K.U., M?ller, W.: Klassenlagen und Sozialstruktur. Empirische Untersuchungen f?r die Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt am Main 1977
- Heinze, R.G., Hohn, H.-W, Hinrichs, K., Olk, T.: Armut und Arbeitsmarkt: Zum Zusammenhang von Klassenlagen und Verarmungsrisiken im Sozialstaat, in: ZfS 10/1981, S. 219 ff.
- Herkommer, S.: Sozialstaat und Klassengesellschaft — Zur Reproduktion sozialer Ungleichheit im Sp?tkapitalismus, in: Kreckel, R. (Hg.): Soziale Ungleichheiten, Soziale Welt, Sonderband 2, G?ttingen 1983
- H?rning, K. (Hg.): Der «neue» Arbeiter — Zum Wandel sozialer Schichtstrukturen, Frankfurt am Main 1971
- Hondrich, K. O.: Der Wert der Gleichheit und der Bedeutungswandel der Ungleichheit, in: Soziale Welt 35/1984, S. 267 ff.
- Ders. (Hg.): Soziale Differenzierungen, Frankfurt am Main 1982
- Honneth, A.: Moralbewusstsein und soziale Klassenherrschaft. Einige Schwierigkeiten in der Analyse normativer Handlungspotentiale, in: Leviathan 9/1981, S. 555 ff.
- Hradil, S.: Die Ungleichheit der «Sozialen Lage», in: Kreckel, R. (Hg.): Soziale Ungleichheiten, Soziale Welt, Sonderband 2, G?ttingen 1983
- Huck, G. (Hg.): Sozialgeschichte der Freizeit. Untersuchungen zum Wandel der Alltagskultur in Deutschland, Wuppertal 1980
- Kaelble, H.: Industrialisierung und soziale Ungleichheit. Europa im 19. Jahrhundert. Eine Bilanz, G?ttingen 1983
- Ders.: Soziale Mobilit?t und Chancengleichheit im 19. und 20. Jahrhundert. Deutschland im internationalen Vergleich, G?ttingen 1983

Kickbusch, I., Riedmüller, B. (Hg.): Die armen Frauen. Frauen in der Sozialpolitik, Frankfurt am Main 1984

Kocka, J.: Stand — Klasse — Organisation. Strukturen sozialer Ungleichheit in Deutschland vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert im Aufriss, in: Wehler (Hg.), 1979

Ders.: Lohnarbeit und Klassenbindung, Bonn 1983

Ders.: Diskussionsbeitrag, in: Kreckel, R. (Hg.): Soziale Ungleichheiten, Soziale Welt, Sonderband 2, Göttingen 1983

Kreckel, R.: Theorie sozialer Ungleichheit im Übergang, in: ders. (Hg.): Soziale Ungleichheiten, Soziale Welt, Sonderband 2, Göttingen 1983

Langewiesche, D., Schönhoven, K. (Hg.): Arbeiter in Deutschland. Studien zur Lebensweise der Arbeiterschaft im Zeitalter der Industrialisierung, Paderborn 1981

Lederer, E.: Die Gesellschaft der Unselbständigen. Zum sozialpsychischen Habitus der Gegenwart, in: ders.: Kapitalismus, Klassenstruktur und

Probleme der Demokratie in Deutschland, hrsg. von Kocka, J., Göttingen 1979, S. 14 ff.

Lepsius, M. R.: Soziale Ungleichheit und Hassenstruktur in der Bundesrepublik Deutschland, in: Wehler (Hg.), 1979

Lutz, B.: Bildungsexpansion und soziale Ungleichheit — Eine historischsoziologische Skizze, in: Kreckel, R. (Hg.): Soziale Welt, Sonderband 2, Göttingen 1983

Ders.: Der kurze Traum immerwährender Prosperität. Eine Neuinterpretation der industriell-kapitalistischen Entwicklung im Europa des 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main/New York 1984

Maase, K.: Betriebe ohne Hinterland? Zu einigen Bedingungen der Hassenbildung im Reproduktionsbereich, in: Institut für Marxistische Studien und Forschungen (Hg.): Marxistische Studien. Jahrbuch des IMSF 7, Frankfurt am Main, 1984, S. 256 ff.

Marx, K.: Die Frühschriften, Stuttgart 1971

Ders.: Der 18te Brumaire des Louis Napoleon, in: MEW, Bd. 8, Berlin 1982, S. 111 ff.

Miegel, M.: Die verkannte Revolution. Einkommen und Vermögen privater Haushalte, Stuttgart 1983

Mommsen, W.J., Mock, W. (Hg.): Die Entstehung des Wohlfahrtsstaates in Grossbritannien und Deutschland 1850–1950, Stuttgart 1982

Moore, B.: Ungerechtigkeit — Die sozialen Ursachen von Unterordnung und Widerstand, Frankfurt am Main 1982

Mooser, J.: Auflösung proletarischer Milieus. Hassenbildung und Individualisierung in der Arbeiterschaft vom Kaiserreich bis in die Bundesrepublik Deutschland, in: Soziale Welt 34/1983, S. 270 ff.

Ders.: Arbeiterleben in Deutschland 1900–1970. Hassenlagen, Kultur und Politik, Frankfurt am Main 1984

Müller, W., Mülls, A., Handl, J.: Strukturwandel der Frauenarbeit, Frankfurt am Main/New York 1983

Osterland, M.: Materialien zur Lebens- und Arbeitssituation der Industriearbeiter in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt am Main 1973

Ders.: Lebensbilanzen und Lebensperspektiven von Industriearbeitern, in: Kohli, M. (Hg.): Soziologie des Lebenslaufes, Darmstadt 1978

Pappi, F. U.: Konstanz und Wandel der Hauptspannungslinien in der Bundesrepublik, in: Matthes (Hg.): Sozialer Wandel in Westeuropa, Frankfurt am Main 1979

Reulecke, J., Weber, W. (Hg.): Fabrik, Familie, Feierabend. Beitr ge zur Sozialgeschichte des Alltags im Industriezeitalter, Wuppertal 1978

Schelsky, H.: Die Bedeutung des Hassenbegriffs f r die Analyse unserer Gesellschaft, in: Seidel/Jenker (Hg.): Hassenbildung und Sozialschichtung, Darmstadt 1961

Schneider, R.: Die Bildungsentwicklung in den westeurop ischen Staaten 1870–1975, in: ZfS, Jg. 11/Heft 3, 1982

Teichler, U., Hartung, D., Nuthmann, R.: Hochschulexpansion und Bedarf der Gesellschaft, Stuttgart 1976

Thompson, E. P.: The Making of the English Working Class, Harmonds- worth 1963

Voigt, R. (Hg.): Verrechtlichung, K nigstein 1980

Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft, 3. Auflage, T bingen 1972

Wehler, H.-U. (Hg.): Klassen in der europ ischen Sozialgeschichte, G ttingen 1979

Westergaard, ./.: The Withering Away of Class: A Contemporary Myth, in: Anderson, P. (ed.): Towards Socialism, London 1965

Wiegand, E., Zapf, W. (Hg.): Wandel der Lebensbedingungen in Deutschland. Wohlfahrtsentwicklung seit der Industrialisierung, Frankfurt am Main/ New York 1982

Zapf, W. (Hg.): Lebensbedingungen in der Bundesrepublik. Sozialer Wandel und Wohlfahrtsentwicklung, Frankfurt am Main/New York 1977

«Я» это «я»: взаимоотношения полов внутри и вне семьи — врозь, вместе и против друг друга (гл. IV)

Allerbeck, K., Hoag, W.: Jugend ohne Zukunft, M nchen 1984

Aries, P., Bejin, A., Foucault, M. u. a.: Die Masken des Begehrens und die Metamorphosen der Sinnlichkeit — Zur Geschichte der Sexualit t im Abendland, Frankfurt 1984

Aries, P.: Liebe in der Ehe, in: ebd. S. 165-175

Beck-Gernsheim, E.: Vom Geburtenr ckgang zur Neuen M tterlichkeit? —  ber private und politische Interessen am Kind, Frankfurt 1984

Dies.: Das halbierte Leben. M nnerwelt Beruf, Frauenwelt Familie, Frankfurt 1985 (2. Aufl.)

Dies.: Vom «Dasein f r andere» zum Anspruch auf ein St ck «eigenes Leben», in: Soziale Welt 1983, S. 307–340

Dies.: Von der Liebe zur Beziehung? Ver nderungen im Verh ltnis von Mann und Frau in der individualisierten Gesellschaft, in: J. Berger (Hg.): Moderne oder Postmoderne, Sonderband 4 der

Sozialen Welt, Göttingen

1986 (im Erscheinen)

Dies.: Geburtenrückgang und Neuer Kinderwunsch, Habilitationsschrift München 1986

Bejin, A.: Ehen ohne Trauschein heute, in: Aries u. a., Frankfurt 1984

Berger, B., Berger, P. L.: The War over the Family, New York 1983 (deutsch: Reinbek 1984)

Berger, P., Kellner, H.: Die Ehe und die Konstruktion der Wirklichkeit, in: Soziale Welt 1965, S. 220–241

Bernardoni, C., Werner, V (Hg.): Der vergeudete Reichtum — über die Partizipation von Frauen im öffentlichen Leben, Bonn 1983

Beyer, J. u. a. (Hg.): Frauenlexikon — Stichworte zur Selbstbestimmung, München 1983

Biermann, L., Schmerl, C., Ziebell, L.: Leben mit kurzfristigem Denken-Eine Untersuchung zur Situation arbeitsloser Akademikerinnen, Weilheim und Basel 1985

Brost, H.-G., Wohlrab-Sahr, M.: Formen individualisierter Lebensführung von Frauenein neues Arrangement zwischen Familie und Beruf, in: Brose (Hg.): Berufsbiographien im Wandel, Opladen 1986

Buchholz, W. u.a.: Lebenswelt und Familienwirklichkeit, Frankfurt 1984

Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hg.): Grund- und Strukturdaten, Bonn 1982/83 und 1984/85

Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit (Hg.): Nichteheliche Lebensgemeinschaften in der Bundesrepublik Deutschland, Köln 1985

Ders. (Hg.): Frauen 80, Köln 1981

Degler, C. N.: At Odds — Women and the Family in America from the Revolution to the Present, New York 1980

Demos, J., Boocock, S. S. (ed.): Turning Points-Historical and Sociological Essays on the Family, Chicago 1978

Diezinger, A., Marquardt, R., Bilden, H.: Zukunft mit beschränkten Möglichkeiten, Projektbericht, München 1982

Ehrenreich, B.: The Hearts of Men, New York 1983 (deutsch: Reinbek 1985,)

Erler, G. A.: Erdöl und Mutterliebe — von der Knappheit einiger Rohstoffe, in: Schmid, Th. (Hg.): Das pfeifende Schwein, Berlin 1985

Frauenlexikon, München 1983

Gensior, S.: Moderne Frauenarbeit, in: Karriere oder Kochtopf, Jahrbuch für Sozialökonomie und Gesellschaftstheorie, Opladen 1983

Gilligan, C.: Die andere Stimme — Lebenskonflikte und Moral der Frau, München 1984

Glich, P. C.: Marriage, divorce, and living arrangements; in: Journal of Family Issue 1984, 5 (1), S. 7-26

- Hoff, A., Scholz, J.: Neue Männer in Beruf und Familie, Forschungsbericht Berlin 1985
- Imhof, A. E.: Die gewonnenen Jahre, München 1981
- Ders.: Die verlorenen Welten, München 1984
- Institut für Demoskopie Allensbach, Einstellungen zu Ehe und Familie im Wandel der Zeit, Stuttgart 1985
- Jurreit, M.-L. (Hg.): Frauenprogramm. Gegen Diskriminierung. Ein Handbuch, Reinbek 1979
- Kamerman, S. B.: Women, Children and Poverty: Public Policies and Female-headed Families in Industrialized Countries, in: Signs — Journal of Women in Culture and Society, Special Issue «Women and Poverty», Chicago 1984
- Kommission: Zukunftsperspektiven gesellschaftlicher Entwicklungen, Bericht Stuttgart 1983 (erstellt im Auftrag der Landesregierung von Baden-Württemberg)
- Lasch, C.: Haven in Heartless World: The Family Besieged, New York 1977
- Metz-Göckel, S., Müller, U.: Der Mann, Brigitte-Untersuchung, Ms., Hamburg 1985
- Müller, W., Willms, A., Handl, J.: Strukturwandel der Frauenarbeit, Frankfurt 1983
- Muschg, G.: Bericht von einer falschen Front, in: H. P. Piwitt (Hg.), Literaturmagazin 5, Reinbek 1976, S. 30 ff.
- Olerup, A., Schneider, L., Monod, E.: Women, Work and Computerization — Opportunities and Disadvantages, New York 1985
- Ostner, J., Piper, B. (Hg.): Arbeitsbereich Familie, Frankfurt 1986
- Pearce, D., McAadoo, H.: Women and Children: Alone and in Poverty, Washington 1981
- Pross, H.: Der deutsche Mann, Reinbek 1978
- Quintessenzen 1984, Frauen und Arbeitsmarkt, Nürnberg (IAB) 1984
- Rerrich, M. S.: Veränderte Elternschaft, in: Soziale Welt 1983, S. 420–449
- Dies.: Vaterbild und Familienvielfalt, München 1986
- Rubin, L. B.: Intimate Strangers. Men and Women Together, New York 1983
- Schulz, W.: Von der Institution «Familie» zu den Teilbeziehungen zwischen Mann, Frau und Kind, in: Soziale Welt 1983, S. 401–419
- Seidenspinner, G., Burger, A.: Mädchen 82, Brigitte-Untersuchung
- Sennett, R.: The Fall of Public Man, London 1976 (deutsch: Frankfurt 1983)
- Statistisches Bundesamt (Hg.): Datenreport, Bonn 1983
- Wahl, K. u. a.: Familien sind anders! Reinbek 1980
- Weber-Kellermann, /.: Die deutsche Familie. Versuch einer Sozialgeschichte, Frankfurt 1975.

Wiegmann, B.: Frauen und Justiz, in: Jurreit (Hg.), 1979

Willms, A.: Grundzüge der Entwicklung der Frauenarbeit von 1880 bis 1980, in: Müller, W. u. a., (1983)

Индивидуализация, институционализация и стандартизация жизненных обстоятельств и образцов биографий (и. V)

Adorno, T. W: Minima Moralia, Frankfurt 1982

Baethge, M.: Individualisierung als Hoffnung und Verhängnis, in: Soziale Welt 1985/Heft 3, S. 299 ff.

Beck-Gernsheim, E.: Geburtenrückgang und Neuer Kinderwunsch, Habilitationsschrift, München 1986

Bolte, K. M.: Subjektorientierte Soziologie, in: ders. (Hg.): Subjektorientierte Arbeits- und Berufssoziologie, Frankfurt 1983

Brose, H.-G.: Die Vermittlung von sozialen und biographischen Zeitstrukturen, in: KZfSS, Sonderheft 29, 1982, S. 385 ff.

Dörkheim, E.: Über die Teilung der sozialen Arbeit, Frankfurt 1982

Elias, N.: Über den Prozess der Zivilisation, Bern/München 1969

Fuchs, W.: Jugendliche Statuspassage oder individualisierte Jugendbiographie? in: Soziale Welt 34/1983, S. 341–371

Ders.: Biographische Forschung, Opladen 1984

Geulen, D.: Das vergesellschaftete Subjekt, Frankfurt 1977

Gross, P.: Bastelmentalität: Ein «postmoderner» Schwebezustand, in: Schmid, Th. (Hg.): Das pfeifende Schwein, Berlin 1985, S. 63–84

I

mhof, A. E.: Von der unsicheren zur sicheren Lebenszeit, in: Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 71, 1984, S. 175 bis 198

Kohli, M.: Die Institutionalisierung des Lebenslaufes, in: KZfSS 1985/1, S. 1-29

Kohli, M., Meyer, J. W. (Hg.): Social Structure and Social Construction of Life Stages (Symposium mit Beiträgen von Riley, M. W., Mayer, K. ?, Held, T., Hareven, T. K.) in: Human Development, 18, 1985

Kohli, M., Robert, G. (Hg.): Biographie und soziale Wirklichkeit, Stuttgart 1984

Luhmann, N.: Die Autopoiesis des Bewusstseins, in: Soziale Welt 1985, Heft 4, S. 402

Maase, K.: Betriebe ohne Hinterland, in: Marxistische Studien, Jahrbuch des IMSF, Frankfurt 1984

Meyer, J. W. (Hg.): Social Structure and Social Construction of Life Stages, in: Human Development, 18, 1985

Nunner-Winkler, G.: Identität und Individualität, in: Soziale Welt 1985, Heft 4, S. 466

- Rosenmayr, L. (Hg.): Die menschlichen Lebensalter. Kontinuität und Krisen, München 1978a
- Ders.: Wege zum Ich vor bedrohter Zukunft, in: Soziale Welt 1985, Heft 3, S. 274 ff.
- Simmel, G.: Philosophie des Geldes, Berlin 1958
- Ders.: Soziologie, Berlin 1968
- Vester, H.-G.: Die Thematisierung des Selbst in der postmodernen Gesellschaft, Bonn 1984
- Дестандартизация наемного труда. К вопросу о будущем специального образования и занятости (гл. VI)
- Althoff, H.: Der Statusverlust im Anschluss an eine Berufsausbildung, in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 5/1982, S. 16 ff.
- Altmann, N. u. a.: Ein neuer Rationalisierungstyp, in: Soziale Welt 2/3, 1986
- Arendt, H.: Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 1981
- Beck, U., Brater, M., Daheim, H.-J.: Soziologie der Arbeit und der Berufe, Reinbek 1980
- Blossfeld, H.-P.: Bildungsreform und Beschäftigung der jungen Generation im öffentlichen Dienst, in: Soziale Welt 35 (1984), Heft 2
- Buck, B.: Berufe und neue Technologien, in: Soziale Welt 1985, Heft 1, S. 83f.
- Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hg.): Grund- und Strukturdaten 1982/83
- Dahrendorf, R.: Im Verschwinden der Arbeitsgesellschaft. Wandlungen der sozialen Konstruktion des menschlichen Lebens, in: Merkur 34/ 1980, S. 749 ff.
- Ders.: Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht, in: Matthes, J. (Hg.), 1983, S. 25 ff.
- Dierkes, M., Strömpel, B. (Hg.): Wenig Arbeit, aber viel zu tun, Köln 1985
- Dombois, R., Osterland, M.: Neue Formen des flexiblen Arbeitskräfteeinsatzes: Teilzeitarbeit und Leiharbeit, in: Soziale Welt 33/1982, S. 466 ff.
- Handl, J.: Zur Veränderung der beruflichen Chancen von Berufsanfängern zwischen 1950 und 1982, Thesenpapier, Nürnberg 1984
- Heinze, R. G.: Der Arbeitsschock, Köln 1984
- Hirschhorn, L.: The theory of social services, in: Health Services, Volume 9, No. 2, 1979, S. 295–311
- Harnstein, W.: Kindheit und Jugend im Spannungsfeld gesellschaftlicher Entwicklung, in: Jugend in den achtziger Jahren: Eine Generation ohne Zukunft? Schriftenreihe des Bayr. Jugendrings, München 1981, S. 51 ff.
- Jürgens, U., Naschold, F. (Hg.): Arbeitspolitik. Materialien zum Zusammenhang von politischer Macht, Kontrolle und betrieblicher Organisation der Arbeit, Opladen 1984
- Kaiser, M. u.a.: Fachhochschulabsolventen — zwei Jahre danach, in: Mitt-AB 1984, S. 241 ff.
- Kern, H., Schumann, M.: Ende der Arbeitsteilung? München 1984
- Kloas, P.-W.: Arbeitslosigkeit nach Abschluss der betrieblichen Ausbildung, Thesenpapier, Nürnberg

1984

Kommission: Zukunftsperspektiven gesellschaftlicher Entwicklungen, Stuttgart 1983

Kubicek, H., Rolf, A.: Mikropolis mit Computernetzen in der «Informationsgesellschaft», Hamburg 1985

Kutsch, Th., Vilmar, F. (Hg.): Arbeitszeitverkürzung, Opladen 1983

Mertens, D.: Das Qualifikationsparadox. Bildung und Beschäftigung bei kritischer Arbeitsmarktperspektive, in: Zeitschrift für Pädagogik, 30/ 1984

Müller, C.: Ungeschätzte Beschäftigungsverhältnisse, in: Hagemann-White (Hg.): Beiträge zur Frauenforschung, Bamberg 1982

Negt, O.: Lebendige Arbeit, enteignete Zeit, Frankfurt 1984

Offe, C., Hinrichs, H., Wiesenenthal, H. (Hg.): Arbeitszeitpolitik, Frankfurt 1982

Offe, C.: Arbeitsgesellschaft: Strukturprobleme und Zukunftsperspektiven, Frankfurt am Main/New York 1984

Schelsky, H.: Die Bedeutung des Berufs in der modernen Gesellschaft, in: Luckmann/Sprondel (Hg.): Berufssoziologie, Köln 1942

Sklar, M.: On the proletarian revolution and the end of political-economic society, in: Radical America 3, 1968, S. 3-28

Наука по ту сторону истины и просвещения? Рефлексивность и критика научно-технического просвещения (гл. VII)

Aclomo, Th. W., Horkheimer, M.: Dialektik der Aufklärung, Frankfurt 1970

Beck, U.: Objektivität und Normativität — Die Theorie-Praxis-Debatte in der modernen deutschen und amerikanischen Soziologie, Reinbek 1974

Ders. (Hg.): Soziologie und Praxis, Erfahrungen, Konflikte, Perspektiven, Sonderband 1 der Sozialen Welt, Göttingen 1982

Beck, U, Bonss, W.: Soziologie und Modernisierung. Zur Ortsbestimmung der Verwendungsforschung, in: Soziale Welt 1984, S. 381 ff.

Böhme, G., v.d. Daele, W., Krohn, W.: Alternativen in der Wissenschaft, in: ZfS, 1972, S. 302 ff.

Dies.: Die Finalisierung der Wissenschaft, in: ZfS, 1973, S. 128 ff.

Bonss, W., Hartmann, H.: Konstruierte Gesellschaft, rationale Deutung. Zum Wirklichkeitscharakter soziologischer Diskurse, in: dies.: Entzauberte Wissenschaft. Zur Relativität und Geltung soziologischer Forschung, Sonderband 3, Soziale Welt, Göttingen 1985

Bonss, W.: Die Einübung des Tatsachenblicks. Zur Struktur und Veränderung empirischer Sozialforschung, Frankfurt am Main 1982

Campbell, D. T.: Hütlinge und Rituale. Das Sozialsystem der Wissenschaft als Stammesorganisation, in: Bonss, W., Hartmann, H. (Hg.): Entzauberte Wissenschaft. Zur Relativität und Geltung soziologischer Forschung, Sonderband 3, Soziale Welt, Göttingen 1985

Carson, R.: Silent Spring, New York 1962

Commoner, B.: Science and Survival, New York 1963

Duerr, H. P. (Hg.): Der Wissenschaftler und das Irrationale, 2 Bde., Frankfurt am Main 1981

Feyerabend, P.: Erkenntnis für freie Menschen, Veränderte Ausgabe, Frankfurt am Main 1980

Gouldner, A., Miller, S. M.: Applied Sociology: Opportunities and Problems, New York 1965

Hartmann, H.: Empirische Sozialforschung, München 1970

Hartmann, H., Döbbers, E.: Kritik in der Wissenschaftspraxis. Buchbesprechungen und ihr Echo, Frankfurt am Main 1984

Hartmann, H., Hartmann, M.: Vom Elend der Experten: Zwischen Akademisierung und De-Professionalisierung, KZfSS 1982, S. 193 ff.

Hollis, M., Lukes, S. (Hg.): Rationality and Relativism, Oxford 1982

Illich, I.: Entmündigung durch Experten. Zur Kritik der Dienstleistungsberufe, Reinbek 1979

Knorr-Cetina, K.: Die Fabrikation von Erkenntnis, Frankfurt am Main 1984

Knorr-Cetina, K. D., Mulkay, M. (Hg.): Science Observed. Perspectives on the Social Study of Science, London 1983

Kuhn, Th.: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt am Main 1970

Koppers, G., Lundgreen, P., Weingart, P.: Umweltforschung — die gesteuerte Wissenschaft? Frankfurt 1978

Lakatos, I.,

Musgrave, A. (Hg.): Kritik und Erkenntnisfortschritt, Braunschweig 1974

Lakatos, I.: Methodologie der Forschungsprogramme, in: Lakatos, Musgrave (Hg.) 1974

Lau, Ch.: Soziologie im öffentlichen Diskurs. Voraussetzungen und Grenzen sozialwissenschaftlicher Rationalisierung und gesellschaftlicher Praxis, in: Soziale Welt 1984, S. 407 ff.

Lindbloom, Ch. E.: The Science of Muddling through, in: Public Administration Review 19, 1959, S. 79 ff.

Matthes, J.: Die Soziologen und ihre Wirklichkeit. Anmerkungen zum Wirklichkeitsverhältnis der Soziologie, in: Bonss, W., Hartmann, H. (Hg.): Entzauberte Wissenschaft. Zur Relativität und Geltung sozialwissenschaftlicher Forschung, Sonderband 3, Soziale Welt, Göttingen 1985

Meja, V., Stehr, N.: Der Streit um die Wissenssoziologie, 2 Bde., Frankfurt am Main 1982

Meyer-Abich, K. M.: Versagt die Wissenschaft vor dem Grundrecht der Freiheit? Gründe der Vertrauenskrise zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, in: Zeitschrift für Didaktik der Philosophie, Heft 1/1980

Mitchell, R. C.: Science Silent Spring; Science, Technology and the Environment Movement in the United States, Ms., Washington 1979

Nowotny, H.: Kernenergie: Gefahr oder Notwendigkeit, Frankfurt am Main 1979

Overington, M. A.: Einfach der Vernunft folgen: Neuere Entwicklungstendenzen in der Metatheorie, in: Bonss, W., Hartmann, H. (Hg.): Entzauberte Wissenschaft. Zur Relativität und Geltung soziologischer Forschung, Sonderband 3, Soziale Welt, Göttingen 1985

Pavelka, F.: Das Deprofessionalisierungsspiel. Ein Spiel für Profis, in: psychosozial 2/1979, S. 19 ff.

Popper, K. R.: Logik der Forschung, (1934), 6. überarbeitete Aufl., Tübingen 1968

Ders.: Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf, Hamburg 1972

Scott, R., Shore, A.: Why Sociology does not Apply: A Study of the Use of Sociology in Publicity, New York 1979

Shostak, A. B. (Hg.): Putting Sociology to Work, New York 1974

Stehr, N., König, R. (Hg.): Wissenschaftssoziologie. Studien und Materialien, KZfSS, Sonderheft 18, Köln/Opladen 1975

Stehr, N.

9

Meja, V: Wissenschaftssoziologie. (Sonderheft 22 der KZfSS), Opladen 1981

Struening, E. L., Brewer, B. (Hg.): The University Edition of the Handbook of Evaluation Research, London/Beverly Hills 1984

Weber, M.: Vom inneren Beruf zur Wissenschaft, in: J. Winkelmann (Hg.): Max Weber: Soziologie, weltgeschichtliche Analysen, Stuttgart 1982

Weingart, P: Das «Harrisburg-Syndrom» oder die De-Professionalisierung der Experten, 1979

Ders.: Verwissenschaftlichung der Gesellschaft-Politisierung der Wissenschaft, in: ZfS 1983, S. 225 ff.

Ders.: Anything goes — rien ne va plus, in: Kursbuch 78/1984, S. 74

Weiss, C. H. (Hg.): Using Social Research for Public Policy Making, Lexington: Lexington Books 1977

Wissenschaftszentrum Berlin (Hg.): Interaktion von Wissenschaft und Politik, Frankfurt 1977

Размывание границ политики. Соотношение политического управления и технико-экономического изменения в обществе риска (гл. VIII)

Alemann, U. v., Heinze, R. G. (Hg.): Verbände und Staat. Vom Pluralismus zum Korporatismus, Opladen 1979

Alemann, U. v. (Hg.): Neokorporatismus, Frankfurt am Main/New York 1981

Altmann, N. u.a.: Ein «Neuer Rationalisierungstyp», in: Soziale Welt, Heft 2/3, 1986

Arendt, H.: Macht und Gewalt, München 1981

Beck, U. / Brater, M.: Berufliche Arbeitsteilung und soziale Ungleichheit, Frankfurt/New York 1978

Beck, U.: Soziale Wirklichkeit als Produkt gesellschaftlicher Arbeit, unveröffentlichte Habilitationsschrift, München 1979

- Berger, S.: Politics and Anti-Politics in Western Europe in the Seventies, in: Daedalus 108, S. 27–50
- Berger, J. (Hg.): Moderne oder Postmoderne, Sonderband 4 der Sozialen Welt, Göttingen 1986
- Bergmann, Brandt, G., Korber, K., Mohl, O., Offe, C.: Herrschaft, Klassenverhältnis und Schichtung, in: Th. W. Adorno (Hg.): Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft? Stuttgart 1969
- Braczyk, H. J. u. a.: Konsensverlust und neue Technologien — Zur exemplarischen Bedeutung des Konfliktes um die Wiederaufarbeitungsanlage für die gesellschaftliche Steuerung technischen Wandels, in: Soziale Welt 2/3 1986 (hier zitiert nach Ms.)
- Brütigam, H. H., Mettler, L.: Die programmierte Vererbung, Hamburg 1985
- Brand, K. W., Büsser, D., Rucht, D.: Aufbruch in eine neue Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1983
- Brand, K. W. (Hg.): Neue soziale Bewegungen in Westeuropa und in den USA, Frankfurt am Main, 1985
- Bühl, W.: Die Angst des Menschen vor der Technik, Düsseldorf 1983
- Crozier, M., Huntington, S. P., Watanuki, J.: The Crisis of Democracy, New York 1975
- Crozier, M., Friedberg, E.: Macht und Organisation, Königstein 1979
- Daele, W. v.
- d.: Mensch nach Mass, München 1985
- Ders.: Technische Dynamik und gesellschaftliche Moral, in: Soziale Welt, H. 2/3, 1986
- Donati, P. R.: Organization between Movement and Institution, in: Social Science Information sur Les sciences sociales, 1984
- Elster, J.: «Risk, Uncertainty, and Nuclear Power», Social Science Information, 1979
- Flora, P., Alber, J.: Modernization, Democratization, and the Development of Welfare States in Western Europe, pp. 37–80, in: P. Flora, A. J. Heidenheimer (eds.): The Development of Welfare States in Europe and America, New Brunswick 1981
- Freeman, J. (Hg.): Social Movements in the Sixties and Seventies, New York und London 1983
- Gershuny, J. 1.: After Industrial Society? The Emerging Self-Service-Economy, London 1978
- Grew, R. (ed.): Crises of Political Development in Europe and the United States, Princeton 1978
- Habermas, J.: Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt 1973
- Ders.: Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 2, Frankfurt am Main, 1981
- Gross, P., Hitzler, R., Honer, A.: Zwei Kulturen? Diagnostische und therapeutische Kompetenz im Wandel, in: Zeitschrift für Soziologie, Sonderheft Medizinsoziologie, 1985
- Gruss, P.: Industrielle Mikrobiologie. Sonderheft Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg 1984
- Hirschman, A. O.: Shifting Involvements. Private Interests and Public Action, Princeton 1981
- Inglehart, R.: The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western Publics, Princeton 1977

Institute for Contemporary Studies (ed.): The Politics of Planning. A Review and Critique of Centralized Economic Planning, San Francisco 1976

Jaenicke, M.: Wie das Industriesystem von seinen Missständen profitiert, Köln 1979

Japp, K. P.: Selbsterzeugung oder Fremdverschulden. Thesen zum Rationalismus in den Theorien sozialer Bewegungen, in: Soziale Welt, Jg. 35, 1984

Jonas, H.: Technik, Ethik und Biogenetische Kunst, Ms. 1984

Kitschelt, H.: Materiale Politisierung der Produktion, in: ZfS, Jg. 14, H. 3, 1985, S. 188-208

Kommissionsbericht: Zukunftsperspektiven gesellschaftlicher Entwicklung, Stuttgart 1983, S. 167 ff.

Kress, K., Nikolai, K.-G.: Bürgerinitiativen — Zum Verhältnis von Betroffenheit und politischer Beteiligung der Bürger, Bonn 1985

Lipset, S. M., Rokkan, S.: Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction, in: dies, (eds.): Party Systems and Voter Alignments, New York 1967

Lew, R.: Gen und Ethik, in: Koslowski (Hg.): Die Verführung durch das Machbare, München 1983

Luhmann, N.: Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, München 1981

Mayer-Tasch, C. P.: Die Bürgerinitiativbewegung, Reinbek 1976

Mayntz, R. (Hg.): Implementationsforschung, Köln 1980

Melacci, A.: An End to Social Movements? Introductory paper to sessions on «new movements and change in organizational forms», in: Social Science Information sur Les sciences sociales, Bd. 23, Nr. 4/5, S. 819–835, 1984

Neidhardt, F.: Einige Ideen zu einer allgemeinen Theorie sozialer Bewegungen, in: Hradil (Hg.): Sozialstruktur im Umbruch, Opladen 1985

Offe, C.: Strukturprobleme des kapitalistischen Staates, Frankfurt 1972

Ders.: Konkurrenzpartei und politische Identität, in: R. Roth (Hg.): Parlamentarisches Ritual und politische Alternativen, Frankfurt am Main 1980, S. 26-42

Ders.: «Null-Option» in: Berger, J. (Hg.): Moderne oder Postmoderne, Sonderband 4 der Sozialen Welt, Göttingen 1986

Piore, M.J., Sabel, C. F.: Das Ende der Massenproduktion, New York, Berlin 1985

Radunski, P.: Die Wähler in der Stimmungsdemokratie, in: Sonde 2/1985, S. 3 ff.

Schenk, M.: Soziale Netzwerke und Kommunikation, Tübingen 1984

Sieferle, R. P.: Fortschrittsfeinde? Opposition gegen Technik und Industrie von der Romantik bis zur Gegenwart, München 1985

Stössel, J. 'P.: Dem chronisch Kranken hilft kein Arzt, in: Süddeutsche Zeitung vom 21.11.85

Touraine, A.: The Self-Production of Society, Chicago 1977

Willke, H.: Entzauberung des Staates, Überlegungen zu einer sozietaalen Steuerungstheorie, Königstein/Ts. 1983

I

Многим нашим специалистам в области социальных наук хорошо известны работы Ульриха Бека. Первый перевод одной из его статей на русский язык был опубликован шесть лет назад [27], и если тогда его известность в России была еще не столь велика, то теперь его имя чуть ли не у всех на слуху. Тем более уместно будет предварить статью, посвященную «Обществу риска», биографическими сведениями об авторе знаменитой книги[28].

Ульрих Бек родился в 1944 г. В 1966-м он поступил сначала на юридический факультет Фрайбургского университета, однако вскоре перешел в Мюнхенский, где изучал философию, социологию, психологию и где в 1972 г. блестяще[29] защитил свою первую диссертацию. После этого Бек работал в исследовательском подразделении университета, при кафедре известного специалиста по социологии труда и социальной структуры К. М. Вольте. В 1978 г. он стал ассистентом этой кафедры, а еще через год защитил вторую диссертацию, получил право на самостоятельное преподавание и почти сразу же — приглашение на кафедру социологии сначала в университет Гогенгейма, а вслед за тем — в куда более престижный и знаменитый Мюнстерский университет. Здесь вместе с одним из самых влиятельных немецких социологов Х. Гартманом он приступил к изданию журнала «Soziale Welt» («Социальный мир»), а в 1982 г. стал его ответственным редактором. В 1981 г. Бек принимает предложение занять профессорское место в Бамберге, в 1989-м — в Эссене, наконец, в 1992 г. он возвращается в Мюнхен, теперь уже профессором, директором Социологического института Мюнхенского университета. В настоящее время Ульрих Бек преподает также в Лондонской Школе Экономики. В 1996 г. университет г. Юваскюле (Финляндия) присудил ему почетную докторскую степень. В этом же году он был отмечен премией за заслуги в области культуры Мюнхена, а в 1997-м — наградой Германо-Британского Форума.

Областью интересов Бека была сначала социология труда и социология профессий. Постепенно центр тяжести его исследований сместился сначала к проблемам неравенства, затем — экологии и, наконец, — современности. Именно исследования в области экологии и по теории модерна вывели Бека на проблематику общества риска, и уже отсюда он перешел к тому широкому кругу проблем, включая, разумеется, и одну из самых звучных и актуальных ныне тем — «глобализацию», — сильная и оригинальная разработка которых сделала его одним из самых интересных современных социологов. Ключевой, важнейшей публикацией Ульриха Бека является «Общество риска». II

«Общество риска» — в точном смысле слова

эпохальная книга, если и не

составившая эпоху, то, всяком случае, как говорят немцы,

соопределившая ее, еще точнее: как мало какое другое социологическое сочинение ясно обозначившая наступление нового времени, той самой социальной ситуации, которую мы сейчас

проживаем на собственном опыте и об основных социологических характеристиках которой полтора десятка лет назад догадывались многие, а выразить в точных научных понятиях не сумел почти никто. Труд Ульриха Бека принадлежит к тем важным сочинениям, которые задали (по меньшей мере в европейской науке)

новый тон социологического рассуждения. Он в значительной степени способствовал преодолению почти неистребимой склонности к спорам о самых абстрактных основаниях

социологического мышления, которая составляет одновременно и самое драгоценное свойство немецкой социальной науки, и важнейшее препятствие на пути постижения

действительности.

Социология должна быть наукой о действительности. Это важное положение по-разному интерпретировалось на протяжении последнего века истории нашей науки. Генрих Риккерт, Макс Вебер, Толкотт Парсонс связывали с ним свое понимание социологии; Ханс Фрайер, Хельмут Шельски, Питер Бергер и Томас Лукман включают слово «действительность» в названия своих программных социологических трудов[30]. Но действительность, в общем, трудноуловима. Конечно, социологи стремятся постигнуть «то, что есть», а не, скажем, «то, что должно быть». Но что значит «есть»? Согласимся ли мы, что моментальный снимок совокупности социальных событий и есть картина действительности? И что последовательный ряд таких снимков «еще более» полная картина? Что события, таким образом, равноправны, что фактография и есть призвание социальной науки? Разумеется, нет. Сказать, что «социология — это наука о действительности» — значит не сказать почти ничего. Надо найти хотя бы правило отбора значимых фактов, а для этого — определить характер самой действительности. Но определяется она социологами по-разному, а потому возникают споры о том, как правильно подойти к этому сложному предмету, не является ли действительность — если только она есть нечто иное, чем совокупность моментально зафиксированных фактов, — лишь теоретической конструкцией. И тогда главной проблемой становится то, в чем, собственно, заключается превосходство одной конструкции над другой. Споры о действительности переходят в споры о способах постижения действительности, о способах понимания, объяснения и конструирования знания как такового, о непреодолимости принципиально ложного в социальном познании, даже если (и именно тогда, когда) оно объявляет себя позитивной наукой о фактах... Социология превращается в методологию, вопросы обоснования знания оказываются центральными по сравнению с вопросами более содержательными. «Объяснение или понимание?», «макросоциология или микросоциология?», «номинализм или реализм?», «позитивизм или критическая теория?», «функционализм или интеракционизм?» — список популярных дилемм можно продолжить. Они не мнимы, они подлинно важны. Но их обсуждение то и дело становится самоцелью, вырождается в методологическую схоластику в худшем смысле[31]. И совсем немногим удастся сделать то, что, собственно, и оправдывает существование социологии как особой дисциплины: дать обществу шанс по-новому взглянуть на себя самое, дать не просто сведения о совокупности фактов и тенденций, но обозначить новую перспективу рассмотрения и оценки существующего. К числу таких авторов относится и Ульрих Бек[32].

«Общество риска» не первая и не самая новая книга Бека, не первая и не самая новая книга о риске и социологии риска[33], наконец, это очень спорная, провоцирующая дискуссии книга. Тем самым не умаляется, но только подтверждается ее значение. Даже через полтора десятка лет после выхода в свет она остается глубокой и актуальной. Вместе с тем это книга очень неоднозначная, многослойная и многомерная. Множеством тончайших нитей она связана с немецкой и мировой социологией. Но, чтобы увидеть это, иногда приходится преодолевать энергию текста и выходить за его пределы, преодолевать с трудом, потому что «Общество риска» — это книга, написанная на редкость хорошо для социолога, потому что она доступна любому интеллигентному читателю, не только узким специалистам. Книга Бека обращена к обществу, и в этом качестве она вообще не нуждается ни в представлении, ни во введении, ни в заключении, ни в дополнительных комментариях. Завоевав известность «как есть», она по-прежнему говорит сама за себя, без посредников. Но о том,

что еще значит этот труд в контексте социологического знания, помимо ясно и недвусмысленно выраженного послания читателю, стоит все-таки сказать отдельно. III

Пожалуй, несколько неожиданным будет утверждение, что «Общество риска» — это политический трактат по общей социологии. Смысл этой формулировки будет прояснен ниже.

Пока зафиксируем только то обстоятельство, что Бек подвергает ревизии важнейшие основания социологического знания и — при всей новизне его концепции — остается в русле социологической традиции, заново переосмысленной, а частично вновь актуализированной.

Непосредственным образом он полемизирует с концепцией модерна как индустриального общества и ревизует ее весьма решительным образом. Первые главы «Общества риска» посвящены, так сказать, самопреодолению индустриального модерна и, следовательно, необходимости иной и новой социологии. Конечно, мы не можем, да и не должны проследивать здесь все тонкие линии его аргументации, но, по крайней мере, некоторые из них таковы. Общество индустриального модерна столкнулось с последствиями своего собственного функционирования. Оно меняется, поскольку подрываются и исчезают его важнейшие основы, в частности, важнейшие классовые различия и ориентация на производительный труд и рост богатства. Вместо этого появляется всеобщая опасность, страх, неуверенность и всеобщее равенство в страхе и неуверенности.

Разумеется, мы упростили аргумент до предела. Тем не менее даже в этой (а быть может, тем более в этой) форме он обнаруживает свою фундаментальную природу. Присмотримся к нему поближе. Итак, производство ради богатства (и его обратная сторона — недостаточность благ и наемный труд). Очевидно, что это производство невозможно без определенных технологических знаний. Знания носят объективный характер, а уровень знаний означает, собственно, степень овладения предметом. Чем больше знаешь, тем лучше овладеваешь, тем значительнее получаемая прибыль.

Sachlichkeit (деловитость, предметность) — говорят немцы, и этот излюбленный термин немецких классиков социологии означает не просто «объективность» как беспристрастность, но и нечто такое, что имеет отношение к

«Sache selbst», «самой вещи». Тот, кто желает добиться цели, должен быть рационален, то есть объективен. Вещи диктуют нам,

как применять их, как и какие использовать средства. Мы выбираем только цель. Но так ли это? Есть цели, которые недостижимы никакими средствами — знание

вещей позволяет нам об этом судить. Значит, будучи объективными, мы не должны ставить эти цели. Есть промежуточные цели, которые надо поставить, чтобы получить средства для других, более отдаленных целей. Ставя себе цели в области средств, мы снова подпадаем диктату вещей. Если же высшие, последние цели (например, спасение души) недостижимы в мире вещей, то любые операции в этом последнем рациональны лишь постольку, поскольку мы подчиняемся им. Средства превращаются в самоцель, и объективность в выборе цели означает, что мы уступаем

давлению силы вещей (

Sachzwang [34]). Подчинение вещей человеку означает подчинение человека вещам. Социологи разыгрывают партию на два голоса: одни говорят о том, что произвольное целеполагание утопично и бесперспективно, другие требуют преодолеть

овеществление. Для одних рациональное знание и поведение в природе должно найти продолжение в рациональном знании и поведении в обществе. Для других самая объективность природы мнима, потому что возможна лишь в силу отчужденного к ней отношения. Позитивизм (в самом широком смысле) и критическая теория непримиримы, но их языки родственны, ибо речь идет о рациональности в мире вещей, в том числе и социальном мире. Их языки родственны, потому что их праязык — это терминология Маркса и Конта, М. Вебера и Зиммеля, подобно тому как в течение нескольких веков праязык Гоббса, Локка и Юма находил свое продолжение в построениях Руссо и Сен-Симона, Адама Смита и Гегеля.

Наилучшее знание о предмете, разумеется, имеет отношение и к

силе : власти, влиянию, богатству. Необходимо знать, чтобы мочь, будь то составление финансового отчета, выплавка стали, заключение международного договора или разработка закона о социальном страховании. Богатство, власть и образование тесно связаны друг с другом[35]. Неравенство в образовании и неравенство в распределении социальных обязательств, ответственности и престижа связаны не менее тесно.

Всему этому, говорит Бек, в обществе риска приходит конец. Исчезает важнейшая предпосылка: объективное знание отныне недостижимо, во всяком случае, его социальное место — отнюдь не там, куда привыкли помещать знание теории модерна, не в области естественных наук, техники и компетентного управления. Его место занимает принципиальная неуверенность, то есть ощущение угрозы, то есть страх. Общий страх перед общей угрозой делает незначимыми все те разделения и различия, на которых держался модерн. Это принципиальная недостаточность знания, которая совершенно по-новому высвечивает отношения человека с так называемым объективным миром. Дело в том, что нынешние опасности, конечно, сродни опасностям традиционным в том смысле, что подлинная угроза — это угроза целостности тела, здоровью и жизни. Но в отличие от прежних современные опасности неощутимы. Два-три десятка безобидных веществ или веществ, находящихся

в пределах допустимой концентрации, вступают в сочетание с сотней-другой веществ,

допустимые концентрации или пролонгированное действие которых вообще не изучено, — и появляется нечто без цвета, без вкуса, без запаха, но ужасно вредное, смертоносное, неизлечимое. Итак, органы чувств ненадежны, а экспертиза в лучшем случае недостаточна и неполна. Понятие правильного поведения, а значит, и фундаментальное понятие рациональности отказывает.

Вернемся еще раз к базовым характеристикам модерна. Из сочинений классиков социологии, часто несогласных друг с другом по ключевым вопросам, мы знаем, что личная рациональность, личный расчет и личная ответственность индивида находят себе в обществе все более ограниченное применение. От человека на самом деле чаще всего не требуется выверенное, продуманное, в высшем смысле слова рациональное решение. Он должен положиться на то, что общество в основном устроено разумно, хотя ему самому трудно ухватить

своим собственным разумом все «за» и «против» при определении своего поведения. Скорее всего, он ничего не решает, а ведет себя «правильно», т. е. по правилам, в остальном доверяя банкиру, политику, инженеру, подобно тому как он доверяет врачу.

Антропологическая теория социальных институтов, разработанная А. Геленом и развитая Х. Шельски, говорит о том, что социальные институты

разгружают человека от бремени насущных проблем, он получает уверенность в жизни, а исполнение постоянных потребностей становится для него самоочевидным. Иными словами, у него не только нет нужды сознательно планировать свое поведение для удовлетворения потребностей, но нет и

сознания самих этих потребностей. Институты не просто защищают его, но и проникают в глубины его сознания и воли. Однако человек не становится их марионеткой. Просто как «смысл жизни» он воспринимает не то, что гарантировано «фоновым исполнением», самоочевидным функционированием институтов, но как раз то, что еще не гарантировано. Поэтому в современном обществе и возникает проблема «постоянной рефлексии», субъективного «я», которое становится все более «спиритуалистичным», отторгает все объективированное, дабы с тем большей энергией погрузиться в глубины своего внутреннего

мира. Важно иметь в виду, что эта постоянная рефлексия происходит именно не вопреки, а на фоне институциональной разгрузки. Но рефлексия, завышение требований своего «я» может быть опасной для общества, если его члены не будут принимать во внимание объективные закономерности,

Sachzwang. А усилена она может быть потому, что в обществе развивается социальная критика, имеющая беспредметный, абстрактно-гуманитарный характер. Ее носители — журналисты, писатели и т. д., те, кого отличает отсутствие «знания из первых рук», иначе говоря, знание поверхностное, полученное в виде «понимания общих принципов», а не в смысле «владения предметом»[36].

Эта ситуация меняется в обществе риска. Ведь речь уже идет «не об „опыте из вторых рук“, а о

„невозможности получения опыта из вторых рук“»[37]. В наш мир получило доступ невидимое, неосязаемое и, в сущности, непознаваемое. Так о какой рациональности в прежнем смысле может идти речь? Что еще может диктовать нам «вещь», на какое «фоновое исполнение» можно еще надеяться? «Объективных принуждений уже нет — разве что мы сами позволяем им властвовать»[38]. Прежде можно было сказать, что об объективном положении дел судит наука. Теперь мы знаем, что она соучаствует в производстве рисков и что признание рискованности тех или иных научно-технических новаций происходит не в силу внутреннего научного процесса, приводящего ко все более полному постижению истины (в том числе и истины, касающейся побочных последствий научно-технического прогресса), но благодаря социальному давлению.

Правильнее оценить подход Бека мы сможем, если сравним его с некоторыми другими влиятельными концепциями. Так, Никлас Луман в «Социологии риска» предложил заменить схему «риск / надежность» схемой «риск / опасность». Схема «риск / надежность», говорит Луман, не вполне удовлетворительна. Нельзя однозначно определить понятие надежности, подобно тому как в схеме «болезнь / здоровье» невозможно однозначно определить понятие здоровья. Понятие надежности «функционирует как понятие рефлексии. Или же как понятие-отдушина для социальных требований, которые, в зависимости от меняющегося уровня притязаний, просачиваются в калькуляцию риска. Таким образом, в результате возникает пара [понятий] „риск / надежность“, которая в принципе делает возможной калькуляцию

всех решений с точки зрения их рискованности. Следовательно, эта форма имеет ту бесспорную заслугу, что универсализует понятие риска»[39]. Но такова, говорит Луман, схема наблюдения

первого порядка, когда речь идет о наблюдении фактов, о спорах по поводу фактов, об информации, которую хотят получить. Есть, однако, и наблюдение второго порядка, наблюдение наблюдений. Разные наблюдатели, наблюдая одно и то же, получают разную информацию. Наблюдатель второго порядка видит, что они по-разному различают риск и надежность. Он исследует социальные условия, при которых та или иная ситуация считается рискованной или надежной. Получается, что риск — это не угроза как таковая, но то, что

считается рискованным. «Чтобы удовлетворить обоим уровням наблюдения, мы намерены придать понятию риска иную форму с помощью различения

риска и

опасности. Различение предполагает... что существует неуверенность [Unsicherheit] относительно будущего ущерба. Здесь есть две возможности. Либо возможный ущерб рассматривается как следствие решения, т. е. вменяется решению. Тогда мы говорим о риске, именно о риске решения. Либо же считается, что причины такого ущерба находятся

вовне, т. е. вменяются окружающему миру. Тогда мы говорим об опасности»[40]. Отчасти отвечая на эти рассуждения (хотя и не вступая в прямую полемику с Луманом), Энтони Гидденс в одной из самых значительных своих книг истекшего десятилетия «Модерн и личная идентичность»[41] пишет о том, что «различие между риском, на который идут добровольно, и риском, которому индивид подвергается помимо своей воли, зачастую расплывчато...»[42]. Для Гидденса прежде всего важно «не то, что повседневная жизнь стала более рискованной, чем раньше», но то, «что в условиях современности как для обывателей, так и для экспертов-специалистов в какой-либо области мыслить в понятиях риска и оценки риска стало более или менее постоянным занятием, отчасти даже незаметным»[43]. Беда в том, что области, в которых отдельный человек уверенно чувствует себя экспертом, всё сужаются, потому что требуется всё более узкая специализация, без которой не вынести квалифицированного суждения. Но невозможно жить, доверяясь только личной экспертизе. Гидденс говорит о «защитном коконе доверия», которым мы укутаны в повседневной жизни. Это доверие к надёжно функционирующим «абстрактным системам» (например, денежной системе или системе институционализированной экспертизы), без которых немыслимо наше самосохранение, «онтологическая безопасность».

Казалось бы, Бек предлагает более простую концепцию, сосредотачивая свое внимание на риске как опасности и недостоверности экспертного знания как в принципе неразрешимой проблеме. Однако эта простота обманчива. Посмотрим на проблему, как рисует ее Бек, — не с точки зрения «отраслевой» социологии (риск — одна из проблем, социология риска — одна из отраслей социологии), но с точки зрения общетеоретической. Итак, в обществе риска, согласно Беку, не столь важны различия между людьми в зависимости от дохода, образования, местожительства. Мало того, с точки зрения «нового индивидуализма» не так важны даже различия между полами в их традиционном смысле[44]. Мы видим картину общества, образованного множеством индивидов, включенных в рыночные отношения и обуреваемых страхом и неуверенностью. Тем самым мы совершенно неожиданно оказываемся перед лицом основной проблематики социологии, некогда вполне справедливо названной Толкотом Парсонсом «Гоббсовой проблемой». Гоббсова проблема — это вопрос о возможности социального порядка при взаимодействии множества изолированных своекорыстных индивидов. Описывая возникновение и последующее состояние общества не столько как историческую, сколько как логическую проблему, философы нового времени (и прежде всего именно Гоббс) исходили из понятия индивида как такового. Не богатые и бедные, не дворяне, клир и крестьянство, не рабочие и капиталисты, не мужчины и женщины, не народ как социальное целое, но

индивиды, каждый человек отдельно, заключали между собой

общественный договор. Что же было основой их солидарности? Страх, говорит

Гоббс, страх за свою жизнь. Не война как непрерывная битва, но постоянная готовность к войне — вот что такое, по Гоббсу,

bellum omnium contra omnes. Но сам по себе страх как источник решения о мире долго не удерживает людей вместе. Даже если однажды они примут решение не убивать друг друга, возникший было порядок немедленно рухнет, потому что когда настанет мир, то исчезнет страх и ничто их не удержит от новой готовности воевать.

Есть два принципиальных решения Гоббсовой проблемы, которые интересны в данной связи (на самом деле их, конечно, гораздо больше). Одно предложил сам Гоббс, другое наиболее отчетливо сформулировал Парсонс, резюмируя итоги классической социологии. Гоббс предлагает

политическое решение. Страх должен быть перенесен внутрь конструкции государства; только источником его должна быть не готовность убивать друг друга, а высшая, суверенная

власть, которая может покарать любого преступника. Суверенная власть учреждается самими людьми, заключающими общественный договор, но затем она становится независимой от их волеизъявления и гарантирует мир внутри государства. А это позволяет заниматься своими делами: мирным путем преследовать выгоду, вести частную жизнь, исповедовать любые мнения, поскольку они безопасны для общественного мира.

Другое решение предлагает, как считает Парсонс, классическая социология. Есть нормы, социальное возникновение которых нам не всегда известно. Мы их застаем готовыми, так, как мы застаем готовым язык, на котором говорим. Мы их не создаем, но им подчиняемся. Следование нормам — это не подчинение начальнику, это не есть нечто такое, что можно обойти так, как обходят яму на дороге. Норма — это самоочевидность ограничений при выборе средств для достижения корыстных целей. Нормы общи взаимодействующим, только потому взаимодействие вообще возможно. Действовать в обществе — значит следовать нормам. Но при всем том на заднем плане общества, солидарного на основе общих норм, маячит политическая система, располагающая особым средством: легитимным физическим насилием, так что если готовности следовать нормам окажется недостаточно, она обеспечит выполнение того, что должно быть сделано силовым образом.

К какой же из двух перспектив ближе Бек? Кажется, что к первой, т. е., собственно, не к социологической, а к

протосоциологической. Там, где другие социологи выстраивают хитроумные (и часто очень сильные, зрелищные) схемы, он идет прямо к непреложному факту: общность угрозы, неуверенности и страха есть основной социальный факт общества риска. Однако в отличие от

Гоббсовой проблемы эти угрозы для людей хотя и исходят, конечно, от людей же, их деятельности, их техники и индустрии, но, во-первых, не носят конкретного, направленного характера (это обобщенные угрозы) и, во-вторых, это состояние страха и неопределенности образуется, так сказать, поверх общества, его институтов — и его норм. Таким образом, вторая, собственно социологическая перспектива, никуда не исчезает, но только обе перспективы, которые мы можем также назвать перспективой политического решения (или политической перспективой) и перспективой нормативного базиса солидарности (или нормативной перспективой), взаимно определяют и потенцируют друг друга.

Как потенцируется политическая перспектива? Через размывание границ политики. Старая либеральная схема, восходящая все к тому же Гоббсу, предполагала невмешательство политических институтов в сферу частной жизни. Она давно уже уступила место социальному государству, принимающему на себя обязательства и дающему гарантии гражданам как раз в той сфере, которая изначально выгораживалась как область свободы от государства и политического решения. Однако теперь и государственные институты не могут быть вполне удовлетворительны. Государство уже не является областью наилучшего объективного знания, а современные риски не знают государственных границ. Общность затронутых рисками, солидарность страха и неуверенности шире, чем общность государственного гражданства. А это меняет облик политики: границы политической системы размываются, новые социальные движения приобретают отчетливо политический характер, проблематика политического решения перестает быть прерогативой государства.

Нормативная перспектива тоже потенцируется. Ибо существует широкий спектр притязаний, помимо желания сохранить свою жизнь и нерушимость тела. Эти притязания носят нормативный характер, иначе говоря, это притязания, порожденные не субъективным произволом постоянной рефлексии, но собственным нормативным базисом современного общества. Бек демонстрирует это, в частности, на примере конституционно закрепленных основных прав граждан. «Основные права являются в этом смысле главными звеньями

децентрализации политики, причем действуют как долговременные усилители. Они предоставляют многообразные возможности толкования, а в измененных исторических ситуациях — новые отправные точки для опровержения ныне действующих ограничительно-избирательных интерпретаций... Основные права с универсалистским притязанием на значимость... образуют, стало быть, шарниры политического развития...»[45].

Однако если внимательнее присмотреться к аргументации Бека, здесь можно заметить еще одну важную линию. Мы видим, что речь постоянно идет о политике. Мало того, речь идет о

политическом [46]. Это прилагательное субстантивировал знаменитый немецкий юрист и политический философ Карл Шмитт[47]. У Шмитта речь шла о политике как относительно автономной сфере, где принимаются решения, связанные с экзистенциальным противостоянием врагов. Относительная автономность политики, по Шмитту, состоит в том, что у нее нет своего собственного содержания, своей собственной субстанции, но когда какое-либо разделение на группы приобретает вид различения друзей и врагов, это разделение, это группирование становится политическим. Это ключевое, главенствующее противостояние, потому что дело касается жизни и смерти, а политическим сувереном является тот, кто полномочен вводить чрезвычайное положение, объявлять войну и посылать на смерть. Относительность автономии политики состоит в том, что она, правда, не вмешивается в неполитические сферы, но только суверенное политическое решение определяет,

что является политическим, а

что —неполитическим. Политическое не тождественно государственному. Неполитическое предполагает в наше время государство, но государство предполагает политическое, потому что с возникновением социальных движений, политических партий, борьбы классов и прочего обнаружились новые носители политического. Вместе с тем только государство, его суверенитет, его мощная машина, говорит Шмитт, по-своему интерпретируя Гоббса, может обеспечить внутренний мир и безопасность, предложив своим гражданам защиту в обмен на повиновение.

Бек отчетливо понимает,

что именно он формулирует, постулируя отсутствие объективных принуждений и констатируя перемещение части политических компетенций в область субполитики. Ведь нормы и ценности

интерпретируются (см. выше), научные результаты как таковые неавторитетны и необъективны и, значит, тоже

интерпретируются. Интерпретация может происходить по правилам дискурса, но в конце концов от политики ждут

решения, политикой занимаются, чтобы было

решение, а не только бесконечное обсуждение и откладывание на потом. Но если устранена авторитетная инстанция знания, то в конечном счете источником того или иного решения оказывается...

само решение, какими бы аргументами оно ни обставлялось. Ситуация, в которой сталкиваются политические силы, в конечном счете действующие

децизионистски, т. е. на основе решения, очень опасна. И недаром на последних страницах «Общества риска» мы находим рассуждения об

охранительной функции (государственной) политики. Кажется, вопрос, который вслед за Гоббсом формулирует Шмитт, вопрос «кто будет интерпретировать» решается здесь в конечном счете в пользу политики, а не субполитики.

И все-таки вопрос о продуктивном разделении труда между политикой и субполитикой остается открытым в «Обществе риска». В «Изобретении политического» Бек уже на первых страницах совершенно недвусмысленно констатирует следующее: «Наша теория, ее аналитическая сердцевина, совершенно аморально и безнадежно говорит о том, что рефлексивная модернизация производит фундаментальные потрясения, которые, как антимодерн, либо льют воду на мельницу неонационализма и неофашизма (а именно в тех случаях, когда большинство, ввиду исчезновения надежности и безопасности, призывает новую-старую жесткость и хватается за нее),

либо, в качестве противоположной крайности, могут быть использованы для того, чтобы переформулировать цели и основы западных индустриальных обществ»[48]. Бек говорит и о том, что политика в старом понимании, политика суверенных государств устарела, что требуется изменение политики, изменение правил политики, изменение политических правил политикой.

Это возвращает нас к важнейшей идее «Общества риска». Риски, хотя и распределены неравномерно, не знают государственных границ. Общность страха на основе риска — это новая общность, общность социальных движений — это новая общность, а политика, которая должна устанавливать границы субполитики (и противостоять опасным экстремистским движениям), — это, скорее всего, межгосударственная политика. На чем же она строится?

Один из ответов Бека на этот вопрос мы находим в его недавней статье, посвященной проблемам глобализации[49]. Бек говорит здесь, в частности, о противоречии, которое может возникнуть между правами человека и международным правом. Субъекты международного права — государства; носители прав человека — отдельные люди. Но эти права непонятны как таковые, если не обладают универсальной значимостью, то есть их носителями признаются все люди, независимо от любых иных социальных и политических определений. Бек приводит в качестве примера бомбардировки Косова: для западных правительств более важным оказалось защитить права человека, остановить геноцид, говорит он, чем соблюдать международное право. Существует два образа мирового общества: либо его рассматривают как лоскутное одеяло, скроенное из национальных государств, либо как

космополитический порядок прав человека [50]. Однако права человека — это не только система ценностей, но и

система власти. «Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что Запад станет в будущем вести демократические крестовые походы также и для того, чтобы обновить свою самолегитимацию»[51]. И как раз потому, что права человека признаны по всему миру, а интервенции такого рода будут считаться бескорыстными, мало кто заметит, что они тесно связаны «со старомодными целями империалистической мировой политики...»[52]. А поскольку «почти в каждом государстве есть меньшинства, с которыми оно обращается не должным образом», то возможность такой милитаристской политики в области прав человека «уже потрясает самые основания осуществления власти в мировой политике»[53].

Что же предлагает Бек? По существу, то же самое, что применительно к государственной политике он предлагал в «Обществе риска». Задача политического действия в современном мире, говорит он, состоит в том, чтобы «учредить и испытать... транснациональные форумы и формы регулируемого, то есть признанного ненасильственного разрешения конфликтов между взаимоисключающими и часто взаимно враждебными национальным и космополитическим движениями»[54]. Новым политическим субъектом должны были бы стать

«движения и партии граждан мира»[55].

Эта милая идея внушает все-таки некоторые сомнения тем, кто внимательно читал самого Бека. Даже в цитированной статье он говорит об аффективных «сообществах риска»[56], основанных на различных, часто противоположных ценностях. В «Обществе риска» он недвусмысленно показывает, что сами по себе социальные движения являются лишь субполитическими и нуждаются в ограничении со стороны государства, а в «Изобретении политического» — что они несут потенциал угрозы и экстремизма. Бек хорошо читал Карла Шмитта, он знает его предостережение: «Кто полагает ценности, тот отгородился ими от окружающего мира. Безграничная терпимость и нейтральность произвольно меняемых позиций и точек зрения оборачивается своей противоположностью, враждой, как только речь всерьез заходит о конкретном осуществлении и приведении в действие ценностей»[57]. Самое страшное, по Шмитту, — это

автоматическое осуществление высших ценностей, пусть даже такой ценностью будет человек, потому что ради них люди бывают готовы совершить худшие деяния.

Так как же быть? Стоит ли уповать на то, что в мировом обществе транснациональные политические движения договорятся,

без того чтобы правила их игры регулировала супервласть? Можно ли рассчитывать, что сообщество риска — сообщество страха — индустриальных стран Запада воздержится от «демократических крестовых походов»? Трудно сказать, ибо многого можно ожидать от одержимого страхом и приверженного ценностям гуманиста. Но Беку мы должны быть бесконечно благодарны за его трезвый, подлинно социологический — говоря его собственными словами, «аморальный и безнадежный» — фундаментальный анализ.

Москва, июнь 2000

Александр Филиппов

Примечания

1

Модернизация подразумевает технологические рационализаторские изменения в организации труда, а кроме того, охватывает и многое другое: смену социальных характеров и нормальных человеческих биографий, стилей жизни и форм любви, структур влияния и власти, форм политического принуждения и политической активности, восприятия действительности и норм познания. Плуг пахаря, паровоз и микрочип с точки зрения научно понимаемой модернизации являются видимыми индикаторами очень глубокого, охватывающего и преобразующего все общественное устройство процесса, в котором в конечном счете меняются

источники уверенности, питающие жизнь. Обычно различают модернизацию и индустриализацию. В нашей работе мы простоты ради употребляем слово «модернизация» в широком смысле. —

Здесь и далее прим. автора.

2

Здесь : ничего не выходит

(англ.).

3

Это не относится в одинаковой мере ко всем западноевропейским индустриальным странам. Развитие ФРГ, например, отличается от развития Великобритании или Франции. Так, в Великобритании социально-классовая принадлежность по-прежнему заметна в повседневной жизни и является объектом сознательной идентификации. Она закрепляется в языке — акценте, манере выражаться, лексике, — в резких классовых различиях местожительства, в формах воспитания, манере одеваться и во всем, что подразумевается под «стилем жизни».

4

Об историческом развитии социального неравенства в Германии за последние сто лет см.: Peter Berger, *Entstrukturierte Klassengesellschaft?* Opladen 1986.

5

В истинном смысле слова

(франц.).

6

Творится все что угодно

(англ.).

7

Райнер Мария Рильке, который много знал о заблуждениях, ставших теперь всеобщими, еще на рубеже веков (1904) с надеждой писал:

«Девушка и женщина в их собственном новом раскрытии лишь недолгое время будут подражать благим и дурным мужским замашкам и повторять мужские профессии. После неопределенности подобных переходов окажется, что женщины прошли через весь этот (зачатую смешной) маскарад лишь затем, чтобы очистить свое существо от уродующих влияний другого пола... И когда женщина в преображениях ее внешнего статуса сбросит условности только-женственного, выношенное в боли и унижении человеческое ее достоинство проступит во всей яркости, и мужчины, которые покуда не чувствуют приближения этого, будут застигнуты врасплох и разбиты. Настанет день (и уже сейчас — особенно в северных странах — тому есть надежные предвестья), настанет день, и мы увидим девушку и женщину, чье имя будет означать уже не только противоположность мужскому, но и нечто совершенно особое, отдельное, приводящее на ум не мысль о дополнении и пределе, а мысль о жизни и бытии, — женщину-человека. Этот шаг вперед коренным образом изменит и любовь, которая ныне полна заблуждений, преобразует ее (поначалу вопреки воле ретроградов-мужчин) во взаимоотношения двух людей, а не мужчины и женщины. И эта человеческая любовь (течение которой будет тихим, спокойным и безмятежным в соединении и разъединении) будет похожа на ту, какую мы в тяжелой борьбе подготавливаем, — на любовь, которая заключается в том, что два одиночества защищают друг друга, ограничивают и приветствуют»

8

Примерно о том же писали М. Коул и Г. Роберт в 1984 году, говоря об «индивидуальности как (исторически новой) форме обобществления».

9

По сути, правая часть есть центральная тема критики культуры — «конец индивида», — скажем, у Адорно и Ландмана. По-иному соответствующие вопросы рассматриваются в теории и исследовании социализации. По моему впечатлению, новые соображения Н. Лумана касательно «самостояния сознания» (1985) относятся сюда же.

10

Это справедливо не только касательно отношений между родителями, но и касательно позиции детей и подростков, как по результатам Shell-Jugend-Studie показал Фукс (Fuchs), а недавно теоретически подтвердили (L. Rosenmayr 1983), В. Хорнштайн (W. Hornstein 1985) и М. Бетге (M. Baethge 1985);; о проблемах девушек-подростков и молодых работниц см. прежде всего у Бильден/Дицингер (B?den/Diezinger 1982)..

Научно-практическое последствие: исследование биографий, осуществляемое лишь в арьергарде исследований семьи и расслоения, становится проблематичным. Тот, кто хочет изучать стандартизацию и (имплицитную) политическую формируемость индивидуальных ситуаций, должен разбираться и в образовании, отношениях занятости, промышленном труде, массовом потреблении, социальном праве, транспорте и градостроительстве. Исследование биографий в этом смысле — во всяком случае, согласно заявке — было чем-то вроде междисциплинарного социологического исследования с точки зрения субъекта — исследования, которое

пересекает схему специальных социологии.

Подробнее см.: U. Beck, M. Brater, H.-J. Daheim, *Soziologie der Arbeit und der Berufe*, Reinbek 1980.

«Для нас непрерывность жизни и непрерывность профессии ныне теснейшим образом взаимосвязаны, тогда как, скажем, социальное и региональное окружение мы готовы сменить с много большей легкостью. В настоящее время можно, не „утратив корней“, довольно легко поменять местожительство, даже страну и общество, если при этом удастся сохранить профессиональные возможности и профессиональную квалификацию».

Эта интеграция неработы (по сю сторону безработицы в систему занятости) может принимать множество форм. Самые известные из них — поднятие планки среднего возраста при первичном трудоустройстве, снижение среднего пенсионного возраста, введение работы с неполным рабочим днем, уменьшение продолжительности рабочей биографии, сокращение рабочей недели и рабочего дня; увеличение средней продолжительности отпусков, каникул и перерывов; повышение частотности перерывов в работе, связанных с учебой на курсах повышения квалификации на протяжении всей трудовой биографии и т. д. Все эти показатели свидетельствуют о систематическом свертывании общества наемного труда в нашем столетии (причем хотя и в разной степени, но во всех западных индустриальных обществах): в Германии продолжительность рабочего дня, рабочей недели и года, равно как и продолжительность рабочей биографии за последние сто лет ощутимо уменьшились. Около 1880 года продолжительность рабочей недели еще составляла свыше 65 часов, накануне первой мировой войны — свыше 55 часов, а в 20-е годы официально сократилась до 48

часов. Ко второй половине 50-х годов она, впрочем, равнялась 47 часам, работали 6 дней, а ежегодный отпуск в среднем составлял около 2 недель. Ныне же ежегодный отпуск достигает круглым счетом 6 недель, а рабочая неделя продолжается 5 дней, составляя около 40 часов. Параллельно сокращается продолжительность рабочей биографии благодаря все более частому раннему выходу на пенсию; для многих трудящихся профессиональная жизнь уже теперь заканчивается самое позднее в 57–60 лет. Одновременно молодежь включается в систему занятости все позднее. Если в середине 50-х годов у рабочего-мужчины в среднем за год на отработанный час приходилось 2,9 нерабочих часов, то в 1980 году это соотношение составило круглым счетом 1:4,1. Мероприятия и время на повышение квалификации в последние десятилетия на предприятиях росли также скачкообразно, так что вполне оправданно говорить о реинтеграции специального образования в систему труда и занятости.

15

Открытие сокращения системы труда по найму в сфере рабочего времени как организационной производительной силы имеет, кстати, давнюю традицию. В этом смысле Мартин Склэр отодвигает первые признаки эрозии общества труда в США еще к периоду после первой мировой войны. Статистически подтвержденные тренды развития, правда, долгое время интерпретировались иначе, поскольку считались реверсивными. На переднем плане прежде всего стояли три главных факта: во-первых, в целом до 1919 года отмечался рост числа рабочих на фабриках и уровня товарного производства, тогда как в 1919–1929 годах число рабочих

уменьшилось на 100 000, хотя производительность одновременно повысилась приблизительно на 65 %. Во-вторых, если в экономике доля трудового участия, замеренная в «персональные годы» труда, в совокупности возросла с 28,3 млн в 1890 году до 42,5 млн в 1910 году, то в 1910–1920 годах этот рост упал до всего лишь 1 млн, а в итоге в 20-е годы сошел на нет. Склэр интерпретирует эти статистически подтвержденные развития и связи следующим образом: с начала 20-х годов стало проявляться воздействие новых производительных сил. Таким образом удалось ускорить рост производительности

независимо от экспансии трудовых долей (измеряемых в рабочем времени). Итак, уже здесь присутствуют первые признаки эрозии «старой» индустриальной и возникновения «новой» системы труда. Важнейшую роль в развитии производительных сил в 20-е годы сыграли три центральные инновации в сфере менеджмента:

1) тейлоризм, который — после 20 лет ожесточенного противодействия — наконец широко внедряется на фабриках;

2) электричество с его новыми возможностями, распространившееся на всю производственную систему, и 3) использование новых организационных приемов, позволяющих сбалансировать централизацию и децентрализацию крупных и пространственно отдаленных предприятий. Найденные и опробованные способы повышения производительности также осваивались уже на раннем этапе через рационализацию информации, технологии и организационного менеджмента.

16

Пример тому — нынешняя волна «онаучивания семьи» (заметная, скажем, в экспансии экспертов-консультантов по вопросам семьи и брака); но даже здесь онаучивание сталкивается уже с практическим полем, которое во многих отношениях сформировано и находится под воздействием научного профессионализма.

17

Эту аргументацию можно обрисовать несколькими штрихами: сначала при ближайшем рассмотрении отказывает «эмпирический базис» как фальсификационная инстанция «спекулятивного» образования теории. А обосновать его необходимо. Если обосновывать его опытом, он не подвергается интерсубъективности. Одновременно остается без внимания

производство данных в эксперименте (интервью, наблюдении и т. д.). Если учесть его, граница между эмпирическими и теоретическими высказываниями, которая есть цель всего предприятия, упраздняется.

Как вообще понять существование в поисках фальсификаторов? Допустим, эксперимент не оправдывает теоретических ожиданий. И что тогда — теория раз и навсегда опровергается или выявляются только неувязки между ожиданиями и результатами, которые указывают на разные возможности решения и в этом смысле могут быть очень по-разному обработаны и подхвачены (скажем, предполагая в эксперименте ошибки или, наоборот, расширяя и развивая теорию и проч.; см. также: I. Lakatos, 1974)?

Эссе Томаса С. Куна 1970 года, ставшее знаком научно-теоретического поворота, отнимает у научно-философской рефлексии эмпирический базис. Таким образом в ретроспективе статус научной теории как теории без эмпирики становится проблематичным: есть ли теория науки только нормативное учение с логистическими оговорками, высшая цензурная инстанция для «хорошей» науки, а значит, как бы научный эквивалент средневековой церковной инквизиции? Или она выполняет собственные требования к эмпирически проверяемой теории? Но в таком случае ввиду фактически противоположных принципов производства и фабрикации знания ее притязания на значимость необходимо резко сократить.

Этнологически ориентированное научное исследование в конце концов «открывает» даже в допустимом месте рождения естественнонаучной рациональности — в лаборатории, — что преобладающие там риски сходны, скорее, с современными вариантами танцев, призывающих дождь, или с ритуалами плодородия, которые ориентированы на принципы карьеры и социальной акцептации (K. Knorr-Cetina, 1984).

18

Вероятно, в этом заключается одна из причин того, что личностные качества и личные сети приобретают большее значение как раз с избыточным предложением интерпретаций касательно их практической реализации и использования.

19

Знаменательно, что своим подъемом они обязаны ряду стремительных прорывов в тех научных отраслях, которые еще четверть века назад либо вовсе не существовали, либо только зарождались; я имею в виду микроэлектронику, теорию информации, молекулярную биологию, ядерную физику, космические исследования, экологию. Эти новые, быстро формирующиеся отрасли представляют собой уже не научное продолжение производства (как было на предшествующих переломных этапах технологического развития), а совершенно новый синтез науки и индустрии, «индустрию знания», целенаправленно организованные опенки и внедрения научных результатов и инвестиций.

20

Ниже я обращаюсь к аргументам, которые разработал в 1984 году вместе с Вольфгангом Бонсом в рамках темы Немецкого научно-исследовательского объединения «Обстоятельства применения социологии результатов».

21

При этом в основе аргументации данной главы лежит

суженное понятие политики. Центральное место занимает

формирование и изменение условия жизни, тогда как политика, в общепринятом понимании, рассматривается как защита и легитимация господства, власти и интересов.

22

Наряду с Вебером и Вебленом назовем прежде всего таких социологов, как Эмиль Дюркгейм, Георг Зиммель, а в наши дни, в частности, Джон К. Гэлбрейт и Даниел Белл.

23

При возможных научных экспериментах развитие *in vitro*

технически не обязательно ограничено стадией, на которой в нормальном случае происходит прикрепление эмбриона к матке. «Теоретически можно попытаться осуществить полное развитие эмбриона, чтобы действительно создать младенца из пробирки. Зародышевые клетки можно использовать для создания

«химер», т. е. помесей с близнецами других видов. Химеры особенно удобны для экспериментального изучения эмбрионального развития. Наконец, можно помыслить «клонирование» человеческих зародышей, скажем, путем замены ядра зародышевой клетки ядром клетки другого человека. Опыты на мышах уже увенчались успехом. У людей таким

образом можно было бы создавать генетически тождественное потомство или выращивать эмбриональную ткань, которая не несет опасности иммунного отторжения и может использоваться как материал для трансплантации органов донору клеточного ядра. Впрочем, пока что это чистая утопия». — (После экспериментов со знаменитой овечкой Долли клонирование перестало быть утопией, но осталось важнейшей нравственной и социальной проблемой. —

Прим. перев.)

24

Например, совершенно новые проблемные и конфликтные ситуации возникают также в связи с пренатальной диагностикой и «внутриутробной хирургией», т. е. возможностью проводить операции на формирующемся ребенке в организме матери: (жизненные) интересы матери и ребенка разделяются, таким образом, еще до родов, на стадии их телесного единства. Возможности диагностико-хирургического вмешательства распространяют определения болезней на нерожденную жизнь. Риски вмешательства и его последствия — независимо от сознания и желания объектов вмешательства и врачей — создают противоречивые угрожающие ситуации между беременной матерью (или платной эрзац-матерью?) и растущим в ее утробе ребенком. Одновременно это пример того, как посредством медико-технических разработок можно распространить социальные различия за пределы телесного единства на телесно-душевные отношения.

25

Это касается, например, «функциональной необходимости» раздробленного индустриального труда. Как известно, она нашла своего пророка в лице

Тейлора, который окружил ее ореолом «научного руководства производством». Марксистские критики тейлоризма также глубоко убеждены в системно имманентной необходимости этой «философии организации труда». Они критикуют возникающие, лишенные смысла, отчужденные формы труда, но, как ни парадоксально, в то же время

защищают их «реализм» от «наивных и далеких от реальности» попыток развеять тейлористские чары необходимости и использовать существующие свободы здесь и сейчас для «более гуманной» организации труда и т. д. Слегка утрируя, можно сказать к самым решительным и самым яростным

поборникам тейлоризма принадлежат

в том числе и его марксистские критики. При этом они, ослепленные всепробивающей силой капитализма, упускают из виду, что там, где тейлоризм еще или вновь цветет пышным цветом — а таких случаев очень много, — все это отнюдь нельзя интерпретировать превратно как подтверждение «господствующей системной необходимости». Скорее, здесь перед нами выражение несломленной мощи консервативной управленческой элиты, чью исторически устаревавшую претензию на монополию они имплицитно помогают стабилизировать.

Вследствие этого

(лат) .

См.: Бек У. От индустриального общества к обществу риска / Пер. А. Д. Ковалева //THESIS. 1994. № 5. С. 161–168.

Я признателен г-же Клаудии Брандес (издательство «Зуркамп») за предоставленные биографические сведения об авторе.

Это, скорее, вводящий в заблуждение, эмоциональный аналог официальной оценки диссертации «summa cum laude».

См.: Freyer H. Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft (1930). Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1964; Schelsky H. Auf der Suche nach Wirklichkeit. D?sseldorf- K?ln: Eugen Diederichs, 1965; Berger P., Luckman T. The Social Construction of Reality. N.Y.: Doubleday, 1966. В русском переводе: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности / Пер. Е. Д. Руткевич. М.: Медиум, 1995.

Не то чтобы социология вообще не занималась конкретными проблемами, напротив, на послевоенные десятилетия приходится настоящий расцвет социологической фактографии, как раз этим социологи преимущественно и занимаются по всему миру. И получается так, что одни составляют руководства по отстрелу медведей, никогда не брав в руки ружья, а другие (имя им — легион) преуспевают в ловле мух на клейкую ленту, даже не подозревая, что

бывает настоящая охота — на крупного зверя.

32

Вот характерные высказывания. Бек говорит, что «эпохальные различия порождаются ныне самой действительностью» (наст. изд. С. 10). В другой книге он констатирует, что «роль социологии — особая; она должна стать теми глазами, [которыми можно увидеть] действительность, вытесняемую и отрицаемую старыми институтами и старым мышлением» (Beck U. *Die Erfindung des Politischen*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1993. S. 273). Тем самым он недвусмысленно заявляет свое понимание социологии как науки о действительности.

33

Проблематика риска и оценки рисков вообще возникает безотносительно к социологии. Но именно Бек, чуть позже, чем Мери Дуглас и Аарон Вилдавски, и чуть раньше, чем Никлас Луман, ввел эту проблематику в широкий социологический оборот. См.: Douglas M., Wildavsky A. *Risk and Culture: An Essay on Selection of Technological and Environmental Dangers*. Berkley (Cal.), 1982; Douglas M. *Risk Acceptability According to Social Sciences*. London, 1985; Luhmann N. *Soziologie des Risikos*. Berlin, N.Y., 1991.

34

В настоящем издании этот термин переводится как «объективное принуждение». См., напр., с. 267 и далее.

35

Разумеется, не только так, что образование открывает путь к богатству, но и так, что богатство открывает путь к образованию, — впрочем, тема слишком хорошо исследована, чтобы говорить о ней специально.

36

См. об этом подробнее: ФРГ глазами западногерманских социологов. М.: Наука, 1989. С. 145–196. Следует иметь в виду, что не только Бек, но и цитируемые ниже Луман и Гидденс многим обязаны в постановке проблем немецкой философской антропологии, прежде всего А. Гелену.

37

Наст. изд. С. 88.

38

Наст. изд. С. 345.

39

Luhmann N. Op. cit. Цитируется по русскому переводу: Луман Н. Понятие риска / Пер. А. Ф. Филиппова // THESIS. 1994. № 5. С. 149.

40

Там же. С. 150.

41

См.: Giddens A. Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press, 1991.

42

Цит. по: Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность / Пер. С. П. Баньковской // THESIS. 1994. № 5. С. 119.

43

Там же.

«Говоря упрощенно, место сословий занимают уже не социальные классы, а место социальных классов — не стабильные рамки семейных отношений.

Мужчина и женщина по отдельности становятся жизненно важной единицей воспроизводства социальных отношений. Иными словами, индивиды внутри и вне семьи становятся основными действующими лицами в обеспечении своего определяемого рынком существования и связанного с этим планирования и организации собственной биографии» (наст. изд. С. 109).

Наст. изд. С. 294, 295.

Назвав одну из своих книг «Die Erfindung des Politischen» («Изобретение политического»), Бек подчеркнул то значение, которое для него имеет это понятие.

См. в русском переводе: Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. См. также: Шмитт К. Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000.

Beck U. Die Erfindung des Politischen. Op. cit. S. 15 f.

Beck U. The cosmopolitan perspective: sociology of the second age of modernity// The British Journal of Sociology. Special issue: Sociology Facing the Next Millennium / Ed. by John Urry. 2000. Vol. 51. N 1. P. 79–105.

50

См.: Beck U. Op. cit. P. 85.

51

Ibid. P. 86.

52

Ibidem.

53

Ibid. P. 87.

54

Ibid. P. 102.

55

Ibidem.

56

См.: Ibidem. P. 95 f.

57

Schmitt C. Die Tyrannei der Werte // Schmitt C., J?ngel E., Schelz S. Die Tyrannei der Werte.
Hamburg: Lutherisches Verlagshaus, 1979. S. 35.